

1994



МК

В номере:

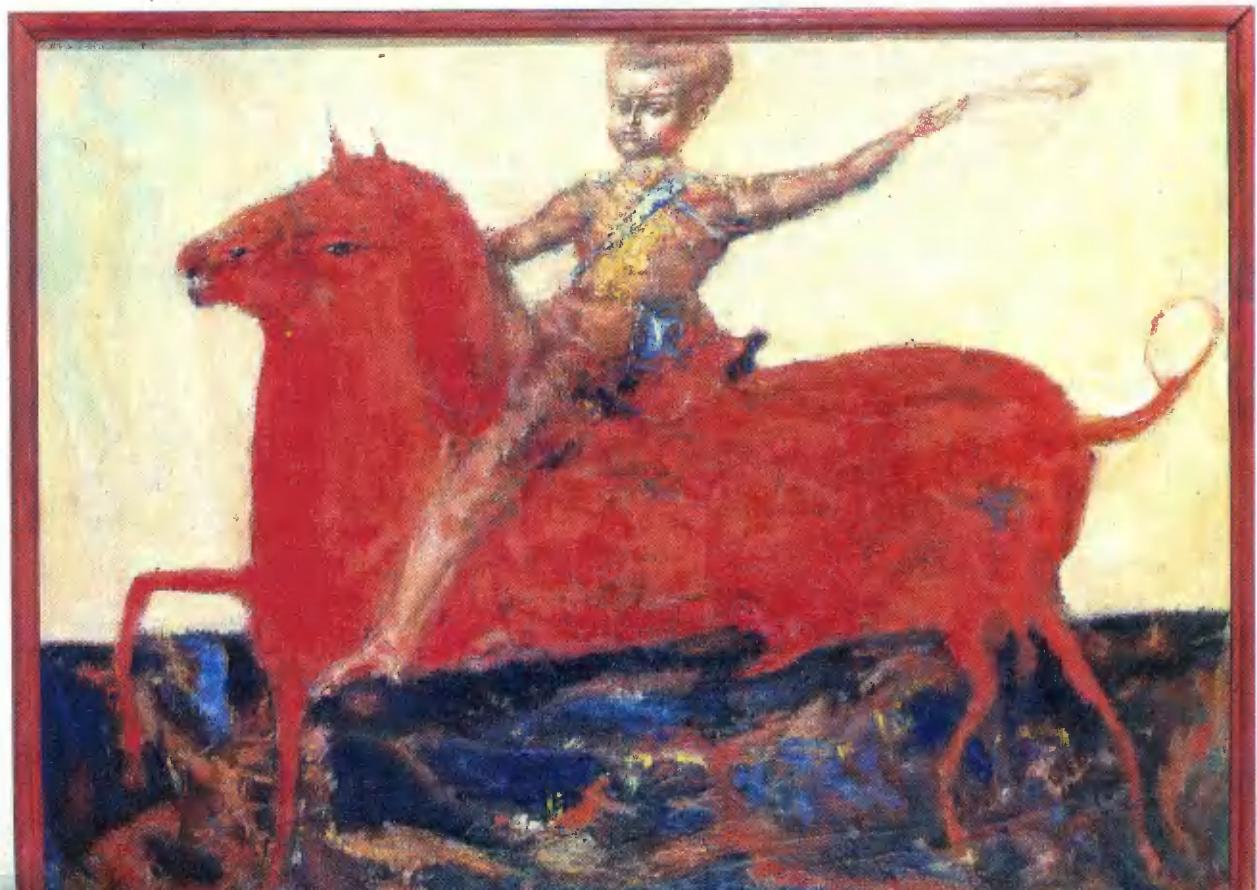
- * «СМЕРТЬ РОК-МУЗЫКАНТА» - повесть Михаила Кедровского
- * Повесть Александра Антоновича «ОТПУСК»
- * Точка зрения философа Игоря Ачильдиева - «СВОБОДА РОССИИ»
- * В ЗЕЛЕНОМ ПОРТФЕЛЕ - юмор Николая Лейкина

**Андрей
МЕДВЕДЕВ**
г. Москва



Небо и город. Холст, масло.
«На коне». Холст, масло.

Смотрите третью страницу нашей обложки.



ЮНОСТЬ



6⁽⁴⁶⁵⁾ 1994

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА

Редакционная коллегия:

главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ

Елена ДУБЧЕНКО

Юрий БЕЛИКОВ

заместитель главного редактора

Натан ЗЛОТНИКОВ

ответственный секретарь

Владимир КОЖЕМЯКИН

Олег КОКИН

Александр КОРМАШОВ

Николай НОВИКОВ

Эмилия ПРОСКУРНИНА

Юрий РЯШЕНЦЕВ

заместитель главного редактора

Юрий САДОВНИКОВ

Александр ХОРТ

Коммерческий директор Феликс МАЗУР

Представитель журнала в Париже Валерий ПРИЙМЕНКО

Редакционный совет:

Геннадий ГОЛОВИН

Сергей ДЫШЕВ

Сергей ЕСИН

Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Александр ЛАВРИН

Валерия НАРБИКОВА

Булат ОКУДЖАВА

Игорь ОБРОСОВ

Владимир ОРЛОВ

Евгений СИДОРОВ

Владимир СОКОЛОВ

Лев ТИМОФЕЕВ

Центральная городская
библиотека
имени В. И. Ленина

ДОМ ПОЭТОВ

Окно в соловьиный сад

В июне уже далекого ныне года вышел первый номер «Юности». Он принес в отечественную литературу свежее дыхание молодости, энтузиазма, задора, любви... Может быть, не ежегодно, но часто мы отмечали этот «юбилейный» для журнала месяц. Произведениями дебютантов, воспоминаниями «ветеранов»... А в этом году — после такой нелегкой для всей России зимы — мы захотели открыть окна Дома поэтов стихами о любви. Они принадлежат женщинам.

Анна ЛЫСЮК



олюблю себя такую,
Сошедшую с ума.
Полюблю себя сякую,
Полюблю себя сама.
И в картонке без оклада
Буду образ свой хранить,
Потому что очень надо
Быть любимой и любить.

Я не буду зря морочить
Север, запад и восток,—
Я пошлю тире и точки
На далекий островок.
И в долине бегемотов,
Где на кактусах цветы,
Прочитают полиглоты:
«Я люблю себя. А ты?»

И взорвутся барабаны,
И немедленно взлетят
Павианы из лианы,
И калибри из слонят.
А ученая мартышка
Вдруг объявит мне войну,
Потому что, так уж вышло,
Я люблю себя одну.

А когда я стану старой,
Я подамся хоть куда,
Где под мышкою гитара,
Где под кедами вода.
А картонку без оклада
Сдам в куисткамеру хранить,
Чтобы видели, как надо
Быть любимой и любить.

Прерывистые стихи



, лучше б я была — как камеи!
Глуха, тверда...
Тогда б — ие холод, и не — пламень,
И — ие беда.
Не безысходность, не бессилье,
Не страх, не злость;
Не — молчаливая идиллия —
Вдвоем — и вроз...

Тогда б не горькая усмешка,—
Скули, рычи!
Не эта — бешеная спешка —
Пальто! Ключи!
Не — еле слышное — «Послушай,
Не уходи...»,
Не наши — пепельные — души,—



Прощай, прости.
Мы были слишком — терпеливы.
Лицо в тисках...
Мы будем — слишком сиротливы
В чужих руках.
И если б мы, когда отныне
Лишь — ты да я,
Как две — сведенные гордыни,
Два — острия,

Нацеленные друг на друга...
Прости — прощай!
Как кони — до смерти — по кругу,
В глазах печаль...
Как лебеди над океаном,
Спина к спине;
Как — реквием над нотным станом,
Стена — к стене.

Не оберешься злого лиха.
Средь бела дня
Ты — Калиостро, я — шутниха,
Шут мне родня.
И никуда тебе не деться.
Щади! Карай!
Не оттолкнуть, не наглядеться,
Безумья край!

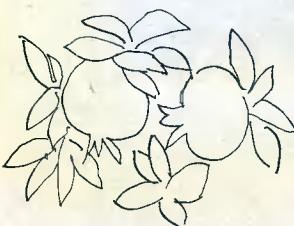
Где взгляды — пламенные сводни
Слились в тоске
От облака до преисподней —
Пчела в цветке...
Боль! Сладкий яд, нектар, отрава,
Горячий шелк,
По лбу стекающая лава,
По жилам — ток,

И — солнце в блеске оголтелом,
Окно... карниз...
И — к небесам! единым — телом!
И — камнем — вниз...
Я не умею больше плакать.
Мой стон, мой бред —
Почти бессмысленная плата
Чему-то вслед...
Я не умею расставаться
В слезах, в страстях,
Ты не умеешь — оставаться
Всегда — в гостях.

А за окном... хандра и проза,
И мелкий дождь,
Как пропасть, как в душе заноза,
Как наша ложь.
И никакого шевеленья,
Лишь — вкось — водой,
Лишь медленное отрезвление
Своей — бедой.

Твоя расколотая маска
Глядит — в меня...
А на лице моем — лишь краска
Сырого дня...
Я — камень, ты — факир безродный,
Бери! Колдуй!

...Ах,
В самый раз — щеке холодной —
Лед — поцелуй...
Москва



В оформлении поэзии
использованы рисунки
Лири Матисса

Анна ГЕДЫМИН

М

вой голос морозен,
впору надеть тулуп.
Какого дьявола!
Растопи эти льдины!
Ну почему, почему,
почему ты так глуп,
Самый умный
и самый необходимый!
За что, несчастье мое,
ты это все говоришь?
Тебя разлюбила!
Придумать такие бредни!
Свобода кончилась на тебе!
Ты — Париж,
Который стоит обедни!
К Парижу этому
вел диковатый шлях —
Дорога жизни моей,
проложенная негладко.
И теперь я требую,
чтобы на Елисейских полях
Были теплые летние сумерки!
Без осадков!



О

вновь — среди иочи бескрайней,
Привычно обжившей углы,
Пусты изумленные спальни,
Полны — изумленно — столы.
Вот так из комода, из пыли
Вдруг выпрыгнет мячик цветной...
Спасибо, что радости были!
Спасибо, что были со мной!
Что в эту погоду собачью,
Лопатками чуя беду,
Я пью за любовь и удачу —
Последнюю в этом году.
Что есть на изломе дороги,
Под лампой, накрытой платком,
О чем помолчать без тревоги,
И с кем, и зачем, и о ком...

С

четверти первого до полседьмого
Ночь осыпала звездами поле.
Только окно опускает — и снова
Росчерк — и вздрагиваешь поневоле.
А из другого окошка, лесного,
Душу томили птичьи оркестры.
С четверти первого до полседьмого
Ты говорил невозможные тексты!
Ты умолкал — и, как в школе, прилежно
Запоминала я каждое слово,
Зная: все кончится неизбежно
И непременно — в начале седьмого.
Вспомним опять, как дела наши плохи,
И замолчим, и уйдем из-под крова
Дома-музея лучшей эпохи —
С четверти первого до полседьмого.

*И*ли тепло перешло все границы,
Или мороз проявил мягкотелость,
Только — смотри: возвращаются птицы,
Родины захотелось.
Вроде бы любят, каются вроде,
Но в холода забывают приличья
И — улетают.

Глаза отводят
Грешная стая птичья.
Их бы прогнать!
Но в лесах наших темных
Любят заблудших и непутевых...
Так возвращаюсь к тебе, мой нестрогий.
Мешкаю на пороге...

*П*риехала из далеких краев
И, как назло, по пути домой
Увидела: ты кормил воробьев
В чужом дворе, истязатель мой.
Шумливые, уставшие от погонь,
Тебе вдруг доверились, как судьбе,
Один даже сел на твою ладонь...
Глупые, как можно верить — тебе!
А небо — точь-в-точь как твоя рука —
Горячее и доступное воробьям,
И мчатся распухшие облака,
Слегка прижаренные и там и сям.
Наверное, помнят лишь облака
(А месяц вряд ли, он был еще мал),
Как нес ты меня на жарких руках
И к небу полуночному прижал...

*В*иноватые, буйные, дальние дни
Ты прости мне, о Господи, и сохрани!
Пусть развеется начисто, как болтовня,
Что в недуге и горе он предал меня.
Ты прости ему низость и трусость — прости,
Он — за давностью боли — безгрешен почти...

*Ю*вставание — это конец суетливых событий
И начало внимательной памяти.
Этой порой
Столько пишут картин! Совершают великих открытий!
Строят замков воздушных, жилых — у реки, под горой!
Мне отныне дано без усилий, по звездному гуду,
Понимать, как живешь, как работа твоя и родня.
Вот и все. Не грусти — я тебя никогда не забуду.
Не проси — ты и сам никогда не забудешь меня.

*Я*то знала, что буду нужна тебе и нежна —
Словно старшая дочь, а может, третья жена,
Словно, как говорится, дорожка среди камней...
Только стать никогда не хотела жизни нужней.
Подняла ненужную жизнь, прижала к груди...
Что мне делать с такой удачей, сам посуди!
Мне, в пыли находившей максимум три рубля,
Понимавшей, что небо еще скучеи, чем земля...
По-над городом — осень. Слезится дождь по стеклу.
Не работает солнце, запаханное во мглу.
Промедление исчерпано, слово теперь за мной.
Шутки в сторону. Стрелки пущены. День восьмой...





Игорь Ачильдиев — один из самобытных современных философов. Он одержим одной глобальной идеей, что ничего не возникает случайно, внезапно, но рождается и проявляется исподволь. От этого так часто в его сочинениях встречаются приставки «пра-» и «пред-»: прачеловек, пратолпа, предыстория. Он обращает свой взор в толщу человечества и, не теряя путеводную нить, не удивляется, когда она приводит его в первобытные люди, стучая первобытными молотками о могучие камни, выясняют проблемы свободы, вождизма, обязанностей личности...

В предисловиях к книгам И. Ачильдиева всегда пишут такую фразу: «Некоторые положения книги носят спорный характер...»

На первый взгляд обсуждение этого понятия может показаться простым. В самом деле, кто сегодня посмеет отрицать, что это «сладкое слово» — высшая ценность для человека? Кому неясно, что без свободы не может быть ни экономически сильного, обеспеченного общества, ни обыденного счастья каждого из нас и всех вместе? Ответы на эти вопросы, казалось бы, уже даны историей и нет нужды к ним возвращаться.

Между тем даже при беглом знакомстве с философской и юридической литературой бросается в глаза, что на передний план юридических и этических ценностей выносится не свобода, а жизнь человека. С точки зрения многих и многих жизнь, как таковая, а вместе с ней и право на жизнь, выше свободы. Поэтому, прежде чем перейти к анализу других, на мой взгляд, более существенных сторон этой проблемы, попробуем коротко рассмотреть дилемму: что для человека выше — жизнь или свобода?

В пользу первой точки зрения («жизнь — превыше всего») говорит тот факт, что свободным или несвободным может быть только живой человек, существующая в мире и на этом свете личность. Трупу, телу свобода или несвобода безразличны. По сути дела, это кладбищенская логика, ей как нельзя лучше соответствует марксистское понимание свободы как осознанной необходимости, когда «свобода личности, коллектива, класса, общества заключается не в «воображенной независимости» от объективных законов, а в способности выбирать... принимать решения со знанием дела». Такое толкование ценности свободы и ее смысла, характер-

нос скорее для жителей гетто (как знать, случайно ли марксизм заимствовал сердцевину этого определения у Б. Спинозы?), чем для вольной и вольнолюбивой личности. Оно сводит все проблемы свободы до уровня «способности человека действовать в соответствии со своими интересами и целями, опираясь на познание объективной необходимости». К примеру, пушкинское понимание свободы («счастья нет, но есть покой и воля») марксизму глубоко чуждо, оно словно лежит в ином измерении социального пространства. Б. П. Вышеславцев заметил: «Пушкин жизненно ощущал и творчески выразил всю многозначительность свободы, все ее ступени, понял ее глубину и высоту. Низшая, глубинная, иррациональная свобода переливается как своеование страсти («страстей безумных и мятежных так упоителен язык») или, если хотите заглянуть еще глубже, как бессознательная, стихийная мощь души. Чтобы сразу понять, о какой свободе идет речь, вспомним следующие изумительные строки Пушкина:

Зачем крутится ветр в овраге,
Вздымает пыль и ирах несет,
Когда корабль в неподвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?

Зачем от гор и мимо башен
Летит орел угрем и страшен
На пень гнилой, спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона?

Затем, что ветру и орлу!
И сердцу девы нет закона!
Гордись, таков и ты, поэт,
И для тебя закона нет!

Если нет закона, то нет и слепой, железной необходимости, внутри которой якобы действует и развертывается воля. Не в лоне «осознанной необходимости», а вне ее, вне предписаний живет истинная свобода, будь это даже законы тяготения или уголовного кодекса. И под дулом пистолета человек выбирает свободу. В классическом труде по психологии конформизма «Бегство от свободы» Эрих Фромм определил свободу как неотъемлемую функцию человеческого существования, как свободу от инстинктивной (или иной) предопределенности действий. В этом отношении характерен его анализ библейского мифа об изгнании из рая. Мужчина и женщина жили в раю в полном согласии с природой, не было и нужды в нарушении собственных целей и интересов: еда, питье, прочие потребности удовлетворялись по мере надобности. Запрещалось лишь вкушать плодов от дерева познания добра и зла. И что же? Человек — вопреки собственным интересам, наперекор им и воле Бога — срывает яблоко, вкушает запретный плод. За что, естественно, изгоняется из рая. С точки зрения человека, делает вывод из этого мифа Э. Фромм, «это — начало человеческой свободы». Нарушив установленный Богом порядок, он освободился от Принуждения, возвысился от бессознательного предвеческого существования до человеческого. Нарушение запрета, грехопадение в позитивном человеческом смысле является первым актом выбора, актом свободы, то есть первым человеческим актом вообще... Акт свободы прямо связывается с началом человеческого мышления». Вот почему встроеннность в жесткие иерархические структуры, подчиняющие человека, принуждающие его к строгому порядку (даже во благо ему, для достижения его собственных интересов и целей), Э. Фромм полагает бегством от свободы в слепую сторону рабства.

К еще более крутым выводам относительно дилеммы «жизнь или свобода» приходит Альбер Камю, отразивший в своих философских исследованиях опыт гитлеровской оккупации и борьбы с ней во Франции. По Камю, следует различать революции, которые происходят в защиту интересов (классов, социальных слоев), и бунты, отличающиеся некоторым абсурдом в самом своем замысле. Революции совершаются во имя интересов и целей человека, в соответствии с его идеалами; что же касается бунтов, то они возникают как бы в противоположность интересам. Являясь «одним из суще-

ственных измерений человека», бунт, по видимости, ничего не создает, но «в действительности глубоко позитивен, потому что он открывает то, за что всегда стоит бороться» — за свободу. Во время бунта человек идет на все, вплоть до смерти, его разум сменяется яростью, перерастая в слепую отвагу, с какого-то момента он теряет чувство меры и решается ответить на принуждение, на всеобщее преступление против человека ответным преступлением — мистафизическим убийством. При этом он готов к самопожертвованию, к собственной гибели — и идет на смерть чуть ли не с улыбкой на устах. Но ясно ли, на чьей стороне Альбер Камю в дилемме «жизнь или свобода»?

Одним этим примером можно убедить в том, что свобода — высшая ценность в менталитете человека. Как бы ни отодвигалась решительная борьба с неволей, как бы ни отступал и ни согибался человек под гибом власти, все равно когда-то пружина распрямится и худо придется тем, кто стоит против.

Совершенно очевидно, что понимание свободы в разные периоды истории было различным. Изучение идеалов свободы, сложившихся в те или иные эпохи, показывает, что наш мир неуклонно, хотя и медленно, продвигается по пути признания свободы высшей ценностью человека и общества. Происхождение их шло под влиянием нескольких главных



Фото Владимира Иванова

факторов. Первый из них — высокая имитативность предложений, второй — достаточно крупное их объединение для обороны от агрессивной окружающей среды. Обоим этим требованиям отвечает привычное всем народам мира сообщество — толпа. Однако в эпоху предыстории, когда речи еще не существовало, пратолпа (то есть предковая форма толпы) носила особый характер. Ее отличительные особенности: 1. сверхобычно увеличение силы и скорости передвижения; 2. уравнивание всех ее членов, когда участник теряет собственную волю и превращается в автомат, повторяющий движения пратолпы; 3. огромная величина эмоций, владеющих пратолпой, быстрый переход от агрессии к панике, от экстаза к ярости и т. п.; 4. бурная реакция на ритмические стимулы (хлопки, жесты, удары в грудь, топот и т. п.). И так далее.

Для нашей темы важно, что пратолпа представляла собой единое, плотное, унитарно действующее и унитарно чувствующее объединение. То была огромная Личность, действующая, как один индивид. Ни о какой свободе в пратолпе и речи быть не могло! Она потому и выжила в окружающем ее мире, что держалась монолитно, нападая и убегая с огромной скоростью. Кто отставал, кто шел против пратолпы, тот погибал и, следовательно, не оставлял после себя потомства, его генофонд не сохранился в детях и внуках.

Западный идеал свободы, зародившийся в иудаизме и Римской империи, укоренившийся затем в глубочайших этических пластиках Западного мира, состоит в том, что человек ощущает себя свободным лишь тогда, когда обладает всей полнотой личностных прав. Христианство, впервые

определенное, что все люди равны и нет перед Богом ни злодина, ни иудея, легко и естественно восприняло эту традицию, став основанием равенства в правах перед законом всех людей как таковых. Рабство теряет прежнюю моральную самодостаточность и становится предметом осуждения.

На протяжении двух тысячелетий новой эры в христианском мире активно разрабатывается доктрина прав и свобод человека, она наполняется все более разносторонним содержанием. От прописных истин переходит к судебным установлениям, к правовым актам, определяющим не только личные нравственные устои, но и общественные, государственные.

Мы можем проследить этот процесс, изучая Билль о правах, Хельсинкское соглашение, Конституции западных стран, Всеобщую декларацию прав человека, другие международные и национальные правовые документы. Более того, сопоставляя записанные в этих документах права и обязанности человека, можно прийти к обобщенным выводам, показывающим прогресс (или регресс) в развитии как идеала свободы в данной стране, так и конкретный коэффициент свободы в ней (отношение прав к обязанностям).

В целом западный идеал свободы, как совокупность прав человека, сегодня сложился, он закреплен во многих международных актах, принятых ООН.

Но, рассматривая этот идеал, легко заметить его уязвимость и недостаточность для полной свободы. С внешней стороны личность обеспечена открытым и все расширяющимся перечнем прав, которые делают человека все более независимым от окружающих условий. Эти права и свободы превратились ныне в своеобразные рельсы истории, по ним движется и по их километражу отсчитывается прогресс человечества. В то же время человек западного идеала свободы не защищен, более того — подавлен и устрашен ужасом истории, которая стоит между ним и пределами его физического существования.

Единственным выходом из этой ситуации оказалась религия. Западная философия свободы немыслима без нее и не пременно включает в себя веру в Бога, которая обеспечивает личностную защиту человека. При этом стоит обратить внимание на переворот в самой вере, который последовал за иудео-христианством. Упование на защиту богов было характерно и для архаичного человека, чье мифологическое осознание мира слепо копировало образцы поведения богов, предков или героев. Евреи впервые ввели в миропонимание веру как некий религиозный опыт встречи с единственным **Всемогущим**. Ему и только Ему подчиняются силы природы и общества. Христианская вера — следующий шаг — впервые провозгласила, что все возможно и для человека, если он одухотворен верой в Бога. «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: если кто скажет горе сей: «поднимись и ввергнись в море» и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,— будет ему, что ни скажет. Поэтому говорю вам: все, что ни будете просить в молитве, верьте, что получите,— и будет вам». С этого исторического момента человек духовный становится ответственным за себя и свою судьбу в обоих мирах.

Вера выглядит здесь как вынужденный паллиатив, без которого достигнутая **внешняя** свобода не лишает человека крепчайшей **внутренней** зависимости от ужаса истории, онтологической бессмыслицы человека и его рефлектирующего сознания. Отринчив личность правами и свободами во внешнем мире, западный человек оказывается наедине с собой, но именно здесь-то он и несвободен. Слабый легко ломается, сильный нередко звереет и обескультуривается. Неуправляемое внутреннее одиночество ввергает его в панику, что, по-видимому, во многом определяет процент наркомании, суицида и преступности. Западный прогресс все более и далее отчуждается от человека, порождая свободу бездуховности и неверия. Ужас истории по-прежнему настигает личность в современном мире, и апокалипсис конца света опирается на внутреннее ощущение его действительной близости. Западный идеал свободы неотвратимо вползает в тупик; с каждым веком все яснее становится его односторонность. Он перестает приносить счастье, что зафиксировано и западной философской литературой XX века.

Гуссерль, Кьеркегор, Ясперс, Сартр, вообще вся феноме-

нология и экзистенциализм выросли на этой незакрытой потребности западного человека. Но в силу своей элитарности, чисто философской окрыленности и полета над архетипами, врезавшимися в западного человека за века и тысячелетия, эти философские течения не смыкаются с устремлениями народов и не дают им желанного прикрытия от ужаса истории.

Положение казалось бы безнадежным, если человечество еще в свое время не выработало бы иного идеала свободы.

Трудно уловить тот первый момент, когда на передний план размышлений архаического человека Древнего Востока выдвинулся мотив первостепенного значения внутреннего мира — в противовес внешнему. Во всяком случае, уже в самых ранних письменных памятниках Индии мы найдем повышенное внимание к внутреннему состоянию человека, который, уйдя в мир самосознания, способен преодолеть невзгоды и превратности мира внешнего — быттного и событийного. «Цель выше чувств, мысль выше целей, рассудок выше мысли, великий атман выше рассудка».

На Востоке сердцевина свободы лежит в умении человека достичь духовной свободы, отвлекаясь от телесного существования, как бы отрицая его влияние на дух и тело. Достижение счастья, нирваны, всей полноты воли возможно в самых крутых житейских и вообще в любых внешних обстоятельствах. Важен дух, его сила, его приобщенность к высшим уровням мира и бестелесной субстанции. Сумма прав во внешнем мире мало интересует человека восточной культуры, он рассматривает внешний мир либо как греховный и недостойный, либо как отвлекающий от самоуглубления и погружения в нирвану, в поток потустороннего счастья, которое куда более ценно, чем судебные возможности отстаивать права перед людьми и миром. При этом погружение в себя никак не стыкуется с вполне понятной западной культуре единненностью, когда ощущается некая — почти физиологическая — потребность в пространственном отделении от другого. Как видите, это совсем не те условия, на которых зиждется нирвана или чего требует мокша.

Похоже, что оба мировых идеала свободы существуют в разных жизненных сферах.

Эта полярность, казалось бы, исключает возможность появления третьего идеала свободы. В самом деле, что может быть еще не охвачено (хотя бы логически!) дихотомией «внешнее — внутреннее»? В одном случае речь идет о наборе прав и свобод человека, в другом — отрицание внешнего регулятора, углубление во внутреннюю свободу человека. Спор по поводу выбора одного из этих идеалов бессмыслен, поскольку отправная точка такой дискуссии не могла бы быть единой. И хотя, в соответствии с Карлом Поппером, «миф единого концептуального каркаса» не препятствует дискуссии, все же сама история показала, как трудно найти общий язык и даже мысленно сблизить политические позиции обществ с различными идеалами свободы. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места им не сойти» — этот эмпирический вывод поэта достаточно ярко иллюстрирует ситуацию. Оба идеала с полным правом могут считаться общечеловеческими, поскольку их создавали миллиарды людей, в силу разности своих позиций оказавшихся на разных сторонах социальных баррикад.

Парадокс, однако, в ином. Как только мы обратили внимание на два идеала свободы, тотчас возникают вопросы более широкого плана: а почему именно два? Не упустили ли мы третьего, а быть может, и четвертого? Нет ли смысла посмотреть на нашу национальную трагедию как на результат реализации собственного, весьма своеобразного идеала свободы, который и по сию пору определяет судьбу России, ее культурные достижения и ее социально-экономические провалы, преследующие нас на протяжении веков государства? Россия (а если посмотреть шире — славяне вообще) составляет самобытную концентрацию выстраданных своей историей идей, чувств, убеждений, объединенных весьма сложной парадигмой. Совершенно определенная ИНАКОСТЬ, особость русского идеала свободы вполне осознается как на Западе, так и на Востоке. Попытки разгадать «загадочную славянскую душу» велись с незапамятных времен и не увенчались успехом. Тайна по-прежнему остается.

Миф о непостижимости славянской судьбы, а в связи с этим и славянского пути развития упорно поддерживается всем остальным миром. Разумеется, славянские народы отлично понимают свою инакость и отличие от соседей. Хотя осознание этого пришло к славянам сравнительно поздно, когда Восток и Запад мировоззренчески сложились. В силу своей исторической молодости русский идеал свободы оказался очень ярким, жизнеспособным и весьма мощным. Мало того, ныне он сам претендует на звание общечеловеческого, и не менее основательно, чем его старшие братья, поскольку вобрал в себя какие-то всеобщие, важные для всех людей планеты черты.

По-видимому, первым, кто выразил это философски, был Петр Чаадаев. «Мы никогда не шли вместе с другими народами, — писал он в «Философических письмах», — мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого».

Русский идеал свободы действительно весьма непрост для понимания, поскольку включает в себя несколько метаисторических, а частично и метафизических положений. Его возникновение проследить по литературным источникам сложно хотя бы потому, что письменность пришла на Русь вместе с православием, а дохристианские нравы в русской литературе изображаются как язычески низменные. Может возникнуть впечатление, что высокая нравственность, а в связи с ней и идеал свободы появились лишь с приходом христианства и ему одному обязаны своим рождением.

На самом деле это не так. Само принятие православия свидетельствовало о том, что оно в чем-то главном, в самых фундаментальных нравственных догматах соответствовало русской душе, ее народным традициям и идеалам.

В истории нередко бывает так, что по какой-то детали, по незначительному, порой курьезному факту можно судить о многом. Старая пословица, что в капле воды отражается солнце, здесь вполне уместна. У евреев исход из египетского рабства заложил понимание освобождения как избавления от внешних, сковывающих их условий. У русских есть свое свидетельство о том, как они очищались от скверны. Откройте первый памятник Древней Руси — «Повесть временных лет» — и вы почти сразу наткнетесь на запись, которую многие и по сей день воспринимают с некоторым смешком, удивляясь, что только не попадало на страницы старинной летописи. После рассказа о происхождении славянских племен упоминается забавный обычай славян. Святой Андрей Первозванный, брат Петра, обследовав Русскую землю, лежавшую вокруг Днепра, вернулся в Рим и поведал своим ученикам: «Удивительное видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и разожгут их докрасна, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя молодые прутья, и бьют себя сами, и до того себя добывают, что едва слезут, еле живые, и тогда оболются водою студеною, и только так оживут. И делают это всякий день, никем же не мучимые, ио сами себя мучат, и это совершают омовенье себе, а не мученые».

Эпизод в «Повести временных лет», казалось бы, случайный, без него вполне мог обойтись летописец. Но оставил! И ни у кого из тех, кто переписывал древнейшие тексты, не раз их правил, не поднялась рука выбросить это свидетельство. Очевидно и другое: святой Андрей, посвятивший изучению Руси немало времени, выбрал всего один обычай, о котором поведал римлянам. И сделал он это наверняка потому, что понял его глубинный, духовный смысл. Не потому ли, что одной фразой, буквально несколькими словами в нем очерчен русский характер с его главной «причудой» и главным свойством: «никем не мучимые, но сами себя мучат, и это совершают омовенье себе, а не мученые»?

Эпизод следует понимать, разумеется, не только буквально, как описание русской бани, но как некую историческую метафору, отражающую русский идеал свободы, возникший до принятия православия Русью. Для людей, которые сами себя мучат и в этом видят свое «омование», то есть очищение тела и духа, страдание Христа и его подвиг во имя спасения человечества вполне понятны, доступны для бытового пони-

мания и приемлемы в качестве образца поведения. Пострадать за свободу — дело для славян привычное, обыденное. Они и рабов то у себя не держали.

Суть этого русского идеала состоит в понимании свободы как некоего итога духовного и физического страдания, само-мучения и последующего очищения — как приобщения к Богу. Здесь органически заложена некая высшая справедливость по отношению к ближнему и дальнему.

Для русского самосознания этот мессианский и миссионерский идеал настолько привычен, что обычно его особость не замечается. Но ведь и ни одна культура мира не породила гоголевской «Шинели» или пушкинского «Станционного смотрителя»! Русская литература прошлого столетия в этом отношении может считаться скорее журналистским репортажем, впрямую отражающим действительность, чем художественным вымыслом. Но и до XIX века, на протяжении целого тысячелетия взгляд на свободу как некое выстраданное состояние, как достижение справедливости среди людей и народов, когда в жертву приносятся свои личные интересы во имя свободы и счастья других, — вот что определяло и до сих пор определяет ощущение свободы в культурном пространстве России и славянских народов.

Православие удобно легло в этот идеал. Искание — через страдание и сострадание — абсолютного добра и Правды (не Кривды) стало основой свободы духа. Быть может, с наибольшей силой этот идеал выражен в знаменитой Пушкинской речи Ф. М. Достоевского, где он говорил: «Стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком». Именно отсюда идут русский мессианизм и миссионерство — со всеми их достоинствами и недостатками. С их странным имперским духом, когда русские в завоеванных странах быстро вживаются в коренную культуру.

Речь идет о понимании свободы как некоего братства, к которому должны прийти люди; это братство достигается через страдание и сострадание к ближнему, через всеобщую справедливость. «Русскую идею» Владимир Соловьев пытался довести до своих парижских слушателей в докладе, прочитанном им в 1882 году. По Соловьеву, Россия обладает национальной совестью, которая сюда движет в том направлении, чтобы достичь в согласии с другими народами совершенного и вселенского единства. Для «русской души» (быть может, кавычки здесь излишни) нельзя «безназанно написать на своем знамени свободу славянских и других народов, отнимая в то же время свободу униатов и русских раскольников, гражданские права у евреев».

Сострадание брату, другому народу заложено не на уровне политического течения XIX века, а в глубинных слоях духовного наследства, доставшегося нам не только со времен Киевской Руси, а много раньше. Похоже, оно коренится в самосознании первичного социума — крестьянской общины, связанной круговой порукой и в горе-злочастии, и в праздники. Уже в более поздние времена возник «сверхнационализм, универсализм — такое же существенное свойство русского национального духа, как и безгосударственность, анархизм». В этом своем «национализме» Россия не похожа ни на одну страну мира, поскольку, по мнению Н. Бердяева, она «призвана быть освободительницей народов». В этом ее духовная миссия. Достижение свободы в этом варианте мыслится не как совокупность прав личности и не как уход во внутренне пространства души, а как достижение справедливости для всех и сострадание всем угнетенным.

Русский (или, если угодно, российский, славянский) идеал свободы не стыкуется напрямую с требованиями западного: предоставить человеку прежде всего некий потенциальный набор полномочий. Отсюда политически сложная проблема соблюдения прав человека в России. Не стыкуется он и с восточным идеалом свободы, поскольку не освобождает душу от сострадания к другим людям, к братьям, вовлекая ее в мирские дела. С этой точки зрения немыслима интеграция ни с одним из полюсов — Западом или Востоком. И Россия, как мы видим, никак не средоточие между тем и другим, не «прокладка», не «буфер», призванные сгладить столкновение или примирить две вершины человеческого духа. А некий третий полюс.

Смерть рок- музыканта

Повесть



Первую свою сказку он сочинил в шесть лет, ее записала бабушка. Первую рукопись принесла в редакцию его жена, когда ему исполнилось сорок два года. Кстати, мистики считают, что 6 и 42 — это одно и то же число. У него сильное поле. Если в помещении есть сломанные часы, они снова начнут ходить некоторое время. Но его это совсем не интересует. Он пытается понять, как устроена жизнь. Вопрос, на который смертному нет ответа.

Тема повести не нова. Ее гениально раскрыли Гофман в «Крошке Цахесе» и Томас Манн в «Докторе Фаустусе». Но в шулерскую эпоху она звучит по-особому, пусть и рука не столь талантлива... Так что перед вами не просто детектие.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая Ирэна

Было холодное свинцовое утро конца декабря.

К дому номер семь по набережной Серебряного Бора подъехал шоколадного цвета автомобиль марки «ниссан». Эта модель напоминала «джип», была обрудована по последнему слову техники и стоила бешенных денег.

Если бы кто-нибудь в ту минуту взглянул на сидевшую за рулем женщину, то он неизбежно бы пришел к выводу: весна здесь уже никогда не наступит. Это некогда красивое лицо было теперь отталкивающим. Ни шуба из голубого плюсса, ни великолепные золотые серьги с бриллиантами, ни кольца хорошей работы почти на каждом пальце обеих рук — женщина непрестанно курила и поэтому перчатки ей мешали, — ни тончайшие французские духи, ни все прочее, что свидетельствует о неподдельном богатстве, не могло сгладить неприятного впечатления и, более того, избавить от ощущения тревоги и даже страха.

Женщину трясло. С трудом преодолевая дрожь, она вошла в грязный подъезд, где пахло кошками, протухшей пищей и несбычившимися надеждами. На седьмом этаже женщина позвонила в ближайшую дверь, находившуюся справа от лифта. Это была стандартная однокомнатная квартира, которую взяло в аренду под своюkontору частное сыскное агентство Эдуарда Жолтера.

В то утро, когда тоскливая поземка гуляла по замерзшей темно-серой поверхности канала, в конторе находился лишь Миша Пончиков — сорокалетний крупный, но несильный мужчина, к тому же немного фанфарон и фат. Миша спешил сдать дежурство и занимался самым нелюбимым — заполнял журнал прописствий. Он ждал с минуты на минуту появления секретарши Леночки, которая должна была сменить его и которая вечно опаздывала.

Пончиков подошел с недовольным видом к двери и даже не стал заглядывать в суперглазок, приобретенный Жолтером в Великобритании. Этот уникальный механизм давал увеличенное и объемное изображение всей лестничной клетки при любом освещении.

Распахнув дверь, Миша обнаружил трепещущее разодетое существо, которое едва смогло выговорить:

— Алексея убили...

Какое-то мгновение Пончиков ничего не мог понять, но потом пригляделся и довольно быстро сообразил, что к чему.

— Какими судьбами, дорогая?! — произнес он кислым тоном, который должен был означать приветливость и сочувствие.

— Ты понимаешь, что я говорю? — Язык у женщины явно заплетался.

— Ирэна, — сказал Миша притворно-ласковым голосом, будто разговаривал с капризным ребенком, — Алексея уже нет почти год... Откуда ты взяла, что его убили?

Раскусив капсулу с каким-то веществом, Ирэна уселась в кресло, положила ногу на ногу и с равнодушным и высокомерным видом закурила. От былой подавленности и испуга не осталось и следа.

— Я без дозы не могу, — прервала она затянувшееся молчание. — Люди моего масштаба всегда под липкими взглядами всяких кретинов...

Да и почти год... — задумчиво произнесла она и вдруг неожиданно спросила: — У тебя есть пистолет?

— Есть, — не без гордости ответил Пончиков. — И, кажется, стреляет.

— Оставим шутки, Мик. За мной следят и мне угрожают.

— Не может быть! Кто? — Пончиков театрально расширил глаза.

— Миша, я должна встретиться с Жолтером. Вот почему я здесь.

По существовавшей инструкции, которая соблюдалась неукоснительно, выходить прямо на шефа было запрещено. Но Пончиков по праву старого школьного товарища Эдуарда Васильевича решил этот запрет нарушить.

Глава вторая Встреча с Жолтером

Миша и Ирэна перешли канал по льду, поминутно оглядываясь.

Через заднюю калитку они благополучно проникли в дом Эдуарда Васильевича.

Дверь им открыла Зинаида Ивановна — бодрая девяностолетняя старушка в пенсне со шнурком, как у Чехова. Прислуги здесь не держали.

Зинаида Ивановна сообщила, что Эдуард Васильевич катается на лыжах.

— Оставайтесь, Миша, и вы, не знаю, как вас звать, приятная девушка. Уже пироги поспевают. С рисом, капустой и курагой.

— От вашего предложения нет сил отказаться, — сказал Миша вполне искренне и добавил: — Мы очень спешим. Как нам поскорее отыскать вашего гениального внука?

Это словосочетание в местных сферах было допущено к употреблению как слегка шутливое и слегка серьезное.

Бывшая революционерка — а надо упомянуть, что Зинаида Ивановна уже с пятнадцати лет лично разбрасывала листовки и до сих пор благодарила Бога, что не «метательные снаряды», — исчезла за дверями и тут же вернулась с каким-то немыслимым беретом времен мушкетеров.

— Очень приятная девушка простудится, — пояснила она, — здесь совершенно ужасные ветровые потоки.

Ирэна давно уже не носила головного убора, поскольку вне автомобиля находилась на улице обычно одну-две минуты. Этот стаинный берет из темноизумрудной замши очень удачно сочетался с ее рожкошными белокурыми волосами.

— Так где же нам его искать? — нетерпеливо спросил Пончиков, для убедительности взглянув на часы.

— Миша, — укоризненно заметила старушка, — вам уже давно пора изучить его маршрут.

Ирэна совсем выбилась из сил, когда Жолтер был наконец обнаружен. Они застали его за интересным занятием: он созерцал какую-то птичку на дереве. Синицу или снегиря — и Ирэна, и Миша в этом плохо разбирались. Вид у Эдуарда Васильевича при этом был довольно глуповатый: рот полуоткрыт, в голубых навыкате глазах — почти детский восторг.

Надо заметить, что к странностям Эдуарда Васильевича относились и то, что он любил, когда о нем говорили как о бывшем моряке. Он охотно и сам распространял эту легенду.

На самом деле, находясь в призывном возрасте, Жолтер, как и все дети его круга, учился в МГИМО, потом много лет жил за границей, море и океан, если и видел, то разве что с борта самолета.

Оторвавшись от птички, Эдуард Васильевич посмотрел на Ирэну бессмысленным, полусонным взглядом. Казалось, он вот-вот зажмурит глаза и заснет.

Но ничего подобного не произошло. Эдуард Васильевич как бы проснулся и с застенчивой обаятельной улыбкой приятным голосом сказал:

— А я все бродил вокруг и размышлял, когда к нам Ирэна Владимировна пожалует.

Теперь пришел черед удивиться Ирэне:

— Я, собственно, и не собиралась, но меня просто, не знаю как сказать, преследуют со всех сторон...

Эдуард Васильевич принимал их в каминной комнате. Везде горели свечи — на стеллажах, на подставке, на этажерке, на столе. Жолтер поверх тельняшки надел на сей раз атласный халат — чего-либо нелепее нельзя было и придумать. Зинаида Ивановна принесла Мише в глиняной кружке глинтвейна, чем баловала его всегда во время «зимне-отопительного сезона», а Ирэне большую стограммовую рюмку коньяку.

Сам Эдуард Васильевич, отложивший пока что завтрак, разжег дрова в камине, а потом, усевшись в кресло — его посетители сидели напротив за столом на массивных табуретах, — принял разглядывать серебряную чайную ложку в большую лупу. Ирэна иногда шутливо отмахивалась от «серебряных зайчиков».

— Итак, пожалуйста, излагайте, — произнес вдруг Жолтер очень недовольным тоном.

— Если быть краткой, — сказала Ирэна, одним махом выпивая коньяк и стараясь быть серьезной, — то не далее как вчера мне позвонил какой-то непонятный глухой, скорее всего женский голос...

— Через платок, — кивнул Пончиков со знанием дела. Жолтер пропустил это замечание мимо ушей.

— За сто пятьдесят тысяч, — продолжала Ирэна, — мне обещали сообщить, куда Алексей спрятал деньги.

Она сделала паузу, ожидая вопроса или комментария, но ни того, ни другого не последовало.

— Кроме того, на даче, где я не живу с тех пор, как Алеша не стало, на самом участке, все перерыто, будто нанимали трактор с плугом... Во-вторых, за мной постоянно следят.

— В-третьих, — уточнил Жолтер.

— Я всегда говорю «во-вторых». Я никогда не могу сосчитать, что там в-третьих, в-пятых...

Ирэна закурила, не спрашивая разрешения. Пончиков по такому случаю тоже взял из ее пачки длинную, тонкую дорогую сигарету и задымил.

— Дело действительно в деньгах? — спросил Жолтер без всякого интереса.

— Полагаю, что да, — не без скрытой иронии ответила Ирэна.

— И сколько же, по вашему мнению, исчезло?

— Трудно сказать. — Ирэна нервно пожала плечами, отмахиваясь рукой с сигаретой от очередного лучика, который Жолтер упорно «выпускал» из своей серебряной ложки. — Когда его похоронили, я смогла отыскать тысячу триста.

— Я читал в газетах, — сказал Жолтер, — что одни дачные постройки, если их так грубо назвать, оцениваются по нынешнему курсу в пятьдесят — сто миллионов рублей.

— О даче Гребешкова нет никакой ясности, — с горечью заметила Ирэна. — Тут предстоит такая война с родственниками... с отечеством. Тут уже на меня наезжают с проектом музея русских шансонье. Так они, кажется, собираются его назвать...

— А почему бы вам не обратиться за помощью к официальным властям? — спросил Жолтер.

— Поймите меня правильно, в жизни домыслов больше, чем правды.

— Но что вам скрывать? — не унимался Жолтер. — Сейчас везде идет приватизация, никто не скрывает своих доходов. Тем более что Алексей Гребешков — один из самых знаменитых певцов, бардов, поэтов... Он даже и прозу писал?

— Да, что-то, — поморщилась она, — но это все надо готовить, нанимать людей... Я вот вам что скажу. — Ирэна перешла на заговорщицкий тон. — Речь идет об очень большой сумме. Алексей был кумиром публики, все правильно. Деньги эти честно заработаны, но есть какие-то цеховые негласные правила... И я бы не хотела их нарушать.

— Завещание он оставил? — перешел Жолтер на деловой тон, положив чайную ложку и лупу на каминную полку.

— Что вы?! Алеша собирался прожить сто пятьдесят лет.

— А выпивки, наркотики, о которых писали в газетах?

— Это скорее имидж... актерская маска.

— Вы уже, в определенной степени, опровергаете официальную версию.

— Почему? — Большие темные глаза Ирэны выразили недоумение. — Каждый из нас может один раз выпить и уколоться... Вы сможете провести расследование без огласки?

— Смогу, — подтвердил Жолтер не без раздражения.

— Я готова заплатить большой гонорар. Главное, чтобы ничего не попало в прессу.

— Этого обещать на сто процентов не могу. Мы иногда используем газеты, в частности «Коммерсантъ», чтобы сбить с толку наших противников... А как, кстати, поживает телохранитель вашего покойного мужа... Вася Антипов, кажется? — неожиданно спросил Жолтер без всякой связи с предыдущим.

— А что с ним сделается? Работает сейчас у Евы Розиной, — ответила с недоумением Ирэна.

— Наверное, был какой-то контракт?

— Да, на три года.

— Охрана на даче?

— Да.

— Сколько человек?

— Восемь.

— Сутками дежурят по двое?

Она кивнула.

— Вооружены?

— Естественно.

— Как же тогда все перерывы?

— Ума не приложу, — как-то легкомысленно, не в тон Жолтеру ответила Ирэна.

— А чего ищут, — поинтересовался Пончиков, — золотые червонцы или доллары?

Ирэна пожала плечами.

— Хорошо, — сказал Жолтер с видом человека, которому уже все ясно, — вы готовы отдать сто пятьдесят тысяч за этот телефонный разговор?

— Разумеется.
— Мы ведь их можем и потерять.
— Не стоит беспокоиться.
— Сами пойдете и будете с ними общаться?
— Упаси Господи!
— Тогда возвращайтесь в контору,— сказал Жолтер.— Там с нашей секретаршей оформите договор. Зовут ее Елена Александровна.

Жолтер стал подниматься по лесенке наверх.
— Ну что же вы? Идите,— сказал Жолтер.
— Одна?! — В голосе Ирэны послышались испуг и растерянность.
— А вы подойдите к окну и взгляните в окуляр,— посоветовал Жолтер уже с верхней площадки, откуда вел ход в башенку.

На подоконнике стоял прибор, напоминающий телескоп. Так подумалось Ирэне. Она глянула в него и увидела как на ладони весь путь по льду канала до подъезда дома номер семь.

— Действительно, в этот телескоп все видно,— согласилась Ирэна,— но успеете ли вы меня спасти?

— Перископ! — донеслось сверху почти гневно.

Когда Ирэна ушла, Эдуард Васильевич тут же спустился и недовольно пробурчал:

— Гипнозу она не поддается.
— Но поддаст, видимо, здорово,— заметил Миша.
Жолтер впервые рассмеялся за это утро. Потом он задумчиво сказал:
— Пусть Анисимов сходит посмотрит, чего они хотят.
— Прикрывать не будем?
— Если они знают, где лежат миллионы, зачем им сто пятьдесят тысяч?..
— Эд,— Миша неожиданно и решительно переменил тему,— притащи мне, пожалуйста, штук пять пирожков... Мне надо бы еще выпить глинтвейна...

Завтракали они порознь. Жолтер как всегда один в столовой, а Пончиков с Зинаидой Ивановной на кухне.

Глава третья В правительственном морге

Пончикову так и не удалось завершить дежурство на более или менее приятной «пирожковой» ноте. Неожиданно, когда он мирно беседовал с Зинаидой Ивановной, на кухню буквально ворвался Жолтер и велел Мише немедленно звонить по телефону правительственный связи в Главморг.

В свое время отцу Эдуарду Васильевича по должности полагалась «вертушка» в рабочем кабинете, в московской квартире и на даче. Этот последний «дачный» аппарат удалось сохранить за большие деньги. Сам Эдуард Васильевич звонить по правительственной связи не любил и заставлял это делать Пончикова, который брался обычно за такую работу охотно, хотя подчас и пересигрывал. Пережим, впрочем, здесь действовал безотказно.

— Иван Петрович!.. Здравствуй! — Тут исключительно надо было обращаться на «ты», по-партийному.— Это говорит следователь вице-президента по особо важным поручениям Пончиков Михаил Сергеевич... И я тоже рад. Подготовь мне, пожалуйста, материалы на Гребешкова Алексея Георгиевича... Кого-кого? Певца!.. Примерно год назад... Благода-

рю. Мы скоро с моим экспертом подкатим... Не волнуйся, ничего мы пока не ищем. Будь здоров.

Через двадцать минут они уже мчались по Рублевскому шоссе. Затем, свернув, проехали через ворота и оказались на территории знаменитой Кунцевской больницы.

У входа их поджидал скромно одетый человек с печатью вечного траура на лице.

Пончиков вальяжно вышел из красного жолтеровского «мерседеса», похлопал вечно скорбящего по спине и, подавая руку, произнес со значением:

— Приветствуя тебя, Иван Петрович.

— А я не Иван Петрович,— сказал человек, при ближайшем рассмотрении лицо которого оказалось багиным,— я его зам.

Они вошли внутрь здания, и какие-то служители накинули им на плечи белые халаты.

Здесь на специальном пlexiglasовом столике-каталке были разложены цветные фотографии, материалы вскрытия и посмертная гипсовая маска.

— Все по высшему разряду. Точно бывшего члена политбюро обслужили,— похвалился замдиректора.

Жолтер взял одну из фотографий. Гребешков лежал на оцинкованном столе с сердитым и решительным лицом. Темные густые волосы его были посеребрены сединой. У него были длинные ноги и очень короткое туловище, затянутое в кожаный корсет со множеством ремешков и пряжек.

От одного только корсета — Миша не смог бы объяснить почему — можно было упасть в обморок.

— Я на теле не вижу ожогов,— сказал Жолтер.

— Скорее всего он умер не от жары,— пояснил зам.— В парной было градусов девяносто — сто от силы. Может быть, она не успела как следует разогреться. С ним случился сердечный приступ. Относительно высокая температура просто усугубила кризис. Добавьте сюда еще алкоголь и наркотики, и картина станет полной. Там, в экспертном заключении, все это записано.

— А почему не сняли корсет? Это непорядок.

— Конечно, сняли и ничего такого не обнаружили. Я имею в виду следов насилия. Но еще не успел прийти фотограф, а покойного уже начали спешно одевать. Дело в том, что панихида, если вы помните, была во Дворце спорта, а там открывался как раз международный хоккейный турнир.

— Корсетик-то тысяч пятьдесят стоит,— заметил Жолтер.

Замдиректора промолчал.

Три дня спустя быстрый и ловкий Сулашкин, сотрудник Жолтера, бывший работник МУРа, разыскал в крематории некоего кочегара Федю, дежурившего в тот день.

Это был прокуренный и жадный старик, состоявший, казалось, из одних морщин. За пятьдесят долларов — сумма тогда вполне приличная — и за гарантию того, что его не будут ни во что вмешивать, он сообщил следующее:

— Нам с напарником дали по пять штук, чтобы мы, как это обычно делается, не «потрошили». Но мы после спуска убрали его в подсобочку, а зарядили предыдущего дубаря. И тут приходит здоровый малый с конопатыми ручищами, кулак с грейпфрут. Контролер ихний, значит. Мы ему топочку приоткрыли, он заглянул, поблагодарил и удалился... Костюмчик, зна-

чит, с того гения-то сняли, а под рубашечкой у него был такой кожаный жилетик с пряжечками. Один «металлург» за него потом пятьдесят тысяч оттянул... Кирюху вашего хорошо отдали. Под жилеткой у него — все в багровых полосах. Арматурой его, что ли? Вот. Я подумал сперва: может, дождить кому? А кому? Сейчас — что замочить, что поссать...

Толя записал этот разговор на пленку.

Эдуард Васильевич долго разглядывал гипсовую маску.

— Обрати внимание,— Жолтер показал ее Пончикову. Миша сделал вид, что посмотрел, но ничего не увидел,— обрати внимание на форму лба, носа, губ, на линию подбородка. Он прирожденный лидер.

— Эд, я не Ломброзо,— отмахнулся Пончиков, которому хотелось на улицу.

— Очень волевой человек,— говорил Жолтер скорее самому себе.— Такой своего не упустит и чужого тоже. Надо посмотреть, какое у него число в наборе. Наверное, единица... Сердце действительно слабенькое. Это можно определить по переносице...

Наконец — Пончикову почудилось, что прошла вечность,— не попрощавшись и бормоча себе что-то под нос, Эдуард Васильевич направился к выходу. Миша воспринял это как освобождение.

— Позвони-ка Ирене,— приказал Жолтер.— Узнай, когда он родился.

Пончиков связался по радиотелефону. Вдова соизволила сообщить, что Алексей Гребешков родился пятого марта тысяча девятьсот пятьдесят третьего года.

— Давай сложим,— предложил Жолтер.— Пять, три — март, один, девять, пять и три...

— Неужели ты веришь во всю эту ерунду, Эд? — засомневался усталый и раздраженный Миша.— Мне всегда казалось, что он просто из очень богатой и влиятельной семьи, как, скажем, Стас Намин.

— Да, конечно,— согласился Жолтер,— мы живем в дико сословной стране. Но все-таки ты зря лишишь Гребешкова всяких способностей и инициативы.

— Эд,— перебил Миша, черт его дернул за язык,— я сильно начинаю верить, что Гребешков есть не что иное, как следующее воплощение Иосифа Висарионовича Сталина, тем более что смерть одного и рождение другого разделяют всего каких-то два-три часа.

— Хотя это и маловероятно, я бы не стал с ходу и с насмешечкой этого отвергать.

Жолтер надулся и всю оставшуюся дорогу ехал молча. А Миша вспомнил притчу о Христе и дьяволе, которую по какому-то поводу Зинаида Ивановна приводила ему в пример. Сатана сказал Иисусу: поклонись, и все царства земные, а они переданы мне во власть, я отдам тебе. И действительно, говорила стаrushka, забудь совесть и стыд — поклонись! — и будут тебе богатство и слава людская. Может, в этом дело?..

Глава четвертая Анисимов

На встречу с вымогателем (или вымогательми) Жолтер отправил Севу Анисимова, бывшего сотрудника ГРУ. Без прикрытия. Зачем, рассуждал Эдуард Васильевич, людям, которые знают, где лежат,

возможно, сотни тысяч или даже миллион баксов, какие-то сто пятьдесят отечественных штук?

В службе Жолтера Анисимов был новичком. По знакомился он с «господином в тельняшке» на заправочной станции летом. Отстояв полтора часа в очереди — обычное тогда дело,— Сева вышел из своих еще совсем новых «Жигулей» и собирался уже взять шланг, как с противоположной очереди стороны подлетел красный «мерседес». Наглый карапуз-колобок, выскошив из него и опередив ничего не подозревавшего Анисимова, стал как ни в чем не бывало заправляться. Сева в недоумении спросил, почему он так поступает. Тот ответил: когда у тебя будет такая же тачка, тогда поймешь. Анисимов, ни слова не говоря, сел за руль, отъехал назад и на полной скорости врезался в лимузин обидчика. Севину машину можно было выбрасывать на помойку. На глазах Жолтера — и это Анисимова просто потрясло — были слезы умиления...

Будка телефона-автомата одиноко стояла среди сугробов. В радиусе двухсот метров не было никаких построек.

Жолтер сказал, что не надо ничего планировать, просчитывать варианты. Надо просто пойти и посмотреть, что будет.

Место находилось в Лефортове. Шел тихий мелкий снежок. Анисимов должен был взять трубку, стоять лицом к диску, не оборачиваясь, и набирать постоянно «ноль». Под плащом у него был прикреплен к поясу целлофановый пакетик с толстой пачкой тысячерублевок.

За разными бесконечными мыслями, за дурацким набиранием «ноля» он не услышал ни скрипа снега, ни человеческого дыхания, а просто вдруг почувствовал, что к его спине прижали что-то острое. Это был штык-нож от автомата Калашникова. Автомат тоже имелся в наличии, как выяснилось потом.

— Не шелохнись, мент,— сказал абсолютно спокойный, скорее мальчишеский голос,— будет шашлык!

. В считанные мгновения пачка денег исчезла. Затем последовал, будто вспышка на экране, удар по голове.

Анисимов, прежде чем потерять сознание, успел обернуться, но никого не увидел.

Глава пятая На Московском радио

Дмитрий Иванович Григорович — конечно же, потомок того Григоровича, который участвовал в литературной карьере Достоевского,— беседовал в прямом эфире с матерью Гребешкова. Дина Петровна всхлипывала и утирала платком сухие глаза.

Беседа подходила к концу.

— Когда вы поняли, что ваш сын — человек высокой одаренности? — спросил Дмитрий Иванович.

— Пожалуй, когда он бросил Институт народного хозяйства. Это, знаете, семейная традиция. Мы там учились с его отцом, мои родители... Он ушел из института, чтобы целиком отдать себя творчеству.

Между тем Анисимов с перевязанной головой дождался окончания передачи в холле. И было ему одиноко.

У Севы мысли были чернее ночи. Анисимов наив-

но полагал, что обязан вернуть деньги Ирэне. Где он сейчас возьмет сто пятьдесят тысяч? Жолтер платит ему десять тысяч. Разве «господин в тельняшке» не осознает, что в случившемся есть и его доля вины?.. Но Эдуард Васильевич к тому, что произошло, отнесся с удивительным спокойствием. Как всегда сделал вид, что ему все заранее было известно.

Он лишь сказал Севе, что теперь не сомневается, что искать нужно на даче Гребешкова. Но, поскольку там не снята пока охрана, торопить события не следует.

Как бы догадавшись, о чём подумал в ту минуту Сева, Жолтер назвал чистейшим бредом попытку убить за столь мизерную сумму.

Когда Анисимов очень тактично дал понять, что из-за всяких там теоретических выкладок потеряны не только большие деньги, но и ушел преступник, возможно, весьма опасный, Эдуард Васильевич ответил:

— Да я знаю, кто он.

— Ну и кто же? — опешил Сева.

— Человек небольшого роста

с крохотными ушами. К тому же у него сильно развиты надбровные дуги.

— Вы думаете, что если я его встречу, то тут же узнаю по вашим описаниям?

— Обязательно узнаете. И запомните, Анисимов, — назидательным тоном продолжал Жолтер, — случай со ста пятьдесятью тысячами чрезвычайно прост. Они хотели проверить, знает ли Ирэна о спрятанных деньгах. О каком-то тайнике. Мы им ответили: нет. Заодно — для прикрытия скорее — они сорвали небольшой куш.

Дина Петровна — очень толстая и слашавая — приветливо улыбнулась Анисимову:

— Рада познакомиться.

— Это наш сотрудник, — объяснил Григорович, — побывал в «горячих точках», будет делать большую передачу о вашем сыне.

— Да, да, я уже знаю.

Когда пили кофе, Дина Петровнаглядела в дальнем углу за стойкой какие-то запыленные золоченые коробки. Оказалось, что это шоколадные наборы по триста рублей. Средняя зарплата госслужащего тогда приближалась к тысяче. После некоторого размышления Дина Петровна приобрела дюжину таких наборов. Мише и Севе пришлось нести коробки до черной «Волги», которая поджидала неутешную мать у входа.

Глава шестая «Золотой лотос»

Анисимов выключил магнитофон. «Ирэна — женщина высочайшего класса, безусловно. Даже сквозь ширму наркотического дурмана это видно и слепому».

Голос Гребешкова казался резким, лишенным ин-



теллекта, кстати, не говоря уже о том, что пел он в нос, попросту гундосил. Но почти никто этого не замечал. После смерти популярность его еще более выросла. Сейчас чуть ли не в каждом доме крутили его песенки.

Приближался Новый год, но праздника не чувствовалось. Анисимов остановил служебные «Жигули» и очутился среди толпы на Тверской. Люди выстроились вдоль тротуара, образовав довольно узкий коридор. Предлагали купить все. Кругом — грязь, оберточная бумага, пустые мятые коробки.

Наконец он свернулся в переулок, почти пустынный, и впереди засверкал лиловыми неоновыми огнями так называемый салон «Золотой лотос».

«Загляните туда, — сказал Жолтер. — Там заправляет человек по кличке Царица. Может быть, ниточка потянется от него».

Дверь распахнулась, зазвенело множество колокольчиков. Строгий старый швейцар изучил удостоверение, подписанное начальником милиции города Москвы во время банкета в особняке Жолтера. Подпись произвела впечатление, как в старые добрые времена. Швейцар взял под козырек, пропустил и тут же, что не ускользнуло от Анисимова, нажал на потайную кнопку, предупредив своих хозяев наверху.

Напротив стойки бара в удобных глубоких креслах, обтянутых коричневым плюшем, сидели проститутки со свойственными только им бесстыжими водянистыми пустыми глазами.

Никакая косметика не могла скрыть болезненной бледности лиц. Здесь стоял затхлый запах неживого, который пробивался сквозь густой аромат Кристиана Диора.

Конечно, этих богатых потаскушек безошибочно

могло было вычислить и по одежде. Достаточно только было взглянуть на норковые и песцовые шубы, висевшие в гардеробе или же небрежно брошенные на спинки кресел. На них самих все было «оттуда» — от блузок и до трусиков.

За стойкой стоял рослый рыжий малый лет двадцати в светло-коричневой куртке из натуральной кожи, которая висела рядом в магазине электротоваров, именно там, за пятнадцать штук. Напомним: все это происходило еще до гайдаровского резкого повышения цен.

Видавшая виды кроличья шапка, которую Анисимов, как воспитанный человек, снял у входа, а тем более его желтовато-серый плащ на клетчатой байковой подкладке здесь явно были неуместны. Впрочем, его могли принять за какого-нибудь хиппи, за валявшегося дурака миллионера. Так подумалось ему в утешение.

К Анисимову подошла пожилая шлюха с толстыми мокрыми губами и непомерной, но хорошо уложенной грудью.

— Полежишь со мной, здоровячок? — предложила она. В прокуренном хрюплом голосе была некая специфическая ленца.

— Я на службе, — отмахнулся Анисимов. — Где сеньорита? — спросил он у бармена.

— Не знаю, о ком вы? — насторожился тот.

— Ну, Царица...

— Костя! — крикнул малый куда-то вглубь.

Из-за бамбуковой занавески появился мужчина лет тридцати с золотистыми крашенными локонами. Голубые томные глаза его были подведены.

— Ну, что тебе? — Голос у Кости был низковатый и самоуверенный.

— Тут пришел кто-то, — ответил бармен, показывая на Анисимова.

— Чего надо? — грубо спросил Царица.

— Я из муниципальной полиции, хотелось бы поговорить.

Костя нашупал языком новеньющую пломбу на заднем нижнем зубе, сплюнул прямо на пол и сказал:

— А мне один х... — что полиция, что мэрия, что морг.

— Зачем ругаться? — произнес Анисимов примирительно. — Мне поговорить надо... Вы знали Гребешкова?

— Кто же не знал Алекса?! Но не вздумай сказать о нем чего-нибудь странное при мне, мент.

— Как вы только могли подумать такое! — продолжал Анисимов вежливо и невозмутимо. — Здесь можно где-нибудь переговорить?

— Пойдем, если не бзишь. — Царица балдел от своего иллюзорного всесилия. Рядом в каморочке сидели наготове четыре амбала из охраны.

Анисимов прошел за ширму, там находился другой коридорчик. Костя вилял бедрами, как заправская манекенщица.

Помещение, куда они пришли, было без окон и напоминало кабинет высокопоставленного бюрократа. Оно было оббито дубовыми панелями. Над высоким креслом висел портрет Ельцина с бокалом. В одну из стен был вмонтирован кондиционер.

— Ну что — допросить тебя с пристрастием? Или сам запоешь? — спросил Костя, нагло глядя Анисимова в глаза. — Я тебя могу тут и закопать навеки.

Он поковырял в носу и вытер пальцем о спинку кресла.

— Призадумался, мент, — радостно захихикал Царица. — Интересуюсь, как я это сделаю?..

Анисимов понял, что под столом находится кнопка вызова, что дополнительно подпитывает наглость гомика.

— Я пятнадцать лет работал в Латинской Америке, — сказал, как бы оправдываясь и оробев, Анисимов. — Сельва, пампасы, повстанцы...

— Время не американский гондон, не растяньешь, — оборвал его Костя, наслаждаясь своим могуществом.

— А что это за ручка такая? — неожиданно спросил Анисимов.

— Это? — удивился Костя. И получил оплеуху, которая выбросила его из кресла в угол кабинета-бункера.

— Что это с вами случилось? — спросил Анисимов как ни в чем не бывало. — Упали?

Не отвечая, Костя попытался доползти до кнопки. Но когда цель уже была близка, Анисимов прижал каблуком его ладонь к полу.

— Если будете ерепениться, — предупредил Анисимов, — то очень сильно проиграете. Я от господина Жолтера, и он велел передать, что если с вашей стороны мы должного содействия не встретим, то он отложит все дела и лично займется вашей помойкой.

Костя поднялся, потирая распухшую щеку. На лице его появилось подобие приветливой улыбки.

— Зачем же сразу в морделььеру? — перешел он на испанский лад. — А чём, собственно, Эдуард Васильевич интересуется?

— Гребешков брал у вас курочек. С кем он обычно ездил отсюда на дачу перед своей смертью?

— Так бы и сказали, а то начинаете сразу... — Костя попытался подыскать слово поприличнее, — начинаете сразу козлить... Но мне трудно вспомнить, прошло до... довольно много времени.

Царица наморщил лоб и скис на глазах. Это было совсем не то, куда бы ему следовало лезть.

— Прошло меньше года, — уточнил Анисимов.

— Да, да, верно, но здесь столько перебывало... Хорошо, я вам обязательно что-нибудь подыщу.

— Хорошо бы отыскать ту девицу или девиц, тех людей, с которыми он бывал здесь в последние дни...

— Я понял. А что вы делали в Латинской Америке?

— Работал чем-то вроде диверсанта.

— Круто. Я могу вам предложить перейти ко мне на службу. Оплата только в сакавэ, только в сакавэ. Алекс всегда балдел от «зеленых», мог их выменивать по-сумасшедшему. За один грин давал полкуска.

— Так с кем он все-таки сюда приезжал, кого брал?

Царица стал заметно потеть из-под румян.

— Не берите меня за горло... Надо подумать. Серьезно подумать. Ведь Жолтер тоже шутить не будет. Тут ведь разные интересы пересекаются... Нет, я не отказываюсь помочь, но и самому жить надо. Тут по тонкому лезвию надо пройти... Гена Сирый бывал с ним. Эстрадный певец, вы знаете.

— А девочки?

— Я наведу справки, очень точные справки, — обещал Костя, и наманикюренные пальчики его подрагивали.

Глава седьмая Чаепитие в понедельник

Утром в понедельник Леночка, секретарша Жолтера, позвонила Анисимову на Семеновскую, где у него была комната в коммунальной квартире.

— Ждем вас в двенадцать в кабинете.
— Что-нибудь случилось?
— Там узнаете.

Сева отправился на ранчеву с самыми невеселыми мыслями.

В квартиру сорок три дома номер семь по набережной Серебряного Бора он приехал за пятнадцать минут до встречи. Все были в сбое, кроме Жолтера. Бесконечно звонил телефон, а так как он был оснащен специальным динамиком, чтобы «ту сторону» слышали все находящиеся в помещении, то ясно было, что речь идет исключительно о судьбе Гребешкова. Толя Сулашкин — красивый малый, как и все Анатолии, — пижон лет тридцати пяти с бородой и косичкой, бойко отвечал на вопросы.

Заметив в глазах Анисимова некоторое изумление, Миша Пончиков, ни слова не говоря, показал ему небольшую заметку в последнем понедельничном номере «Коммерсанта».

«Частный следователь Эдуард Жолтер, услугами которого обычно пользуются представители столично-го истеблишмента, подверг сомнению официальную версию смерти известного рок-певца Алексея Гребешкова.

По просьбе вдовы покойного музыканта он приступил к самостоятельному расследованию.

Эксперты «Ъ» напоминают, что 38-летний поэт и композитор скончался примерно девять месяцев назад в результате, как было объявлено, сердечного приступа».

— Как же это просочилось? — с нескрываемой досадой спросил Анисимов.

— Сам, — многозначительно, как мог только он один, произнес Пончиков. — Дал команду опубликовать.

Леночка, приветливо улыбнувшись Анисимову, занялась цветами. Она поливала их из большой пластмассовой лейки. Цветы в ярко раскрашенных горшках занимали всю стену напротив лоджии. Горшки стояли на подставках из толстого стекла и снизу подсвечивались.

— Но мы же их вспугнем? — недоумевал Анисимов.

— Этого он и добивается, — отвечал Пончиков.

Перешли на кухню, где был уже накрыт стол. Место Анисимова оказалось у окна, выходившего на лоджию. Это ему даже понравилось, потому что он не любил сидеть спиной к дверям.

— Мы всегда собираемся по понедельникам в двенадцать часов, — объяснил Пончиков. — Делимся информацией, обсуждаем планы. Эдуард Васильевич в это время настраивает нас на работу, передает нам что-то вроде импульсов бодрости, различные биотоки...

— Через подзорную трубу? — съязвил Анисимов.

— Это все же такие перископы, — уточнил Сулашкин. — Относитесь к его чудачествам спокойно.

Чувствовалась какая-то общая неловкость, даже скорее смущение, и Леночка добавила:

— Кстати, для бодрости мы сейчас будем пить настоящий «Биг-Бен»...

— Значит, и я теперь допущен, — сказал Анисимов.

— Дело в том, — Пончиков напустил на себя солидный и серьезный вид, — что Эдуард Васильевич позвонил Константину — ну, тому педику из «Золотого лотоса»... И очень остался доволен вашей работой. Вы теперь окончательно зачислены в штат. Жолтер, правда, терпеть не может этой формулировки. Скажем так: вы теперь окончательно работаете с нами.

— А где же сам Жолтер? — поинтересовался Анисимов.

— Он сюда никогда не приходит, — ответила Леночка.

— Это не его круг?

Три пары любопытных глаз уставились на Анисимова.

— Вы напрасно так, Сева, — обиделась за всех Леночка. — В сущности, мы выполняем вспомогательную, второстепенную работу. Когда она заканчивается успешно, он приглашает нас всех к себе.

— Что же, дело Гребешкова совсем пустячное? — засомневался Анисимов.

— Я этого не говорила.

— Как это понимать?

— Мы здесь и собираемся, чтобы задавать подобные и любые другие вопросы, — примирительно заметил Пончиков.

Воцарилось молчание.

Анисимов сказал с усмешкой:

— Жолтер уже приступил к облучению?

— А вы разве не чувствуете, как тепло побежало по вашему телу? — спросил Сулашкин.

— Вы думаете, не от чая?

— Думаю, да. Просто Эдуард Васильевич вам еще ничего не показывал из своих штучек.

— Почему Лена сказала, что мы выполняем второстепенную работу? — спросил Анисимов.

— Скоро поймете, — отвечал уклончиво Пончиков. Он напустил на себя загадочный вид и добавил: — Метод Жолтера, если хотите, заключается в том, что ему... все заранее известно. Мне трудно так сформулировать, чтобы сразу стало понятно... Жолтер принадлежит к элитарной семье. У него были неординарные возможности. Он, например, брал уроки у Вольфа Мессинга, занимался ясновидением, Тибетом и так далее.

— Так зачем же мы ему нужны?

— Это, Сева, хороший вопрос. И вы скоро на него ответите сами.

Глава восьмая Геннадий Сирый

Певец, от которого, как тогда говорили, «тачились» шестнадцатилетние девушки и женщины, был неуловим. К телефону сам он никогда не подходил: работал автоответчик или же кто-нибудь грубым и хамским тоном сообщал, что нет дома и не будет.

Анисимов уже просто не знал, что предпринять, когда ему позвонил Царица. Голос у Юсти был вкрадчивый, лживый и ласковый.

— Всеволод Никитич, Константин вас беспокоит... Я тут помозговал. Единственный тихий и безопасный путь — через Сирого. Я этого говнюка хорошо знаю, он выведет вас куда надо.

— Да я сам уже думал об этом, но никак не могу его поймать.

— Дело нехитрое. Запишите адресок... Он всегда между двумя и тремя часами дня сидит дома, если не на гастролях. Только меня, Всеволод Никитич, в этом деле нет, хотя я всегда на вашей стороне... Очень зауважал... мужественный тип людей... и всегда готов...

Царица, кажется, даже всхлипнула.

Геннадий Сирый жил в доме, некогда построенном по распоряжению хозяйственного управления ЦК КПСС. Много унижений и денег потребовалось певцу, чтобы завладеть этим прекрасным жилищем. Это и была его жизнь: через унижения и деньги — обладать. Правда, унижения он именовал про себя проявлением ума.

Дверь, за которой находилась огромная прихожая зала, приоткрыл Анисимову полусонный белобрысый юноша-культуррист.

— Кто такой?

Анисимов протянул визитную карточку, и дверь закрылась на все четыре замка — Сева успел сосчитать. Анисимов ждал минут пятнадцать. Потом снова позвонил. Дверь опять открыла тот же юноша и вернулся Анисимову карточку. Зевнув, он посмотрел на Севу голубыми ясными глазами и сказал:

— Геннадий Сергеевич посыпает вас на... Велел передать.

— Спасибо,— сказал Анисимов и с добродушно-застенчивым видом протянул малому руку, тот ее механически снисходительно пожал и был наказан. Анисимов рванул парня на себя и вниз и ударил коленом в солнечное сплетение. Малый рухнул.

Из-за угла почти тут же выскочил второй детина с газовым пистолетом. Анисимов бросился ему в ноги и приподнял над собой. Детина, барабатаясь и балансируя, произвел непроизвольный выстрел, и газовый заряд угодил в его лежавшего на паркете напарника, что тому не добавило бодрости.

От легкого удара затылком о потолок — все-таки потолки уже были не те, что в добольшевистскую эпоху, — детина выронил пистолет.

Анисимов, не дыша, внес обладателя пистолета в ванную, аккуратно, не спеша, уложил его там, выстрелил в потолок из того же оружия и прикрыл дверь. Затем Сева пронесся по коридору в гостиную, плотно захлопнул двойные двери, задвинул портьеры, выдохнул, достал из кармана пузырек с нашательным спиртом. Резко ударило в нос, и только после этого он почувствовал себя вполне сносно.

Из гостиной одна дверь вела в кабинет, а другая — в спальню. Анисимов открыл последнюю.

Перед его глазами предстала какая-то немыслимая античная золоченая постель с распахнутым парчовым пологом. На ней лежала обнаженная молодая женщина, едва прикрывшая ноги чем-то вроде шкуры леопарда. При ближайшем рассмотрении женщина оказалась крашеной блондинкой с удивительно упругими, будто из резины, впечатляющими формами. Опершись на локоть, она курила длинную дамскую сигарету и глядела на Анисимова глуповато-голубоватыми глазами.

Сам Геннадий Сергеевич, успевший накинуть на себя китайский халат, стоял у окна и нервно пытался прикрыть от золотой зажигалки.

— Ты кто такой? — наконец хрипло спросил он, так и не прикурив.

— Я Анисимов.

— Имени, что ли, нет?

— Имя есть у вас.

— Сейчас ни к чему твои остроты... Что это были за хлопки?

— Распил две бутылки шампанского с охраной.

— Не пи..., этому я никогда не поверю.

— Я, конечно, понимаю, — заметил спокойно Анисимов, — что мы — на родине сквернословия. Но, если вы будете продолжать свою ругань, я, Гена, вынужден буду надавать вам по щекам.

Сквозь холеную и надменную физиономию Сирого прступило вдруг лицо обычного деревенского паренька — лукавого, недоверчивого и пугливого.

Чтобы скрыть свою растерянность, он открыл на жатием кнопки крышки удивительного бара-шкатулки. Внутренности его засверкали разноцветными искорками. Геннадий Сергеевич налил себе в узкую высокую рюмку ликера и выпил. Ему удалось прикуриТЬ от золотой зажигалки и вновь надеть на испуганную физиономию маску баловня судьбы.

— Прекрасные формы, не правда ли? — ослабил ся Сирый, показывая на лежавшую обнаженную женщину. — Уверяю, это не силикон.

— Я занимаюсь не формами, а содержанием, — ответил Анисимов. — И предложил бы ей лучше заняться ребятами. Им, наверное, сейчас не так хорошо, как нам с вами.

— Зоя, сходи посмотри, что там...

Женщина лениво поднялась, нагнулась за шубкой, что валялась на квадратном узорчатом паркете, накинула ее на себя и неторопливо направилась к выходу.

— Не забудьте открыть форточку на кухне, — посоветовал ей Анисимов.

— Вы, собственно, по какому поводу? — спросил Сирый без прежней спеси.

— Я занимаюсь делом Алексея Гребешкова.

— Бедный Алеша, — покачал головой Сирый. — Вы знаете, у него были великолепные похороны. Дворец спорта никогда столько не вмещал народа. Можно только позавидовать... Так вы предполагаете, что его убили?

— Почему вы так решили?

— Нас ненавидят. Это страна завистников.

— Кто-то вам аплодирует.

— Дураки, глупые, недоношенные и наивные идиоты. Я же говорю о нормальных людях, которыми набиты автобусы. Понаоблюдайте за ними из автомобиля, и вам станет страшно.

— Вы дружили с Алексеем?

— В нашей среде говорить о дружбе — это не понимать, кто мы такие. Соперничество, зависть, злорадство — это да. Мы — деловые люди, мы боремся за деньги. Я не говорю о двух-трех сумасшедших, для которых мания величия важнее денег... Игорька Талькова, говорят, за место в программе убили, хотя кто знает. Первые выступают на концертах последними. У последних больше денег и возможностей. Правда, Алексей был умным и образованным человеком. С ним можно было погладить...

— Вы с ним виделись перед смертью?

— Да, в последний месяц я раза три его видел. Мы вместе заезжали в «Золотой лотос». Там — хороший массаж. Ему там «загар» делали.

— Вы бывали у него на даче?

— Да... Великолепный особняк. Подвалы, как в кролевском дворце. Бар, сауна, стол с зеленым сукном. Играли в покер на «гринь». Алексей боготворил доллары. Это была какая-то болезнь. Кто их не любит? Но они ему как будто были нужны сами по себе...

— Кто там с вами еще бывал?

— При мне — никого. Ездили вдвоем, без телохранителей. Брали по пушке — и вперед. Там, правда, охрана в отдельном домике... А кого бояться в таком подземелье за двумя бронированными дверями? Кондиционеры, холодильники, переполненные икрой и шампанским... Стены обиты черным бархатом, золотые кресты висят. Это впечатляет.

— А женщины с вами были?

— Я же говорю, ездили одни.

— Хорошо, вернемся к «Лотосу». Когда вы не играли, то брали ведь девушек и разъезжались?

— Допустим.

— Может быть, вы знаете, с кем он имел дело?

— Конечно, знаю.

— Как ее звали, может, припомните?

— Конечно, припомню... Эй, Зоя? — закричал Сирый в пространство своей необъятной квартиры.

Через некоторое время, покашливая и пошатываясь, появилась Зоя. Шубы на ней опять не было.

— Мужик, кажется, потравил наших парней каким-то газом, — сообщила она и упала в кресло. Анисимов дал ей нашатыря.

Сирый побледнел. Губы у него задрожали.

— Вы что — действительно?..

— Да нет, — успокоил его Сева. — Через двадцать минут все будет в порядке... Вы открыли окно на кухне? — обратился он к Зое, она кивнула. — А дверь в ванную?

— Но они лежат и не дышат, — возразила она.

— Это иллюзия... Вы были знакомы с Гребешковым?

Зоя вдруг поджала губы и капризно заявила:

— Я ничего об этом святом человеке говорить не стану.

Она неожиданно бодро поднялась и, быстро виляя обнаженными бедрами, упорхнула из спальни.

— Она все там же работает? — поинтересовался Анисимов.

— Нет, перешла в валютный бар на Тверской, лазает нагишом по лестнице.

— Хорошее занятие.

Помолчали. Потом Сирый глубокомысленно заметил:

— Мне кажется, у него были какие-то мужские проблемы...

— С чего вы так решили?

— В своей сауне он ни разу со мной не парился... Ну, как сказать... Коллективным сексом не занимался.

— Может, ему не хотелось... Все-таки он был женат.

— Ну, это для биографии. Детей у него не было. Вы Зойку расспросите. Он и ее брал для рекламы. Играли в лото, она рассказывала...

Тема эта крайне заинтересовала Сирого. Он еще хотел что-то добавить, но Анисимов прервал его.

— Думаю, это уже к делу не относится... Вы лучше скажите, кто более всего был посвящен в его финансовое положение?

— Вася Антипov. Его менеджер, секретарь, бухгалтер, начальник охраны. Един во всех лицах. Темная лошадка. Но из него вы ничего не вытянете. Угрюм и молчалив, хотя знает много. И не он ли гребешковские денежки прихватил, которые разыскивает Ирэна?.. Я, правда, ничего не утверждаю и говорю, вы, надеюсь, понимаете, вам это неофициально. Но задуматься над этим стоит.

— А где его можно разыскать?

— Он сейчас перешел к Еве Розиной... Если он прихлопнет и эту паскуду, то я буду только рад... Вы ничего не записываете? — спохватился Сирый.

— Записываю, — подтвердил Анисимов, вынул из кармана японский плейер и отключил его. — Всего хорошего.

На другой день в очередном номере «Коммерсанта» была помечена заметка следующего содержания:

«Как мы уже сообщали, частный следователь Эдуард Жолтер приступил к расследованию обстоятельств гибели знаменитого рок-музыканта и поэта Алексея Гребешкова.

Вчера агент службы Жолтера господин Анисимов, уложив двух охранников, ворвался в московскую квартиру популярного эстрадного певца Геннадия Сирого и предложил ему ответить на несколько принципиальных вопросов. Господин Сирый по факту нанесенного морального и материального ущерба в государственные органы правопорядка обращаться не стал.

Репортеру «Ъ» удалось также узнать, что Эдуард Жолтер дал положительный ответ на просьбу руководства Министерства путей сообщения заняться загадочным делом о так называемом «мальчике-оборотне» из Подмосковья. В вечерние часы этот неуловимый преступник появляется в пригородных поездах ярославского направления и, прикидываясь немощным и беззащитным, совершает дерзкие нападения и жестокие избиения граждан преимущественно мужского пола.

Неизвестно, кому из своих агентов поручил Жолтер провести дознание и задержание «мальчика-оборотня». Возможно, способности такого костолома, как господин Анисимов, здесь бы пригодились».

Глава девятая у Евы Розиной

Анисимов, перед тем как отправиться в спорткомплекс «Олимпийский», забежал в контору взять ключи от служебных «Жигулей».

Леночка занималась упаковкой цветов, шоколадных наборов, палехских шкатулок и деревянных ложек. Все это предназначалось для рассылки нужным людям в канун Нового года. Ложки, между прочим, Жолтер вытачивал сам. У Эдуарда Васильевича, как и у старика Болконского, был токарный станок.

Леночка протянула одну из ложек Анисимову.

— Шеф дарит.

— Почему чайную?

— Это не чайная, а икру кушать...

— Может, ее на стену повесить?

— Только перед этим покрой лаком.

Без свидетелей Елена Александровна была с Анисимовым «без напряга», как тогда говорили. На «ты».

— Может быть, он заряжает их, как Чумак?

— Я допускаю. — Леночка сняла обертку с шоколадки, откусила от плитки и предложила Анисимову. Но он почему-то смущился и отказался.

До проспекта Мира Анисимов доехал без приключений. Там, в спорткомплексе «Олимпийский», располагалась тогда штаб-квартира Евы Разиной. Она должна была здесь дать серию концертов. Все билеты уже давно были распроданы. Но первое представление откладывалось из-за, как было объявлено, легкого недомогания певицы.

Тех, кого числился в штате певицы, было человек сто. Они слонялись по этажам и переходам, болтали, курили, выпивали, а иные даже в огромном зале налаживали аппаратуру и пробовали звук.

Войдя в вестибюль, Анисимов увидел дюжину девушек с фиолетовыми локонами. Они были как две капли воды похожи на Еву Разину, только моложе лет на двадцать. Они поглядели на Анисимова, захочотали так же, как Ева, и разбежались.

— Виталий. Камердинер, — представился выросший как из-под земли приятный молодой человек. На нем был строгий английский костюм, из нагрудного кармана которого выглядывал уголок лилового платка.

— Есть и такая должность? — удивился Анисимов.

— Здесь все решает Ева. Она могла бы меня назначить генеральным секретарем. Вернее — назвать. Я встречаю и провожаю посетителей. Это моя первейшая обязанность. Она изъявила желание на вас посмотреть. Пойдемте.

Они стали подниматься по лестнице. На каждой площадке на стене висел указатель «КАФЕ «У ЕВЫ».

— А что это за фиолетовые девушки? — спросил Анисимов на ходу.

— Это Евины фанатки. Они везде за ней таскаются. У нас есть «группа поддержки», и они теперь туда входят. Орут, падают на публику...

— Как это падают?

— Ну, их специальные ребята из охраны бросают в толпу танцующих. Сейчас это популярно.

Когда они подошли к кафе «У Евы», Виталий нахмурился и сообщил:

— Ева только-только выходит из запоя. Это, конечно, тайна, но вам-то я могу сказать. Раздражена, может нахамить. Не смущайтесь.

Ева Разина находилась в комнатушке рядом. Анисимов с неприятным чувством вошел в это набитое окружками, похожее больше на помойку, помещение. Ту Еву, которую боготворили миллионы, трудно было узнать. Дряблая и жирная, в замызганном, прожженном халате, некогда розовом, а сейчас черно-сером, с босыми черными от грязи ногами, певица прихлебывала из большой пивной кружки кофе. В фиолетовых нечесаных патлах Анисимов увидел седые волосы. Кто-то из приближенных привнес поднос с икрой и севрюгой. Ева замотала головой и промычала:

— Блевану.

Рядом на маленьком перламутровом столике валялась пластмассовая вставная верхняя челюсть. Виталий потом под большим секретом рассказал, что на банкете в ноябре, который устраивали иностранные бизнесмены, «фиолетовая звезда» так надралась, что упала под стол и описалась. Дело это обычное, но в довершение всего какой-то наш подлец и завистник дал ей ногой, как выразился камердинер, по морде и выбил четыре передних верхних зуба. Каких трудов стоило привезти врача, напоить ее снова до полусмерти, сделать слепок и так далее. Теперь еще неизвестно, как поведет себя эта челюсть. Возьмет и выско-

чит на сцену. Да и сможет ли Ева произносить все согласные звуки?

Выпив кофе, Ева перевела мутный, страдальческий взгляд на Анисимова. Ничуть не смущившись, вставила челюсть и спросила:

— Кто это? — Голос у нее был хриплый и резкий.

— Анисимов, из службы Жолтера, — сказал Виталий.

— Жолтер? Это какой-то еврей, что ли?

— Это частный следователь, — с упреком пояснил камердинер. — Ты же сама хотела поглядеть на его сотрудника.

— Поглядела. Хороший мужик.

Анисимов почему-то уставился на ее босые ноги. Ева поджала пальцы, а потом засунула их под грязный ковер. Затем она спросила деланно-серъезным тоном:

— Ну, чего вы, собственно, хотите?

— Я занимаюсь делом Гребешкова, — начал Анисимов. Но Разина его оборвала:

— Гребешков — говно порядочное.

— В каком смысле? — растерялся Сева.

— Что значит, в каком смысле — говно? В натуральном... Ну, как вам сказать... Голоса нет, слуха нет, мелодий нет. — Она загибала длинные грязные пальцы. — Пел всегда под фонограмму. Раз были вместе в Сибири. Там какая-то авария на электростанции. Тока нет. Зажгли свечи. Я села за рояль и сама себе аккомпанировала. А он отказался выступать... Может, и пел-то кто-то вместо него? А? Витя?

— Ну, что ты выдумываешь? — отозвался Виталий.

— Витя, когда мне выступать? — спросила она.

— Нужно было вчера, — ответил Виталий, нахмутившись.

— Ну, хорошо, — сказала Ева тоном смиренной овечки, — завтра я выйду. Можешь объявлять... Виттона, не хмурись, я навсегда завязываю, клянусь тебе.

— Слышили много раз. Уже второй месяц пью...

— А потом мы поедем в Америку.

— У нас по плану Финляндия, — возразил Виталий. — Зачем нам Америка?

— Зубы вставлять, — отрезала Ева сердито.

— Вы много зарабатываете? — поинтересовался Анисимов.

— А что толку? — горько усмехнулась Разина. — Даже икры пожрать не могу. Блюю целыми сутками...

— Ева! — укоризненно произнес Виталий.

— За все, дружочек, надо платить. Бесплатно живут только идиоты... Да и потом здесь такая нищета, что и богатой быть противно.

Она взяла дрожащей рукой сигарету, Виталий дал ей прикурить.

— Вы допускаете, что Алексея могли убить с целью ограбления?

— Зачем убивать? Меня уже столько раз обчищали до нитки, что я и со счета сбились... Вообще он был прижимист. Может, кому и не заплатил?

— С вас дань берут?

— Как с князей Орда... За охрану там и так далее... Я в эти дела не лезу. С Васей Антиповым лучше поговорить. Вы же и пришли к нему?

— А зачем вы его взяли к себе?

— Зачем-зачем... Антипова ракетиры любят. Но он у меня временно. Сам сказал, что скоро уйдет, надоело ему все это...

Она поморщилась, затушила сигарету об стол

и бросила окурок на ковер. Затем вдруг стала белее полотна.

— Витя, неси таз, кажется, опять начинается...

У Антилова была еще более крохотная комнатушка. Он был пятидцатилетним внушительного вида седовласым мужчиной. Абсолютно спокойным. На нем были безукоризненный темно-серый костюм, белая отутюженная сорочка с черной «бабочкой». Чем-то он напоминал опытного английского бармена или вышибалу. Вася сразу же предложил Анисимову выпить кофе по-турецки.

Сева не без уважения наблюдал за его ловкими движениями. Через минуту кофе был готов. Анисимов не забыл посмотреть на его руки. Может, две-три конопушки и были на тыльной стороне ладоней.

— Насколько Алексей был богат?

— Трудно сказать. Я бы не стал преувеличивать. Одна минута записи на телевидении обходилась ему в четыре тысячи рублей. Это еще по прежним ценам. Так что судите сами... Сейчас бы он не захотел заниматься этим. Ушел бы в коммерцию, открыл бы серию ларьков, а я бы отбивался от «ракетчиков»... В свое время мы привозили с Севера или с Дальнего Востока деньги в мешках, но все это теперь крайне обесценилось. Говорить о сказочном богатстве Гребешкова я бы не стал... Я ехал с ним вместе в машине в тот последний для него день. Он был пьян и на качал себя наркотиками.

— У вас когда-нибудь бывали с Алексеем столкновения?

— Ничего такого не припомню.

— Неужели ни разу не спорили?

— Было один раз, сейчас вспомнил.— Вася ухмыльнулся.— Он меня обвинил в клерикализме.

— Вы верующий?

— В том-то и дело, что нет. Но он был убежден, что это от слова «клерк». Мол, я веду себя как чиновник, бюрократ.

— И были основания?

— Да, я не пустил к нему одного доходягу-алкаша. Оборванный человек, пол-лица изуродовано, будто его к раскаленной печке приложили. Потом выяснилось: его какой-то друг дегтя... Мы с братом из Прибалтики, но русский язык хорошо знаем, всегда ходили в отличниках, особенно я... Пришлось Алексею словарь Ожегова показать, чтобы он понял, что «клерк» и «клерикализм» никакого отношения друг к другу не имеют.

— Говорите вы без акцента.

— Да мы русские, просто там родились.

— А где ваш брат?

— Остался у Ирэны Владимировны. Можно сказать, за меня. У нас еще контракт не закончился. Гребешков оплатил охрану на два года вперед. Кто же



знал, что теперь это будут копейки... Но делать нечего, нужно доработать.

— Охраняете дачу?

— Да, у Ирэны в Москве свой телохранитель — японец.

— Интересно... И сколько человек дачу охраняют?

— Восемь. Дежурят по двое сутками... В комнате над гаражом... Там, конечно, есть что поворовать, особенно на фоне нашей российской бедности.

Глава десятая Новогодняя ночь Бар «Ночные приключения»

Существовал график праздничных дежурств в конторе, который лично утверждал Жолтер. Как новичку, Анисимову предстояло дежурить в новогоднюю ночь. Но Леночка попросила уступить ей это дежурство, поскольку ей нужно было быть свободной на Рождество. Эдуард Васильевич против обоюдных договоренностей не возражал.

Тридцать первого декабря к одиннадцати вечера, захватив бутылку шампанского, Сева поехал на набережную Серебряного Бора. Он чувствовал себя, во-первых, виноватым — ведь мог бы сообразить отдежурить и за себя, и за Леночку. Во-вторых, и в этом он не хотел себе открыто признаваться, не исключено было и решительное объяснение сторон. Как узнал Анисимов от Сулашкина, Леночка уже год была разведена.

Сева позвонил. Елена Александровна некоторое время не подавала признаков жизни, может быть, желая подзадорить Анисимова или же изучая обстановку в суперглазок. Потом она все-таки приоткрыла дверь и шепотом спросила:

— Сева, это вы?..

На поясе у нее висела кобура с газовым пистолетом. Огнестрельного оружия Жолтер Леночке не доверял.

— Елена Александровна, я пришел вас сменить.

— Ну, уж этого я никогда не допущу.

Их охватило какое-то общее смущение. Они обменивались малозначительными фразами.

В половине двенадцатого Леночка отправилась на кухню приготовить что-нибудь к праздничному столу.

Зазвонил телефон. Анисимов не решился взять трубку. Леночка подошла.

— Елена Александровна, здравствуйте. С наступающим вас! Это Ирэна.— Голос у нее был тихим и спокойным.— Опять звонила та женщина, которая, если помните, готова была сообщить мне, где находится тайник. Теперь она просит пятьдесят тысяч долларов. Все это, конечно, смешно, но я хотела бы проинформировать Эдуарда Васильевича... Как я поняла, она со своим любовником хочет уехать за границу и считает, что таких денег будет достаточно. Я не стала ее убеждать в наивности подобных предположений, но спросила, почему она раньше не выдвинула этих требований и, главное, не выполнила обещанного. Эта женщина говорит, что тогда ее якобы заставили звонить. Заставили люди, которых она боится и от которых скрывает, что знает, где спрятаны деньги. По ее словам, она и согласилась в первый раз меня шантажировать, чтобы с нее были сняты подозрения.

— Почему же, если она знает, не возьмет, сколько ей надо?

Анисимов слушал через динамик весь этот разговор, и настроение у него портилось.

— От такой головоломки я сойду с ума,— пожаловалась Ирэна.— Эта женщина утверждает, что доступ к тайнику имею только я и те люди, которых она боится. По ее словам, мы не знаем самого места, но оно у нас под руками, она же знает, но не может туда попасть. Эти люди опять начинают подозревать ее, уверяет она. И долго, как ей кажется, она не сможет продержаться. Или ее убьют, или она выдаст тайну. Так, во всяком случае, она мне объяснила.

— Она назначила новую встречу?

— Нет, я сказала, что мне надо посоветоваться, и мы договорились, что она позвонит завтра вечером. В общем, передайте Жолтеру, что мне очень нужно знать его мнение, я буду ждать... С Новым годом еще раз!

Несмотря на важный разговор и новый поворот в событиях, они не стали сразу же информировать Жолтера о случившемся и решили все-таки в полночь, до которой оставалось несколько минут, выпить по бокалу шампанского.

Леночка вернулась на кухню, но тут раздался новый звонок. Анисимову терять уже было нечего, и он взял трубку.

Кто-то спросил голосом, напоминавшим Высоцкого:

— Анисимов?

— Ну что?

— Молодец!

Послышились гудки.

И тут же опять зазвонил телефон. Вернувшаяся в комнату Леночка подошла к аппарату.

— Лена, Анисимов у вас? — Жолтер говорил каким-то заспанным голосом.

— Да,— после небольшой паузы ответила Леночка.

— Дайте-ка ему трубочку... Всеволод Никитич, позэкайте немедленно в «Ночные приключения». Может быть, сегодня нам удастся что-нибудь разузнать.

— Эдуард Васильевич,— сказал Сева,— Ирэна только что сообщила, что ей опять звонила та женщина. Теперь она просит пятьдесят тысяч долларов и гарантирует, что на этот раз уже точно укажет место тайника...

Жолтер немного подумал и потом сказал:

— Хорошо, отправляйтесь немедленно.

— Откуда он узнал, что я здесь? — пожаловался Анисимов Леночки.— Может, подглядел в свой чертов перископ?

— Да нет, он просто спросил, а я ответила.— Леночка тоже была огорчена таким поворотом событий.

Раньше это было обычное кафе-мороженое в центре столицы. И называлось оно «Полюс». По праздникам много лет назад Анисимов приходил сюда с отцом. Отец выпивал рюмку коньяка, а Сева съедал порцию пломбира.

Теперь здесь был валютный бар «Ночные приключения» с дискотекой. Посещали это заведение пожилые, мало на что пригодные иностранцы. Многие проститутки, которым тоже было пора на пенсию, в поисках легкой добычи перемещались сюда из «Националя». Бар открывался в десять вечера, и гульба шла порой до шести часов утра. Стриптизерка Зоя три раза за ночь на пару со сменщицей демонстрировала здесь свое тело, танцуя со стремянкой. Но об этом речь впереди.

Подъезжая к бару, Анисимов вспомнил, что накануне, дня за два, у него уже был разговор с Жолтером о Зое. Эдуард Васильевич хотел, чтобы Сева встретился с ней по совершенно незначительному, как считал Анисимов, поводу.

— Возьмите у нее что-нибудь на память для меня. Мне нужна какая-нибудь ее вещица.

— Что вы имеете в виду? — спросил Сева.

— Какое-нибудь кольцо.

— Вы хотите, чтобы я ее ограбил?

— Ну, носовой платок... Хотя бы пуговицу срежьте,— проворчал Эдуард Васильевич.— Мне нужно что-нибудь круглое, желательно с отверстием...

У входа в «Ночные приключения» стояло кольцо милиционеров с дубинками-«демократизаторами». Лица их выражали недовольство. Кому охота дежурить в праздничную ночь? Задача милиции заключалась в том, чтобы отгонять мелкую пьяную шлану. Эту цепь Анисимов успешно миновал.

В дверях его остановил плотный малый с грубым лицом и фигурой бывшего участника физкультурных парадов на Красной площади. Ему нужна была десятидолларовая бумажка за вход. Когда Анисимов раздумывал, как бы поудачнее отшить этого валютного физкультурника, неожиданно появилась Зоя. Она вынырнула откуда-то сзади в дубленке с капюшоном, надвинутым на глаза. Нервно куря, Зоя попросила Анисимова отойти в сторонку. Они пересекли цепь милиционеров и встали у ствола старого обнаженного дерева.

— Сматывайся отсюда, а то ж... натянут на глаза,— сообщила она тревожным полушепотом.
— Откуда ты узнала, что я приеду? — поинтересовался Анисимов.
— От верблюда. Говорю — уходи.
— Что случилось?
— Все подстроено, понимаешь? Не знаю, проучить тебя хотят или еще чего...
— О ком ты говоришь?

— Я, Сева, с открытыми картами. Ты хороший мужик, я тебя сразу вычислила. Только сображай быстрей. Это я звонила Ирэне. И сегодня позвонила еще раз. Я знаю, где Гребешков спрятал баксы...

Анисимова вдруг охватил азарт приближающейся победы. Он, правда, не знал пока, как развязать оставшиеся узелки и за что хвататься в первую очередь.

— Кто меня ударил по голове?

— Пуля тебя саданул. Они думали, сама Ирэна придет, думали, что она знает, но Гребешков ей ничего не говорил.

Зоя огляделась по сторонам и выбросила сигарету.

— Там, Севочка, зеленые лимоны. Сколько их, никто не считал, кроме Гребешкова. А мне всего нужно пятьдесят тысяч каких-то. Я поеду с мужиком в Лос-Анджелес или Германию.

— С каким мужиком?

— Он ждать не может,— не слушала она,— и я тоже... Скоро мне в задницу гвозди раскаленные вставлять начнут. Ты понимаешь?! Послушай, Севочка, будь за меня. Может, и тебе Ирэна отвалит...

— Сколько там их? — Анисимов указал на сверкающие огни.

— Двое пока... Мне приказали тебя встретить и привести. А ты не ходи, поезжай к Ирэне и договорись обо всем...

— Сначала погляжу на твоих приятелей.

— Ишь какой смелый! Учи, я тебя не предупредила...

Они вернулись к входу, и физкультурник, увидев, что Анисимов с Зоей, неохотно распахнул дверь. Анисимов сдал плащ в гардероб, оставшись в вязаной кофте и джинсах. Пистолет у него находился в плаще.

Помещение было заполнено возбужденной разгретой публикой. Даже и в этом борделе удалось создать новогоднюю обстановку.

Зоя и Анисимов уселись на высокие круглые сиденья у стойки бара. Зоя не снимала дубленки, так как под ней, как впоследствии выяснилось, ничего не было, кроме прозрачного трико. Бармен подал им две чашки кофе с двумя крошечными рюмками коньяка.

У Зои были глаза цвета морской волны. Оттенок их менялся. Иногда они затуманивались непередаваемой дымкой порока, будто Зоя, сама того не желая, в иные мгновения вступала в непосредственный контакт с преисподней.

— Скоро лезть на стремянку, — пожаловалась она.

Это был просто обмен фразами в ожидании того, что должно было произойти.

— Зачем? — спросил Анисимов.

— Я танцую вон на той площадке, но уйти мне некуда. Нет дверей. К концу выступления они уже горят, хотят меня облапать, и я тогда поднимаюсь по лесенке наверх...

— Значит, ты бывала в подземельях Гребешкова? — переменил Анисимов тему.

— Бывала.

— Ну и как там?

— Просто шикарно. Черный бархат на стенах, клеявшая мебель, золота много... финская баня... Я, бывало, погреюсь, поддам хорошо и отсыпаюсь. Утром он меня отвозил в Москву.

— Там надо искать?

Она настороженно посмотрела на него.

— Попробуй.

В танцзале заработала цветомузыка. Диск-жокей приглашал танцевать. Из динамиков послышался знакомый голос покойного рок-певца.

Диск-жокей, молодой пузатый парень с тремя подбородками, напялив на фрак драную телогрейку, пошел с протянутой шляпой собирать доллары. Публика охотно раскошелевилась.

— Один раз я сильно назюзюкалась, — говорила Зоя, — Гребешков уложил меня на большую тахту, а сам... Там перед баней был бассейн...

Зоя расхохоталась. Анисимов не понял ее смеха, но почувствовал, что она вся в напряжении, которое передалось и ему.

— Причем здесь бассейн?

— Там же в подвале — финская баня, — сказала она, закуривая. — Какая финская баня без бассейна?.. Анисимов, мне деньги нужны. Ну, пусть даст сорок тысяч. От нее же не убудет? Уговори ее. Попроси и себе тысячонки три на пиво...

Глаза Зои вдруг расширились от ужаса. Анисимов повернулся, но сначала никого не увидел. Человечек был ростом не больше метра пятидесяти. Маленькая головка, стрижка «ежик», крохотные ушки и непомерно развитые надбровные дуги, за которыми прятались колючие лиловые глаза. Это был кошмарный уродец.

— Доброй ночи, — сказал он почти детским голосом и, кажется, даже застенчиво улыбнулся. Потом неожиданно выдул из себя огромный белый шарик жвачки.

На мальчугане была совсем игрушечная серая жилетка, надетая поверх розовой рубашки.

— Здравствуй, Пуля, — сказал Анисимов и ухватил карлика за верхнюю пуговицу жилетки. — Ты зачем меня ударили, стервец?

Пуля выскользнул, как ящерица, оставив Севе пуговицу, но не убежал, а вновь заулыбался, пожимая плечиками. От этой улыбки Анисимову стало неуютно.

— Пойдемте, Всеволод Никитич, я вам кое-что покажу.

Малыш повернулся спиной и медленно стал удаляться.

— Сматывайся скорее, — прошептала Зоя.

— Побереги себя лучше, девочка, — посоветовал Анисимов, направляясь вслед за Пулей.

Путь их пролегал через веселую подвыпившую толпу. Анисимов начал сосредоточенно напрягать и расслаблять мышцы в области солнечного сплетения. Это был старый индейский способ сконцентрироваться и не терять присутствия духа.

Миновав мойку, они прошли кухню, где два мужика в грязных белых фартуках глушили водку. Затем они вышли на лестницу черного хода и через несколько ступенек должны были оказаться в квадрате двораколодца. Там болтался одинокий фонарь, а на небольшой асфальтовой площадке, очищенной от снега, расположились огромные помойные баки.

Дверь черного хода была распахнута, и Анисимов

увидел за ней стоявшего вполуоборота крупного мужчина. На лице его была канадская вратарская маска — белая, с круглыми отверстиями для глаз и узким продолговатым — для рта. На затылке маска крепилась ремешками, которые образовывали перекрестье. Анисимов перепрыгнул через Пулю, который нагнулся, чтобы вытащить из-за голенища штык-нож, и в броске нанес удар ногой как раз в это перекрестье. Мужчина не успел вставить в продолговатое отверстие сигарету и рухнул. В полете Анисимов перевернулся и отклонился влево. Приворотный Пуля, однако, успел таки своим штыком разодрать Севе джемпер на боку. Нож воткнулся в распахнутую дверь, и мальчуган замешкался, вытаскивая его.

Приземлившись на руки, Анисимов тут же вскочил и успел перехватить запястье крохотного уродца. У малыша оказались очень сильные руки. И Анисимову плохо бы пришлось, если бы он не оторвал мальчугана от земли вместе с его грозным оружием. Пуля оказался легким как пушинка. Не раздумывая долго, Сева нанес ему короткий удар левой в челюсть. Но немного не рассчитал. Его противник отлетел метра на три и, к удивлению Анисимова, провалился в контейнер. Свет неожиданно погас. Фонарь находился не в центре дворика, как показалось Анисимову сначала, а висел над черным ходом. Положение становилось опасным. Квадратик тусклого зимнего неба не давал почти никакого освещения, ни одно окно не выходило сюда, в подъезде тоже не было света.

Сева потихоньку стал пробираться назад. Он на ощупь отыскал тело мужчины в маске, извлек из кармана своих джинсов специальный одноразовый шприц и вколол «вратарю» сильную дозу снотворного. Надо было бы оттащить тело в освещенное место и посмотреть, кто же прячется под маской. Но времени не оставалось. Мальчуган начал копошиться в контейнере и вот-вот должен был выбраться оттуда...

Анисимов закрыл за собой дверь подъезда, и почти тут же внутри зажегся свет. Перед ним стояла напуганная Зоя.

— Кто отключил свет?

— Не знаю, — ответила она.

Тут в дверь стал ломиться малыш с неистовой силой. Анисимов, с трудом удерживая ее, воспользовался довольно мощным засовом.

— Уходи, — прошептала Зоя. — У Пули автомат припрятан на кухне...

Не заставляя себя упрашивать, Анисимов вернулся прежним путем, подхватил плащ в гардеробе и выскочил на улицу. Разыскав за углом телефон, Сева позвонил Леночке.

— Я оказался в довольно-таки сложной ситуации, нужно посоветоваться с Жолтером.

— А его нет. Он поздравил меня с Новым годом и уехал на всю ночь праздновать в мэрию...

Когда Сева подходил к машине, размышая, что предпринять, он услышал выстрелы, сопровождавшиеся дикими воплями, звоном посуды, треском и стуком падающей мебели. Толпа рвалась наружу.

За несколько секунд до этого, когда обнаженная Зоя под аплодисменты стала подниматься по стремянке, автоматная очередь изрешетила ее тело.

Через встречный поток Анисимов пробился в танцевал.

Милиция была в растерянности и в здание войти не решалась.

На том месте, где они сидели на высоких круглых табуретах, Сева обнаружил Зоину дубленку. В одном из карманов был платок, а в другом — несколько ключей на кольце. Анисимов снял кольцо.

Вынув из плаща автоматический пистолет, Анисимов вернулся на место схватки с Пулей и «вратарем». Ни того, ни другого там не оказалось.

Анисимов едва успел покинуть дискотеку до прибытия оперативной группы.

«Ночные приключения в «Ночных приключениях» — так была озаглавлена заметка в «Коммерсанте». Текст ее гласил:

«В новогоднюю ночь в валютной дискотеке «Ночные приключения» очередью из автомата Калашникова была убита известная стриптизерка Зоя. Мотивы преступления неизвестны, преступник не найден. Ведется следствие.

Знавшие убитую сообщили, что Зоя собиралась продолжить карьеру на Западе.

Как удалось узнать репортеру «Ъ», в момент убийства в танцевале находился агент службы Жолтера небезызвестный Анисимов. По этому поводу господин Жолтер имел объяснение с министром внутренних дел.

Господин Анисимов арестован».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава одиннадцатая

Текстовик

Мы живем в удивительной стране. Только через день после выхода того злополучного номера «Коммерсанта» пресс-секретарь министра внутренних дел доложил своему шефу о появившейся в газете информации. И уже затем была дана команда задержать Анисимова и вызвать для объяснений Жолтера. Так чья-то фантазия воплотилась в реальность. Другими же словами — сказка стала былью.

Эдуард Васильевич чувствовал себя необычайно бодро, находился в состоянии подъема и вдохновения. Он довольно-таки быстро убедил министра в абсолютной невиновности своего сотрудника.

Министр был склонен верить Жолтеру на слово, поскольку уже тогда в элитарных кругах ходили легенды о необычайных способностях Эдуарда Васильевича.

Как бы там ни было, после визита к министру Эдуард Васильевич помчался на Петровку, 38, где в то время находилась, что, может быть, менее известно, небольшая следственная тюрьма.

Усадив недолго томившегося узника в свой красный «мерседес» и перекинувшись с ним парой ничего не значащих фраз, Эдуард Васильевич отправился на Пушкинскую площадь.

Был неяркий, но солнечный зимний день. Жолтер ходил, как тигр по клетке, вокруг памятника, не обращая внимания на обтекавшую его толпу. Про существование несчастного Всеволода Никитича он, казалось, совсем забыл.

— Я жду объяснений, — наконец не выдержав, строго сказал Анисимов.

— А что тут объяснять? — изумился Жолтер. — Я вам не звонил. И этим все сказано.

Жолтер хотел еще что-то добавить, но тут к обочине со стороны здания «Известий» подъехали фиолетовые «Жигули». Из них вылез молодой высокий чело-

век в маленьких очках и с дворницкой русой бородой. На нем было кожаное черное пальто до пят. Лицо его излучало спокойствие и умиротворение. Это был Сергей Степанов, отвечавший в «Коммерсанте» за радио, телевидение.

Жолтер и Степанов поговорили о чем-то минуты две и разошлись, оставшись друг другом вполне довольны.

— Что же вы узнали? — поинтересовался Анисимов.

— Я узнал, кто написал эту гнусную заметку. Она могла принести нам много вреда.

— Ну и кто же?

— Пока не скажу, это вас будет отвлекать от основного дела... А вы знаете Максима Краузе? — неожиданно переменил тему Жолтер.

— Что-то слышал...

— Это поэт-песенник, да будет вам известно.

— Тот, что сотрудничал с Дунаевским?

— Нет, то был его папа Самсон. Но этот тоже большой стихоплет... Побеседуйте, пожалуй, с ним. Меня все больше и больше интересует Гребешков в философском, так сказать, плане.

Анисимов, сильно уставший, подумал, что Эдуард Васильевич бредит.

— ...Мы профессиоанлы в тгтьем поколении. Мой папа — Самсон Максимович Краузе — воспевал советскую эпоху. Мой дед — Максим Самсонович Краузе — сочинял геволюционные гимны. Я же габотаю в жанге гок-музыки двадцать ти года. Этот стиль не очень созвучен нашей гусской поэзии. Погой текст без гифм вообще, погой сплошная гифма, длина сттоги погой не фиксирована. Один газ я пгосто измучился подгонять. Алексей мелодию уже подобрал. Вы, конечно, знаете этот шлягег, этот боевик, этот хит — «Нищий в гестогане». По секгету, Алеша тут взял мелодию у «К'иденс». Я в этом слове букву «эг» не выговариваю. «Вега» — по-нашему. Если бы мы входили в конвенцию, штраф бы был бы чудовищный... Я все гавно говорю, зачем же ты, Алеша? Нехорошо. А он: мне так в голову пшило, мне из космоса идеи пгилетают...

Максим Краузе обитал в белокаменном доме на Тверской — в том самом, где внизу магазин «Подарки» и пиццерия, а вход в жилую часть со двора. В просторном сверкающем чистотой подъезде Анисимова встретила консьержка.

Краузе проживал в однокомнатной квартире. В ней все было забито книгами, аудио- и видеотехникой, коврами, фарфором и хрусталем. Максим Самсонович коротал здесь дни свои вдвое с собачкой. Был он стар и уродлив.

Это был почти сплошной монолог.

— Я не поэт, бгосьте, я текстовик. Я подбираю под заданную мелодию, гитм и газмег. Своего отца Алеша не любил. За что? Напгимег, за эту квагтигу. Это пегвая его квагтига, подагенная отцом. Потом Алексей ее мне уступил, а сам с кгасавицей женой пегебгался в пятнокомнатную... Папа у него тогда был одним из главных деятелей по бытовым условиям гуководства. Бгежнева знал. Чего вы улыбаетесь? Вы думали, у нас только сиготы становятся знаменитостями и богачами? А я так полагаю, что наобогот. Но Алеше, понимаете, очень хотелось, чтобы этого никто не знал, чтобы все думали, что он добился всего

сам. Он даже одно вгемя говорил, что пгихал в Москву из глухой дегевеньки. Но вот сатанизм — это же он у своего отца судьбу укгал... Анисимов, хотите чаю?

— Очень хочу.

— Вы знаете, у Алексея не было большого таланта, но у него была слава.

Анисимов отметил про себя, как ловко Краузе временами подбирает слова без «р».

— Славы не бывает без обмана, запомните это, Анисимов. Потому что слава угодна не Богу, а дьяволу. Талант от Бога, а слава от дьявола. В этом ключ... Был такой маленький мальчик-ангелочек с золотистыми кудряшками, которые потом потемнели. Носил этот мальчик голубой бантик. Это потом он выгос в угодца, пегеболел полимиелитом... Такой хохющий мальчик в числе пегедовых пионегов повязывает галстук Леониду Ильичу на Мавзоле, а тот — дедушка Бгежнев — ему кгобку конфет... Пшила к нам битломания. Мальчику ни в чем не отказывают, купили инстгументы на Бгитанских остговах, посол хлоптал... Остальное же Алеша сам. К Бгежневу пгобился на новогоднем концете в Кремле. Леонид Ильич: что за фигня? кто такой? а, пионегский галстук, помню, кто его отец? помню... пгтесняют? не дают?.. Михал Андгевич, это он Суслову, дай команду, пусть дети занимаются этим гоком-хегоком, вот и Микояна внук... Потом Алеша уходит из института, а всем гассказывает, что выгнали за политику, заступался, мол, за диссидентов... Затем письмо в защиту угнетенных поляков из «Солидагности». Все пгдумал... Понимаете, что я хочу сказать? С одной стгоны, железнная хватка, умение добиться своего, видение цели, а со второй стгоны — липа.

— А есть вероятность, что он наложил на себя руки?

— Исключаю. Официальная вегсия, будто он напился и уголел в банде, смехотворна... Он очень хотел уехать, но не с пустыми гуками.

— Много у него было денег?

— Пятьдесят — сто миллионов в гублях. Сколько в доллагах, тгудно сказать... Но эти цифры я нигде подтвеждять не буду. Меня со свету сживут.

— По данным сберкассы ВААП, у Гребешкова на книжке пятьдесят тысяч рублей.

— Повтогю, знать ничего не знаю... — Максим Самсонович помолчал секунд пятнадцать, а потом хвастливо добавил: — За одного только «Нищего в гестогане», а там пятнадцать, по-моему, сток, я получил уже больше ста тысяч. Вот и считайте.

— Всего за пятнадцать строк? — изумился Анисимов.

— Не вегите?! У меня все квитанции на гуках! Деньги пгодолжают поступать — ведь ее сейчас иггают в каждом кабаке. Ни Пушкину, ни Шекспиру столько не платили. Это бгед! Но это так... А сколько у него хитов, в которых он писал и музыку, и слова... У него есть погазительное пгедчувствие своей судьбы... Сейчас я найду кассету... у него были совегшенно непонятные мне озагения... Сейчас я вам поставлю...

Напряженная мелодия звучала на фоне гулких ударов сердца. Гребешков пел довольно сильным хриплым баритоном.

Пером свободно мы владеем.

Открыт шарм победный счет.

И славят гениев-злодеев,
которых надоумил черт.

Жена Миши Пончикова работала в журнале «Отечественная химия», где главным редактором тогда был бывший референт Брежнева.

Когда ему позвонила Леночка по поручению Жолтера, он у себя в кабинете подогревал водку на электрической плитке, чтобы лучше забирала.

— Гребешкова Георгия Ивановича очень хорошо знаю... Большое влияние имел на Леонида Ильича. «Теневой мозг» державы, я бы сказал... Были ли у него дети? Наверное... Разве этот макака-певец его сын?.. Никогда бы не подумал.

Глава двенадцатая Электричка на Пирогово

На следующий день после убийства стриптизерки в восемь вечера Пончиков и Сулашкин заглянули в «Ночные приключения». Бар был открыт, а в танцзале штукатуры и маляры приводили стену в порядок. Напарница Зои готовилась совершить очередное восхождение по стремянке. Ожидался большой наплыв публики.

Пуля исчез. Выяснилось, что работал он в мойке, документов у него никто не требовал, настоящего имени не знали, адреса тоже. Директор заведения оправдывался тем, что взять на работу мальчугана просил сам Гребешков, а посему дальнейшие подробности администрацию не интересовали.

После «Ночных приключений» Пончиков и Сулашкин отправились на Ярославский вокзал. Оба были в легких тайваньских пуховиках песочного цвета и вязанных черных шапочках, так что могли сойти и за лыжников без лыж, и за мелких мафиози.

Пончиков взял два билета до Пирогова.

Им повезло — они довольно быстро отыскали на одном из путей свой поезд.

Вагон был полупустым. Люди разговаривали негромко, если не считать трех крепких мужиков, которые сидели возле тамбура, пили водку, закусывали и постепенно разогревались.

Выехали за кольцевую, уже подъезжали к Перловке. И тут в вагоне появился светловолосый ангелоподобный хрупкий юноша. На нем была летняя желтого цвета рубашка с открытым воротом, а поверх нее — брезентовая штормовка нараспашку. Шапки не было, через плечо висела потрепанная спортивная сумка. Сулашкин толкнул задремавшего Пончикова в бок.

Юноша подошел к подвыпившим мужикам, которые пересыпали пустые свои разговоры изрядным количеством мата, и вежливо и даже робко попросил их не ругаться в присутствии женщин и детей.

Несколько строк заурядной браны. Тут нет ни одного незнакомого слова, их можно услышать сейчас повсеместно. Так могут, например, беседовать дочь с матерью в автобусе. В этих ругательствах нет никакого скрытого смысла. Что же мешает нам произносить подобные слова тогда, когда мы обращаемся к человеку, которого любим и уважаем, когда находимся в приличном обществе? **ЗАКЛЮЧЕННОЕ В НИХ БЕСОВСТВО.** Каким-то духовным зрением мы ощущаем, что оно есть. Матерщина — это от сатаны, это сатанинские знаки. Произнося матерные

слова, мы как бы даем сигнал черту, что готовы ей у служить и ждем от него чего-нибудь в обмен. И дядя-вол поспешит нас одарить удовольствием немедленно. Вседозволенность имя ему. Но за ней неизбежно придут пустота, мертвящая скука, отвращение к себе...

Все трое встали, и каждый из них был выше юноши в штормовке на две головы и шире в два раза. Но это их ничуть не смущило. Юноша отступил. Они настигли его в тамбуре и успели несколько раз ударить. Кровь уже помутила их разум.

Пончиков на всякий случай нащупал в кармане пистолет. Электричка остановилась. Клубком вывалились на перрон. Это была Тайнинская. Миша и Толя едва успели выскочить вслед за ними.

И тут картина резко переменилась. Тот, кого уже можно было считать покойником, как бы очнулся, обрел нечеловеческую силу и стал нещадно руками и ногами избивать своих преследователей.

Это было жуткое зрелище. Гулкие мощные удары, треск костей, стоны, перешедшие в вой. Казалось, все это кончится мучительным убийством опрометчивых людей, обезумевших от боли и не знавших, куда спрятаться.

Между тем Толя Сулашкин спрятал косичку под шапочку и сделал несколько предварительных упражнений, знакомых специалистам по восточным единоборствам. Но в этот момент Миша уже был не в силах наблюдать за происходящим и, забыв об инстинкте самосохранения, бросился на юношу в штормовке сзади и обнял его.

Пончиков почувствовал в своих объятиях бешено пульсирующее тело. Юноша не сопротивлялся, он был как будто во сне, лицо его ничего не выражало. Через несколько секунд он обмяк в Мишиных руках.

Вдруг этот маленький ядерный реактор затих, потерял всякую плотность, материальность, исчез, испарился. Пончиков обнимал пустоту. Это было что-то из области запредельного. Потому что через мгновение ангелоподобный юноша был уже в пятидесяти метрах от места побоища, на той стороне железной дороги.

Толя Сулашкин вообще ничего не успел заметить, так как в тот момент помогал встать одному из пострадавших. Двое мужиков продолжали выть, третий был без сознания.

Жолтер, узнав о произшедшем в Тайнинке, связался с Министерством путей сообщения и сказал ставшую теперь знаменитой фразу:

— Я с явлениями природы не борюсь.

Глава тринадцатая Казино

Вернувшись в Москву, они зашли в казино неподалеку от трех вокзалов. В их обязанности входило время от времени посещать это заведение. С директором казино был заключен договор о десяти визитах в месяц. Это приносило сыскному бюро кругленькую сумму. Завсегдатаи же знали, что здесь бывают агенты Жолтера, а его известность к тому времени как человека, обладающего сверхъестественными способностями, выросла необычайно.

Директора казино все называли просто дядя Юра. Он действовал от противного: был ласков, добродушен, улыбчив и даже задушевен в мафиозном, конечно, понимании этого слова. В общем, он хороший

создал для себя имидж среди посетителей, а были это в основном бандиты, да и не бандиты сюда предпочитали приходить с оружием. Было дяде Юрэ за шестьдесят, но это был весьма крепкий и воевой мужчина.

Директор большую часть времени лично находился в игорном зале; бродил меж покрытыми зеленым сукном столами, улаживал то тут, то там возникающие конфликты. Поговаривали, что ему приходилось участвовать и в серьезных разборках. Дядя Юра сразу же направился к ним.

— Вот они, мои дорогие блюстители!

Он обнял Толю, похлопал по спине Мишу.

Пончиков был как во сне. Его еще не покидало странное ощущение бесплотности тела, которое за миг до этого было вполне материальным.

Заметив, что Миша не в своей тарелке, дядя Юра, приложив ладошку к своей сырой щеке, начал качать головой, трясти хохлом:

— Мишенька, почему не в духе, родной вы мой?

— Да упустили одного... фанатика-иллюзиониста, — объяснил Сулашкин.

— Понимаю, — сочувственно закивал дядя Юра. — Саша, — обратился он к проходившему мимо официанту, — принеси, голубчик, две по сто водочки этим джентльменам. С икоркой непременно.

Толя стал благодарить, а дядя Юра уже бежал к новому посетителю...

Здесь было тепло, пахло богатством и призрачной безмятежностью. Американский табачный дым, русский мат, массивные золотые перстни шулеров, бриллиантовые булавки игроков, замысловатые, мистические узоры картежных рубашек, бегущий по кругу шарик, пожираемый десятками глаз, разноцветные фишкы, сосредоточенность и серьезность лиц, занятых совершеннейшей глупостью, истеричный смех, похожий на крик утопающего, — все это создавало атмосферу ирреального. Даже юноша в штурмовке казался менее фантастичным, чем эти обезумевшие, одурачивающие сами себя, пустые, эгоистичные люди...

Глава четырнадцатая Отец героя

Это был старый, но вполне приличный трехэтажный особняк неподалеку от британского посольства. Контора называлась «Стройимпортэкспортренессанс». Все здесь свидетельствовало о несусветном богатстве.

Наконец Георгий Иванович освободился. Его кабинет покинула делегация японцев, оставив недопитым шампанское и несъеденным шоколад.

— Икрой, правда, не побрезговали, — пошутил Гребешков-старший.

Это был седовласый энергичный мужчина лет ше-



тидесяти пяти, одетый с иголочки. За очками в импортной оправе прятались глаза, которые никогда на вас не смотрели.

Всю жизнь Георгий Иванович посвятил личному обустройству: выходу за границу, любовницам и женам, власти и карьере. В общем-то он остался в дураках, хотя вряд ли осознавал это. Потому что считал высококлассный быт и быстрое удовлетворение самых разнообразных своих прихотей смыслом и сутью существования. Когда же захлестывали пустота и тоскливое ожидание расплаты — подобное случалось нечасто, — он начинал лгать себе, что это либо дурное настроение, либо усталость, либо собственная глупость, непонимание того, что все в этом мире просто, ясно и закончится ничем, пустотой, не способной ни поощрить, ни покарать. Георгий Иванович всю жизнь обманывал друзей, старую и молодую жену, сыновей, старшего — высокопоставленного кагэбэшника и младшего — Алексея, коллег по работе и даже Леонида Ильича Брежнева. Но он никак не мог осознать, что такая его способность в значительной степени происходила из самообмана и самообольщения. В итоге, повторим, он больше всего дурачил самого себя.

— Загородный дом, конечно, останется этой девке. — Георгий Иванович как-то сразу, без предисловий, машинально рукой. — Но у Алексея были сбережения, я думаю, что имею на часть из них некоторые права... Вы знаете, жизнь стала чересчур дорогой. Мне сейчас у себя предстоит ремонтировать второй этаж, даже перестраивать кое-что. Вот закупил красного дерева... Имел неосторожность жениться на молодой женщине. Знаете, ей хочется и того, и другого, и третьего — не то, что нам, старикам. Ну, что ты

с ней поделаешь? — Он улыбнулся, глядя куда-то в пол. — Я с вами слишком откровенен?

— Трудно сказать...

Гребешков-старший достал из представительского бара коньяк и две рюмки. Анисимов отказался, объяснив, что придерживается правила выпивать после семи вечера.

— А я выпью, — сказал Георгий Иванович. И действительно, выпил граммов двадцать.

— Ну, задавайте ваши вопросы. — Он сделал вид, будто готов броситься в омут, но вышло так неискренне, что никто бы ему никогда не поверил.

— Вы много помогали своему сыну?

— Я от вас ничего не буду скрывать. — Георгий Иванович глубоко вздохнул и принял самый серьезный вид, на который только был способен. — Я знал Брежнева, входил в его ближайшее окружение. Мне как отцу можно любые упреки сделать. Но я во многом способствовал тому, что за то безобразие, которым занимался Алексей — теперь-то это называют великим искусством, — что за то, что ему нравилось делать, платили очень и очень приличные деньги. Как мне удалось — это другой вопрос... Конечно, пришлось апеллировать к Западу. — Георгий Иванович задымил хорошей сигаретой, уставившись в потолок. — Пришло ссыльаться на Запад, перед которым всякий человек нашего круга преклонялся. Но там-то другое, там за любое чудачество, если повезет, могут заплатить миллионы. А у нас не так. Я не знаю, как вы к этому относитесь, но у нас-то все по распоряжению. И сейчас, и всегда было. Скрыто-му или открытому — это уже другой вопрос. Вы понимаете немножко?

— В какой-то степени.

— У нас общество сословное в еще большей степени, чем думают самые смелые умы. Если бы, скажем, все дети нашего элитарного круга повально увлеклись, допустим, игрой в домино, то и за домино стали бы платить валютой. Вот так... Здесь есть собственный своеобразный демократизм. Дело стоит лишь пробить, и потом там всегда найдется место сотне-другой высокочкам... Когда я вижу толпы беснующиеся и обезумевшей молодежи на этих рок-топтаниях, думаю с усмешкой: о, если бы это дурачье знало, кому сказать спасибо. Мне, старику Микояну да еще нескольким влиятельным отцам, а не всяким там Градским с Гренниковыми...

— Ваш сын был богат?

— Не то слово. Сказочно! А где большие деньги, там и большие бандиты. Все это дело, конечно, имело явный криминальный оттенок, и я знаю, что Алексея это угнетало. У него был целый штат помощников в кавычках, и, когда он умер, они все и растищили. Надо найти, Анисимов, эти большие деньги. Пусть потом суд решает, кому они принадлежат. Но не оставлять же их этим бездельникам и уголовникам... Каков мой вклад в это государство, не мне судить, но я более сорока лет каждый день — ни одного больничного не взял — ходил в службу. Алеша не работал ни дня. И все его окружение тоже. Вот что потрясает непросвещенный ум... — Удивление у Георгия Ивановича получилось великолепно.

— Я могу рассчитывать на вашу поддержку и сотрудничество?

— Не то слово!

— Это случайно не вы проводили «земляные работы» на участке вашего сына?

— Я, — с легкостью согласился он.

— Зачем вы это делали?

— Клад искал. На полном серьезе... Очень давно я собирал старинные монеты. Они у меня лежали в большой жестянной коробке из-под конфет. Такие раньше в булочной на Тверской продавались. Алеша был большим шалуном и похитил у меня эту коробку. Похитил и зарыл. Мы тогда летом жили в Кратове. Склонность к проприятыванию у него была с детства. Вот я и подумал, что с возрастом она усугубилась...

— И что-нибудь нашли?

— Нет. Пусто. Но поиски, Всеволод Никитич, останавливать нельзя.

Зазвонил телефон правительственный связи, говорили из приемной президента. Гребешков-старший дал понять знаками, что присутствие Анисимова теперь нежелательно.

Глава пятнадцатая Жолтер колдует

В особняке Жолтера на втором этаже была каминная комната с двумя нишами и эркером, переходящим в башенку.

В комнате произошли некоторые изменения. Теперь стены были задрапированы белой материей, стол был покрыт толстым стеклом. Напротив кресла, в котором тогда сидел Жолтер и которое находилось возле камина, на стене сейчас висело зеркало в черной раме. Эркер от остального помещения был отделен плотным, непроницаемым экраном. Дело происходило вечером девятнадцатого января.

Эдуард Васильевич в черном свитере, синих джинсах и турецких тапочках на босу ногу крайне сосредоточенно устанавливал зеркальную систему. Зеркало было не меньше дюжины — круглых, металлических, с пятикопеечную монету, на тонких рюмочных ножках. Они вращались и были расставлены на столе в строгом порядке, соединяясь лучами между собой и зеркалом в черной раме.

Затем Жолтер принялся укреплять на штативе капельницу. Под штативом находилась серебряная чаша с водой. Ему оставалось зажечь большую свечу в стеклянном колпаке и бросить в чашу кольцо от ключей, принадлежавшее некогда Зое.

Жолтер бросил кольцо в воду, зажег свечу и погасил свет. Луч, пробежав по зеркалам, отразился в серебряной чаше. Капли равномерно падали вниз. Комната была наполнена запахом эфирных масел, камин едва тлел. Жолтер старался ни о чем не думать и не произносить про себя никаких слов. Он усился в кресло и склонился над чашей.

На Жолтера напало дремотное состояние. Он стал время от времени закрывать глаза, наконец прищурил их так, что золотистая вода покрылась туманной дымкой...

И перед ним возник будто кадр из фильма. Он увидел Алексея Гребешкова. Тот был весел, рассказывал что-то смешное лежавшей на кушетке Зое. Гребешков прихлебывал кока-колу из большой граненой бутылки, а Зоя, похочатывая, листала журнал мод.

Потом Алексей поставил бутылку на столик и пошел за другим журналом к стеллажу. И тут Зоя, почти как в гамлетовской пьесе-мышевовке, подсыпала какого-то снадобья в напиток. Гребешков вернулся, и они опять весело поболтали. Наконец он глотнул

раз-другой из граненой бутылки и сразу же впал в странное замешательство.

Первое, что он сделал, это с безумным видом содрал с себя рубашку и начал демонстрировать стриптизерке свой кожаный корсет с ремешками и блестящими пряжками. Затем подбежал к стене, обшитой темным бархатом, нажал на потаенную кнопку, и не большой овальный бассейн, находившийся посередине подземного помещения, стал медленно сдвигаться и подниматься. Воды в нем не было. Под ним оказался люк... И все пропало. Видение исчезло...

Кадр сменился. Какой-то мужчина собирался бриться. Он стоял перед зеркалом и помазком густо намыливал себе щеки. Появилась Зоя. Она о чем-то взволнованно рассказывала мужчине. Тот кивал головой.

Эдуард Васильевич подождал, пока лицо избавится от обильной пены, но, так и не дождавшись, стер изображение над чашей ладонью.

Голова начинала болеть до тошноты. Жолтер вынул пинцетом кольцо от Зийных ключей из чаши и бросил туда пуговицу, оторванную Анисимовым от жилетки уродливого мальши.

Он вновь окунулся в плотный туман и... очутился каким-то сверхъестественным образом на крыше дома. Жолтер стоял на краю перед пожарной лестницей. По ней поднималась с автоматом за спиной маленький уродец. Он уже почти взобрался, успел снять свое грозное оружие и, чудом балансируя, навести его на Эдуарда Васильевича. Жолтер уже собирался резким движением руки убрать изображение, но мальчуган, видимо, просто шутил, поскольку тут же протянул «Калашникова» Эдуарду Васильевичу. Жолтер проворно огляделся. Внизу был квадрат двора. Слева был виден фрагмент зимнего бульвара, а дальше, за домами, просматривалась площадь Курского вокзала. Впереди он обнаружил, судя по голубой церкви и островерхому зданию — изображение начало расплзаться на куски, — Яузские ворота и Котельническую набережную...

Видение исчезло как в молоке.

Появилась последняя картинка. Памятник на площади. Памятник какому-то монарху или князю. По углам постамента скульптор поставил какие-то согбенные фигурки.

От памятника дорога полетела к зданию с колоннами. Его построили, видимо, в прошлом веке. У входа перед колоннадой люди передавали друг другу деньги. Внутри был большой зал со стеклянным потолком. Жолтер увидел электронные часы на стене. Цифры были зеленого цвета. По середине зала на мраморном полу стояли стулья с высокими готическими спинками.

Совершенно разбитый, Эдуард Васильевич проснулся в кресле у камина на следующее утро. Голова раскалывалась, воздух был тяжелый, свеча догорела.

Глава шестнадцатая Катя Вяземская

— Зачем мне все эти встречи? — ворчал Анисимов, заглядывая в контору.

— Эдуард Васильевич лучше знает, — отвечала Леночка.

Роман их пока не развивался. Заводить легкие, ни к чему не обязывающие отношения Сева считал ниже

своего достоинства, а на серьезные не мог решиться. Не хотелось менять привычки, терять независимость.

У Вяземской — модной тогда рок-поэтессы — было нервное, худое, некрасивое лицо подростка. Катя курила не переставая, и казалось, что именно от никотина она высохла, как мумия. В огромной квартире, где все говорило о достатке и богатстве, был несусветный беспорядок. Создавалось впечатление, что здесь так же грязно, как и на Тверской, которая бурлила, гудела, шумела и дышала выхлопными газами под окнами.

— Вы понимаете, — говорила она Анисимову, стряхивая пепел мимо почерневшей мельхиоровой пепельницы на оранжевый палас, — понятие «наслаждение» очень спорно. За наслаждением всегда по пятам идет горе. Постепенно злоба и раздражение отпечатываются на вашем лице. Правда, вы еще можете купить ласку за деньги. Но от этой ласки вас тошнит, если у вас остались какие-нибудь мозги. Вы простите меня, я говорю в стиле эссе. Вся моя теперешняя жизнь — эссе.

Они сидели в креслах под торшером, а рядом на полу валялась куча мятого постельного белья.

— Чем больше у вас возможностей, тем больше у вас разочарований. Хотите стишок посмотреть? Я написала его для Алки Пугачевой.

Она долго рылась в ворохе бумаг, раскрывала какие-то папки и портфели. И наконец, совсем уже отчаявшись, обнаружила его в «Унесенных ветром» вместо закладки.

— Я не разбираюсь в поэзии. — Анисимов вернул листочек с отпечатанным на машинке текстом. — Могу я вам задать один неделикатный вопрос?

— Валяйте. — Она спрятала листок опять в книгу.

— Ваша настоящая фамилия Петрова, не так ли? И вы — дочь известного генерала?

Эти сведения Сева получил от Леночки. Генерал КГБ Петров возглавлял одно из управлений и был соратником Ивана Павловича Абрамова — прежнего шефа Елены Александровны. В те еще времена подчиненные генерала Петрова рассказывали о свирепом и неуважчивом характере своего начальника.

Вяземская закурила очередную сигарету и взорвала.

— Вы думаете, мне это помогло?! Я, может быть, стала бы второй Анной Ахматовой, если бы не это... Какие у меня были преимущества? То, что меня больше обманывали?

— Я вообще-то пришел порасспросить о Гребешкове, — стал оправдываться Анисимов.

— Ему это действительно больше помогало, — немного успокоилась она.

— Что именно?

— Ну, что у него отец кагэбэшник.

— Он был советником у Брежнева.

— Одно другому не мешает. Я-то уж знаю.

Вяземская вдруг расхохоталась и сказала изменившимся голосом:

— Мальчик хочет спать. Наверное, много заседают нынешние пионеры в своих дружинах... Узнаете?

— Леонид Ильич?

— Угу... Об Алешеньке. У Гребешкова были очень густые белесые ресницы и маленькие такие непонятного цвета глаза. Казалось, что он все время

хочет спать. Говорили даже, что он выбрал себе такой сценический имидж. Ерунда, конечно... Я не думаю, чтобы он был счастлив. Может быть, до некоторой степени. Он был деятелен, находчив, люди ему охотно подчинялись. Он стал просто обычным богатым человеком. Но кто сказал, что богатство — это дорога к счастью? Поверьте мне, я в этом хорошо разбираюсь, это путь в обратном направлении. Люди попросту сами себя надувают... Мне кажется, правы те, кто считает: скоро конец света. Есть у Высоцкого, помните, про подводную лодку. Все мы были в этой подлодке и умирали от удушья. И что же потом? Там замечательные пророческие строки: «Вот вышли наверх мы, а выхода нет! Натянуты нервы, ход полный на верфи! Конец всем печалям, концам и началам — мы рвемся к причалам заместо торпед». Верфи и причалы — это возвращение к первоистокам, а там — взрыв... Я знакома с одним художником-авангардистом. Чтобы особо не тратиться на холсты, краски и все такое, он рисовал на плотной бумаге тушью полосы. Прямые полосы, реже волнистые. В отличие от Пушкина он объездил весь мир, у него денег куча, правнукам останется... Понимаете, дьявол вам говорит: поклонись, и я сделаю так, что ты только палец покажешь и все завопят: гениально!.. По-моему, Гребешков из этой же серии. Никому не вздумайте говорить! А то его фанаты разорвут меня на куски... Я его знала еще со школы — той, на Кутузовском. Это был болезненный мальчик, его дразнили, он страдал и комплексовал, так что чего-то ему, наверное, и простится...

— Как вы думаете, он был побогаче вашего знакомого художника?

— Разумеется... Давайте больше не будем обсуждать эту тему.

Глава семнадцатая Будем брать Пулю

Двадцать пятого февраля в конторе был общий сбор. Все уже были на месте примерно к половине десятого утра. Немного волновались — даже Леночка, которая не принимала участия в операции. Ни Сулашкин, ни Анисимов, ни, более того, Пончиков ничего толком не знали о конкретном плане Эдуарда Васильевича, хотя и понимали, что дело начинает переходить в практическую плоскость.

Жолтер должен был выйти из дома в десять утра, и им было велено поджидать его на кругу перед дачными линиями.

Анатолий в одной рубашке выбегал на лоджию и смотрел в подзорную трубу.

Наконец он сообщил:

— Выходит. Поехали.

На кругу они были через две минуты. Остановились у коммерческих ларьков, где обычно торговали пивом и собирались алкаши. И надо же такому случиться, что как раз в тот момент какой-то здоровенный мужик принял орудовать чудовищной, напоминавшей оглоблю дубиной. Крыша у него, видимо, поехала, и он крушил на своем пути все подряд, удаляясь от наших героев. Его действия сопровождались воплями, звоном и треском. Толпа граждан, поджидавших троллейбус, в ужасе рассыпалась.

Самым неприятным оказалось то, что навстречу бесноватому гиганту задумчиво брел, держа руки за спиной, ничего не подозревавший Жолтер. Дороги

бесноватого мужика, размахивавшего дубиной, и Эдуарда Васильевича неумолимо пересекались. Вмешаться уже было поздно. И напрасно Пончиков выхватил своего «Марголина».

Однако, подлетев к Жолтеру, мужик вдруг остановился как вкопанный. Эдуард Васильевич чего-то строго сказал ему, и тот неожиданно прижал свободную левую руку к сердцу, отвесил поклон и помчался куда-то дальше.

Когда Жолтер подходил к машине, он был несколько сонлив, будто наглотался успокоительных таблеток, чего на самом деле никогда себе не позволял, предпочитая в качестве успокоительного средства стакан кефира.

— Что ты ему сказал? — спросил Миша, все еще находясь под впечатлением случившегося.

— Я просто поинтересовался, в чем дело, — ответил Эдуард Васильевич и пояснил загадочно: — У каждого из нас есть своя задача. У него была — не стать бродягой и бомжем. Он не справился...

Сначала ехали молча. Когда же с Садовой свернули на Кропотkinsкую, Анисимов не к месту стал расспрашивать Жолтера, что же все-таки такое внутреннее зрение и каким образом им можно овладеть. К удивлению Севы, Эдуард Васильевич воспринял его вопросы спокойно.

— Что такое внутреннее зрение, что такое понастоящему видеть, сказать очень сложно. А как этого достичь, объяснить достаточно легко. Надо откаться от слов, надо перестать думать словами. Мы создаем себе словесные описания и из-за слов ничего не видим вокруг. То есть видим то, что нам позволяют видеть слова. Вы понимаете?.. Добраться этого можно многолетними упражнениями. Необходим также опытный наставник. И все равно получается далеко не у каждого. Как бы вам нагляднее объяснить?..

Жолтер задумался. Тема его интересовала. Он достал из «бардачка» справочник московских улиц, повернулся к Анисимову, держа книгу вертикально.

— «Видеть» — это значит находиться в корешке. Говорят — смотреть в корень. Часто идиомы являются ключом. Точнее было бы сказать — смотреть из корня. Те страницы, что справа, это прошлое. Те, что слева, это будущее. Недаром говорят, что смерть всегда находится за левым плечом. То, что в центре, это сегодня...

— Дремучий лес, — усмехнулся Анисимов.

— Вы спросили, я ответил, — пожал плечами Жолтер, спрятал справочник и углубился в себя.

Потом — они ехали уже по Бульварному кольцу — Эдуард Васильевич сказал, что нужное им место находится в районе Яузских ворот.

За Покровкой они свернули налево в переулок и остановились у подъезда серого массивного дома дореволюционной постройки.

— Здесь, — объявил Жолтер. — У него комната на втором этаже, он снял ее две недели назад. Окно выходит во внутренний двор. В комнате несколько телевизоров, и, по-моему, все они работают одновременно. Да-да, — Эдуард Васильевич закрыл глаза, — их четыре или пять, и они стоят полукругом. Справа от двери к стене приставлен зонтик или автомат.

— Между зонтиком и автоматом есть некоторая разница, — проворчал Пончиков.

— Справа от окна, — продолжал Жолтер, пропустив мимо ушей это замечание, — находится пожарная

лестница. Вы, Сева, подниметесь по ней. Вход во внутренний двор с бульвара через арку. Лестница всего лишь одна, второй этаж, так что ошибиться невозможно. Миша и Толя войдут в квартиру. Дверь маленького уродца вторая от входа справа. Анатолий постучит к нему и потом сразу же отскочит от проема, он, возможно, станет стрелять. Войдя в квартиру, Миша должен пройти прямо по коридору до конца, справа будет кухня, там ты спрячешься за перегородкой — это бывшая кладовая — и будешь держать на прицеле черный ход. Толя же прикрывает вход в подъезд. Сейчас мы туда войдем, и я покажу, где эта квартира. Один звонок — к дворничихе. Она глухая, и у нее просто зажигается свет. Она тут же откроет. Окно у малыша распахнуто, ему жарко, он даже сейчас бегает по комнате по непонятной мне причине. Когда, Сева, вы услышите стук в дверь, то поступите в окно, прыгайте вниз и укройтесь за выступом над дверью черного хода... Что вы смотрите на меня как на безумного? — улыбнулся Жолтер, глядя на их напряженные недоумевающие лица.— Естественно, я здесь был накануне и как следует изучил обстановку... Сам я поднимусь на крышу и перекрою пожарную лестницу сверху.

Жолтер неожиданно поежился в своей теплой дубленке, достал шоколадную конфетку, съел ее, положив фантик в карман.

— Ну что — начали?! — вскрикнул он фальцетом.— В темпе рок-н-ролла!

Они выскочили из машины и принялись за дело.

Во внутреннем дворике Анисимов почти сразу же обнаружил пожарную лестницу — примитивную, без площадок. Он едва допрыгнул до нижней ржавой перекладины. Подтянулся и довольно быстро добрался до распахнутого настежь окна. До него можно было дотянуть рукой. Испущение было велико, и, забыв об опасности, Сева заглянул внутрь.

Жолтер ошибся. Там были не телевизоры, а дисплеи. Все они были включены. На одном экране развертывалось морское сражение, на другом — проходили автогонки. На третьем экране был изображен тир, на четвертом — маршировали навстречу друг другу солдатики. Все двигалось и вертелось. Малыш бегал от экрана к экрану и делал точные ходы: броненосцы взлетали на воздух, падали фигуры в тире, солдатиков разрывала игрушечная картечка, «автомобиль» хозяина огибал препятствия и неуклонно обходил другие игрушечные машинки одну за другой. Пуля находился в состоянии компьютерного безумия и, казалось, ничего не замечал вокруг. Рядом с дверью к стене был приставлен автомат Калашникова.

Анатолий громко постучал в дверь. Уродец встрепенулся и как бы сразу очнулся от сна. Анисимов ударил по стеклу кулаком, и оно разбилось. Малыш на мгновение затих, быстро соображая, что предпринять. Сева спустился на две ступеньки и прыгнул в сугроб. Из окна появился ствол автомата, и крошка завопил:

— Сука легавая!

И дал очередь. Сева едва успел откатиться к дверям черного хода.

Пуля, не мешкая, сиганул с подоконника на пожарную лестницу и, повесив автомат за спину, стал подниматься наверх.

Сева вскочил на ноги и мигом тоже очутился там же. Расстояние между ним и малышом составляло не меньше пяти метров. Анисимов изо всех сил старался

его сократить. Пистолет Макарова со снятым предохранителем лежал у него в правом боковом кармане плаща.

На небольшой площадочке, которой заканчивалась лестница, малыша поджидал Жолтер. Руки он держал за спиной, и что-то отрешенное было в его взгляде. Он спокойно наблюдал, как, с трудом балансируя, Пуля снимает автомат, пытается удержать его в правой руке, наводит и нащупывает пальцем спусковой крючок.

Анисимов едва успел. Он буквально вставил свой пистолет малышу в зад. Пуля тут же превратился в гипсовую статую и жалобно произнес:

— Я не нервничаю. Все в порядке.

С детской ясной улыбкой он протянул Жолтеру автомат.

Через полминуты все трое стояли на крыше, и высотное здание на Котельнической, как им показалось, было почти рядом.

Пуля держался у самого карниза, полуметровая решеточка-перегородка отделяла его от бездны. И он прижался к ней, незаметно продвигаясь.

— Эдуард Василич, я ни в чем не виноват,— говорил Пуля скороговоркой, оглядывая своих преследователей, как затравленный зверек.— Я все вам расскажу, как было... Зою меня заставила убить Ирэна...

— Зачем ей это понадобилось? — спросил Жолтер.

— Зоя знала про спрятанные баксы, а Ирэна боялась их потерять...

Жолтер на мгновение задумался. И этого оказалось достаточно, чтобы Пуля сделал несколько шагов вдоль карниза и прыгнул вниз.

У присутствовавших дух захватило. Но волнения были напрасны: малыш не долетел до земли. Он упал на балкон этажом ниже. Выбил дверь и исчез.

Это было другое крыло дома, с другим подъездом, и Жолтер понял, что преследовать проворного уродца бесполезно. А может быть, у него теперь появились какие-то новые соображения. Во всяком случае, он неторопливо передал автомат Сулашкину и сказал:

— Подшейте к делу. А на сегодня, пожалуй, будет достаточно.

Они тщательно осмотрели логово ужасного карлика. Сто пятьдесят тысяч в целости и сохранности лежали в том же целлофановом пакете, в который их поместила Ирэна. Пакет находился в обычной спортивной сумке.

Они выключили дисплеи. Жолтер позвонил знакомому на Петровку, и тот обещал прислать своего сотрудника для составления протокола. Оставили дожидаться Сулашкина, а сами отправились по домам.

Что касается Анисимова, то он был доволен — деньги нашлись.

Глава восемнадцатая Валё!

— Миша, ты где-нибудь видел... такой прямоугольный вестибюль... круглые колонны... стеклянный потолок?.. Не припоминаешь ли ты такого зала? — спрашивал Жолтер, прогуливаясь по зимнему саду. Сосны вокруг шумели, как на море.

— Это слишком неопределенно, — отвечал Пончиков, понимая, к чему клонит шеф.

— ...В центре, пожалуй, на мраморном полу стоят

спина к спине шесть — восемь стульев с высокими спинками. Рядом — что-то вроде маленькой трибуны... или скорее конторки. Неподалеку от нее прогуливается человек в зеленом полувоенном костюме и фуражке наподобие «деголлевки», сбоку у него то ли черная поясная сумочка, то ли кобура...

— Так до сих пор и прогуливается? — поинтересовался Миша.

— Шутки потом... Второй этаж. Это, вероятнее всего, антресоли, которые и подпираются колоннами.

— Возможно, это здание вокзала, если дело происходит за границей, — не очень охотно размышляя вслух Пончиков. — А может, почтamt, телеграф?..

Сулашкин с Анисимовым на служебном «жигуленке» объездили пол-Москвы. Что-то похожее они увидели в здании педагогического университета. Кое-что из описаний, а точнее — видений Жолтера, можно было обнаружить в одном из залов Зоологического музея, а также в вестибюле одного из корпусов больницы для сильных мира сего. Но в целом поиск оказался безрезультатным.

По распоряжению Жолтера, Леночка звонила в Киев, Минск, Петербург знакомым детективам. Они не задавали лишних вопросов, однако ответы их были неутешительны.

Когда уже казалось, что вся эта затея кончится ничем, Жолтер вспомнил про памятник на площади, а на Анисимова вдруг снизошло озарение:

— Это же Прибалтика!

И действительно, инспектор Шнюкас из Вильнюса сказал, что, если ему не изменяет память, это филиал Центрального литовского банка в Каунасе, а человек в зеленом — всего лишь полицейский, постовой.

В Вильнюс были переданы приметы маленького уродца Пули. Через два дня агенты Шнюкаса в Каунасе, Вальдас и Антанас, сообщили, что некто очень похожий проживает в гостинице «Нерис». Более того, с полутораметровым дегенератом в одном номере находится мужчина лет пятидесяти. Он похож на отставного метрдотеля, бармена. Ведется круглосуточное наблюдение. Самое удивительное, что эти двое ежедневно посещают банк, но никаких финансовых операций не производят.

Жолтер вылетел в Вильнюс к Шнюкасу, а Сулашкин и Анисимов поехали до Каунаса поездом. Пончиков и Леночка остались «на хозяйстве» в Москве.

На вокзале в Каунасе Сулашкина и Анисимова уже поджидали Жолтер и Шнюкас. Литовец был похож на пожилого покашливающего бульдога. Владая в задумчивость, он имел привычку пошмыгивать носом.

Первым делом на машине они отправились к памятнику великому литовскому князю Гедимину. Эдуард Васильевич, несомненно, его имел в виду. Любопытно, что по четырем углам постамента находились согенные фигуры. Кого бы вы думали? Русского, поляка, шведа и татарина.

— Суть литовского величия, — пояснил, усмехаясь, Шнюкас.

Отсюда вела прямая дорога к банку. У входа в здание шел активный обмен рублей на доллары; местные пятисотрублевые «медведи» в ход не шли.

Как сообщил Шнюкас, его сотрудница Эльза ходила уже сюда второй день подряд к трем часам. Почему было выбрано это время, оставалось неизвестным.

Большой целлофановый пакет, набитый фальшивыми долларами, она сдавала в окошко номер семь, куда специально посадили на некоторое время человека из Департамента охраны края. Эти ребята — уродец и «англичанин», — по сведениям Шнюкаса, уже клюнули. Литовский инспектор не исключал, что они собирались взять куш и через Польшу смотраться на Запад.

Эльзу сопровождали Антанас и Вальдас, разыгрывая из себя ротозеев. У Вальдаса был особый дипломат с монтированным в него баллоном с усыпляющим газом. Все трое, а также офицер департамента имели наготове специальные респираторы.

— Возьмем их без шума и пыли, — констатировал Шнюкас не без самодовольства.

Офис Шнюкаса в Каунасе занимал первый этаж стандартного финского домика, окруженного небольшим садиком. Наверное, летом тут был райский уголок, но в серую зимнюю слякоть место это выглядело довольно уныло.

Присматривала за помещением девятнадцатилетняя лягушка Эльза, которая мечтала стать знаменитым сыщиком, а пока проходила у хитроумного Шнюкаса трехлетний испытательный срок.

Эльза готовила кофе в кладовке, а мужчины уселись за стол в гостиной.

— Мне кажется, что они совершают нападение именно сегодня, — сказал Жолтер, — так что не будем расслабляться.

— Конечно, лучше было бы их взять в гостинице, — говорил Шнюкас, пошмыгивая носом.

— Почему?

— Если начнется стрельба, хотя я это почти исключаю, знаешь, что нам скажет Ландсбергис?.. Он скажет, что люди чужой страны устроили беспорядки. У меня будут крупные неприятности.

— Когда я отыскал деньги, похищенные у оргцентра «Саюдис», — заметил Жолтер, — господин Ландсбергис почему-то не высказывал никаких претензий.

Неожиданно из кладовки завопил какой-то хрипавший прокуренный мужик:

— Валё! Валё! Валё!

Антанас и Вальдас покраснели до корней волос. Антанас был толстый и добродушный, а Вальдас худой и мрачноватый.

— Что он говорит? — спросил Жолтер у Шнюкаса.

— Это что-то типа «победа», «ура», — ответил тот и прокричал: — Эльза! Кто там у тебя?

Прибежала стройненькая и симпатичная Эльза. Она опустила глаза от смущения и ничего не могла объяснить.

— Эльза, — наконец выдавил из себя Антанас, — притащила с улицы говорящего грача. Но мы не знали, что он разговаривает. Он сидит в клетке, которую купил Вальдас.

— Вальдас! — голосом Антанаса пожаловался грач. — Шнюкас опять на меня наезжает.

И тут же, к удивлению присутствующих, послышалась очень натуральный скрип тормозов.

Затем птица заговорила голосом Эльзы:

— Запомни, Шнюкас — это такая маленькая шмыгающая собака...

Воцарилась тишина, которую не посмел нарушить даже говорящий грач. Возможно, и репертуар его был пока что исчерпан. Сотрудники Шню-

каса были ни живы ни мертвые. Наконец шеф спокойно сказал:

— Информированная птичка.

Они выпили кофе — Шнюкас позволил себе рюмку малинового ликера — и вышли из офиса. Их поджидали две машины — «Волга» и «Жигули».

— Эдуард, — объявил Шнюкас, когда они отъехали от офиса, — вы наши гости. Вы там просто сядете в центре зала и будете зрителями.

От улицы Матейкос, где находился офис, до Центрального банка на улице Донелайго они добрались за пять минут.

Было без пятнадцати три. Жолтер и Шнюкас, раскрыв папки с какими-то бумагами, уселись лицом к окошку номер семь. Оно находилось в левом дальнем углу от входа в зал. Сулашкин и Анисимов расположились на противоположной стороне и подготовили пистолеты.

Ждать пришлось недолго. Без трех минут в зал вошла Эльза с пакетом в сопровождении Антанаса и Вальдаса.

Вася Антипов и Пуля в тот момент стояли у окошка номер восемь. Бывший телохранитель Гребешкова беседовал со служащей банка.

Никто не успел толком понять, как все произошло. В мгновение Вася оказался рядом с Эльзой, накинул на нее и на себя серебристый купол из материи, напоминавшей болонью. Офицер в окошке ничего, кроме этого купола, видеть не мог. Перед этим своеобразным шатром встал, как часовой, с короткоствольным автоматом «Узи» маленький уродец. Находясь под прицелом, растерянный Антанас поднял руки. Вальдас все же успел нажать на кнопку своего дипломата, хотя ни о каких респираторах уже и речи быть не могло. Вальдас, Антанас и офицер в окошке номер семь отключились мгновенно, а на идиота-коротышку газ почему-то не подействовал.

Находившийся в пятидесяти метрах у дверей охранник выхватил оружие, и Пуля моментально направил в его сторону автомат, готовясь сделать выстрел. Но Анисимов на долю секунды опередил малыша. Из-за высокой спинки стула он давно уже держал его на мушке. Сева метил в плечо, но рука у него дрогнула, и он попал точно между глаз. Малыш, превратившись в сморщенного старичка, бесшумно опрокинулся на пол.

Посетители лежали на мраморных плитах, накрыв головы руками. Жолтер и Шнюкас спрятались за конторкой.

Анисимов и Сулашкин слева и справа начали подбираться к шатру. Но устройство его было таково, что, невидимый снаружи, изнутри Вася Антипов отлично контролировал обстановку. Он два раза выстрелил в Анатолия, но тот в немыслимых акробатических прыжках дважды уходил от неминуемой гибели. Стало ясно, что подобраться к серебристому куполу не так-то просто. Секунд тридцать стороны не предпринимали никаких действий.

Затем Антипов, как змея шкуру, сбросил с себя серебристую ткань и, прикрываясь обмякшей Эльзой, скрылся через боковую дверь за перегородкой. Он оказался опять вне поля досягаемости. Накануне в банк завезли новое компьютерное оборудование. Его еще не успели распаковать, и бывший телохрани-

тель Гребешкова укрылся за большими ящиками.

Притворившейся Эльзе удалось выбить у него из руки пистолет, но Антипов ребром ладони сломал ей ключицу, и она потеряла сознание по-настоящему.

Шнюкас сделал отчаянную попытку исправить непоправимое.

Он приблизился к ящикам с техникой и, сложив ладони рупором, демонически закричал:

— Там нет выхода, милейший!

Но двери, ведущие в подсобное помещение, а оттуда — на улицу, были всего-то в двух метрах от беглеца. А его непросто было взять на пушку.

Сообщение из газеты «Коммерсанть»:

«В Каунасе силами Охраны края была совершена неудачная попытка задержать двух подозреваемых, проходящих по делу известного рок-певца Алексея Гребешкова.

Одному из них — не называем имени для сохранения тайны следствия — удалось скрыться. Другой по кличке Пуля — предполагаемый убийца стриптизерки Зои из танцбара «Ночные приключения» — был застрелен на месте.

По данным «Ъ», ворошиловским стрелком оказался господин Анисимов из службы Жолтера, неизвестно как ставший участником этой заварушки. Литовская сторона протестов не заявляла».

Глава девятнадцатая Шантаж

Като — личный телохранитель Ирэны, с которым Гребешков незадолго до смерти подписал пятилетний контракт, желая утереть нос всем новым богачам, субботним вечером отправился в японское посольство. Отпросился он заранее. Там был очень важный прием, и присутствие человека его круга было просто необходимо. Не явиться, как объяснял Като-сан, было бы верхом неприличия для истинного самурая.

Ирэне не хотелось оставаться в квартире одной. Тем более что в этом и не было никакой необходимости. Ее приглашали в тот день рок-знаменитости на ужин, который устраивали тогда новоявленные московские миллиончики — фирма «Филиппов, Брудер и сыновья». Нашим знаменитым рок-музыкантам предстояло небольшое выступление в самом начале обширной программы, после которого они должны были присоединиться к трапезе своих коллег-толстосумов. Запланировано было много любопытного: беседа с духами умерших гениев, стриптиз, благотворительная лотерея, просмотр модного порнофильма, девочки, мальчики, номера. Все это предполагалось на целую ночь и вполне устраивало Ирэну, поскольку к двенадцати Като обещал заехать за ней на машине.

Но в последний момент она все же передумала и отказалась от ужина в компании Филиппова и Брудера. Тоска и скука одолевали ее в последнее время и тянули к одиночеству. Ей захотелось просто повалиться, почитать, может быть, посмотреть по «видику» что-нибудь из Шекспира.

Часов в восемь вечера, когда она лежала на тахте и листала любимый ею «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса, позвонил по телефону Анисимов. Он сообщил Ирэне, что только что вернулся из Каунаса и хотел бы переговорить с ней по поручению Жолтера.

Через пятнадцать минут он уже стоял у дверей.

Поглядев в «глазок», она на какое-то мгновение засомневалась: в холле перед лестничной площадкой почему-то не горел свет, виден был силуэт мужчины, но казалось, что вместо головы у него белое пятно.

— Что у вас с лицом, Сева?

— Пожгли, гады, из огнемета,— ответил Анисимов.

«Гады»,— повторила Ирэна про себя и все же открыла.

Рослый мужчина в маске хоккейного вратаря навел на нее дуло пистолета. Сердце у Ирэны забилось, как у зайчика. Инстинктивно она отступила, и незнакомец захлопнул за собой дверь.

Он разглядывал ее довольно долго. Она была в сиром тонком шерстяном свитере и обтягивающих черных брюках. Высокая, худощавая, но с полными бедрами и грудью, густыми золотистыми локонами, бездонными карими испуганными глазами, она вызывала в нем желание. Но было кое-что поважнее, и незнакомец преодолел в себе искушение.

— Не дергайся,— сказал он,— мозги вылетят наружу.

— Мозгов нет,— ответила она, подумав, что все кончено и скоро ей откроется тайна бесконечности,— не беспокойся.

— Где деньги Гребешкова?

— В швейцарском банке — разве ты не знал?

— Не будем спешить с выводами,— сказал он, осматриваясь.

Затем снял с плеча адидасовскую спортивную сумку и сбросил куртку на стоявшее в прихожей кресло. Все это он ухитрился проделать, держа Ирэну под прицелом.

В гостиной Ирэна села на тахту, подобрав под себя ноги, а он расположился на стуле в двух шагах от нее. Положил пистолет на дубовый квадратик пола и достал из сумки паяльную лампу. Принялся не спеша налаживать ее, не снимая перчаток.

— Ты знаешь,— объяснял человек в маске головом Анисимова,— лыжи сначала покрывают смолой, а потом прокаливают этой штуковиной.

— У меня пластиковые.— Зачем-то она поддерживала этот дурацкий диалог.

— А мы по старинке,— усмехнулся он.— Деньжат не хватает.

— Хорошо,— сказала она, скав ладони,— допустим, у меня есть деньги. Но с какой стати мне их тебе отдавать?

— Карточный долгок за Алексеем. Он пожадничал, заупрямился... Лучше бы заплатил, правда?

— Ну и сколько ты хочешь?

— На даче в тайнике не меньше двух «зеленых лимонов». Один мой.

— Поеzzжай и забери.

— Нет, только с тобой.

Они помолчали. Ирэна взяла с покрытого тонким слоем серебра журнального столика сигарету.

— Дать прикурить? — Пламя вырвалось из этого «огненного чайника».

— Обойдусь.— Она прикурила от золотой зажигалки.— Но ведь ты же Анисимов?.. Можешь снять свою идиотскую маску. Ты же никогда не знал Гребешкова и не играл с ним.

— Согласен, я Анисимов,— подтвердил незнакомец.— Но доказательства у меня на роже отсутствуют, ведь верно? Проболтаешься Жолтеру — убью!

— Хорошо, а если я тебе дам денег?

— Тогда мы немедленно отправляемся на дачу, у меня машина внизу. Ты покажешь, где все там припрятано, а я возьму, что обещал, не больше, и свалю куда подальше.

— Откуда ты знаешь про дачу и все такое?..

— От Эдуарда Васильевича. Он давно это дело раскрутил, но не решил еще, что делать с деньгами. Так что поторопиться и в твоих интересах.

— Мне надо подумать.

— Подумай минуты две.

— Там же охрана?..

— Они решат, что ты приехала с очередным любовником. Это ведь обычное дело, правда?

— С любовником в маске?

— Все это ерунда. Мне отлично известно, что в доме их нет. Они дежурят в пристройке над гаражом. Ты поговоришь с ними из машины, а она у меня с темными стеклами... Я и маску могу снять, если мы договоримся.

— Но, предположим, я все-таки не знаю, где тайник?

— Тогда я займусь выжиганием. У меня в детстве неплохо получалось на фанерке...

Язык пламени вновь вырвался из горелки.

— Раздевайся, а то сгоришь вся. Мне бы этого не хотелось.

Он встал, давая всем своим видом понять, что настроен весьма решительно. Ирэну охватил ужас, она прижалась к персидскому ковру на стене. Ей быхватило духа умереть сразу, но к мучениям она не была готова. У нее начались судороги в желудке и голова закружилась.

Вдруг в дверь позвонили два раза.

— Кто это?

— Мой телохранитель-японец,— соглашалась она. У Като были собственные ключи.

— Не ври, он придет позже.

— Не веришь, пойди открай. Он всегда звонит два раза.— Ирэна уцепилась за эту соломинку.

— Это будет слишком сложно,— задумался он, но присутствия духа не потерял.— У тебя же есть пистолет, верно?

Она хотела сказать правду, но что-то ей подсказывало, что нужно соглашаться.

— Нет. Откуда?

— Не хитри...— В дверь опять позвонили два раза.— Он у тебя в спальне, верно?

— Нет, нет.

— Не вздумай туда бежать... Ладно, не будем спешить. Мы еще вернемся к этому разговору. Ты уже поняла, с кем имеешь дело, и я уверен, будешь молчать, как рыба... Я уйду, а ты потом откроешь ему. Ведь ты спала, правда?

Он спокойно, не торопясь, спрятал орудие пытки в сумку. Велел с ним идти в прихожую. Там надел куртку и заглянул в глазок. Ирэна покрылась холодным потом.

Он внимательно осмотрел маленький силуэт за дверью. Короткая стрижка и мальчишеская фигурка убедили его.

Они вернулись в гостиную. Ирэна не понимала, что он собирается делать.

— Если сразу побежишь открывать, пристрелю. Сиди как сидела. Это выгодно и тебе, и мне,— рассуждал он и, казалось, медлил. Ирэна молила Бога, чтобы

звонки продолжались, и Господь, кажется, слышал ее мольбы.— Если японец попытается преследовать меня, я тебя все равно потом застрелию или лучше повешу, как кошку, хотя и терять деньги мне будет жалко. Запомни: у меня принципы. И они мне дороже всего остального...

Двойные звонки уже почти не прекращались.

Он открыл дверь на лоджию — морозный воздух проник в помещение, приподнял пожарный люк, спустился на этаж ниже, выбил балконную дверь, и, пройдя мимо побелевших от страха жильцов, вышел в подъезд и скрылся.

Никто из нижней квартиры и не подумал заявлять в милицию. Так было спокойнее.

— Иэн, ты что — спала? — спросила популярная тогда актриса и прирожденная travesti.— Смотри, вся мокрая. Я тебе говорила: никогда не укутывайся во сне... Ты спала или нет??!

— Немного вздрогнула.

— А мне привезли французского бульдога. Дай, пожалуйста, сто долларов.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава двадцатая

Сын сталинского литературоведа

При Иосифе Виссарионовиче Станислав Иванович Пыжин был главным литературоведом страны.

Когда ему стукнуло семьдесят пять, профессор женился на двадцатипятилетней аспирантке с собственной кафедрой. Людмила Викторовна была его четвертой женой. От их счастливого брака через месяц после смерти генералиссимуса появился на свет Павел.

Последовав вскоре за вождем, Станислав Иванович оставил молодой вдове и ребенку четырехкомнатную квартиру — немыслимую роскошь по тем временам, а также библиотеку, пожалуй, одну из лучших среди частных в Москве. Занимала она помещение площадью в пятьдесят квадратных метров.

Людмила Викторовна защитила кандидатскую диссертацию по творческому наследию покойного супруга, а затем впала неожиданно для многих в «опрощение», в крайнюю форму толстовства. Летом она ходила в сарафане, зимой — в валенках, а порой — даже и наоборот, питалась хлебом, кашей и щами. Но, несмотря на подобные странности, а может, и благодаря им, ее пригласили читать лекции по русской литературе в Сорбонну. К всеобщему удивлению, высшие власти разрешили дали, что тогда не имело precedента.

С каждым годом Людмила Викторовна Пыжина появлялась в России все реже и реже и к моменту нашего повествования уже окончательно обосновалась на берегах Сены.

В детстве Паша был ангелочком — курчав, белокур, синеглаз. У мальчика рано обнаружились



музыкальные способности. Его показывали сперва Хренникову, потом — Таривердиеву. Оба талант обнаружили, но до консерватории дело так и не дошло.

В середине шестидесятых Павел снялся в одном из немногих выдающихся отечественных фильмов и симпатично сыграл небольшую роль.

В начале семидесятого года одна из обманутых им любовниц опустила Павлу во время сна на левую половину лица раскаленный утюг. Ужасный ожог придал его облику романтическую мужественность.

С Алексеем Гребешковым они были друзьями детства. По даче в Кратово.

Павел Станиславович жил за дубовой дверью, которую лет десять назад покрасили масляной краской в коричневый цвет.

Анисимов крутанул звонок, из которого вырвались хрюк и скрип. Внутри послышалось шуршание, сопровождавшееся падением тела, стонами и проклятиями. Наконец дверь приоткрылась на четверть. Сева ударил в нос непередаваемый тошнотворный запах. В проеме появился согбенный, с седыми немытыми космами и бородой человек. Дорожку света, проникшую в коридор, спешно покидали тараканы. Они бежали по некогда паркетному полу, превратившемуся в землянку.

— Чего вам? — спросил Паша, оскалившись и показывая на удивление ровные крепкие зубы.

— Я по поводу Гребешкова, — сказал Сева, борясь с отвращением.

— Случилось что с ним? — В вопросе не содержалось никакого любопытства.

— Умер. Вы разве не знали?

— Вот засранец, обещал денег дать,— беззлобно, но мрачно констатировал Пыжин.— А у вас выпить не найдется? — спросил он вдруг, и в глазах появился какой-то отблеск надежды.

Анисимов достал из дипломата заготовленную бутылку. Справки-то наводились. Увиденное Пыжина взволновало, и он сказал:

— Проходите.

Если бы не очевидные следы разрушения, то могло бы показаться, что квартира подготовлена к ремонту. Мебели не было почти никакой, кроме старого дивана с воронками от гашеных сигарет да обрызганных белилами козел и табурета. Не было даже плиты. Папа ее продал за бесценок совсем недавно. На кухне Анисимов уселся на широкий подоконник у раскрытой форточки.

Без закуски Пыжин выпил всю бутылку, и водочная энергия перешла в болтливость. Он стал путанно рассказывать, как ему жилось раньше. Потом намекнул, чтобы Анисимов сходил за новой порцией. Сева обещал.

Заметив на лице сыщика брезгливое выражение, Павел принял оправдываться:

— Я ведь буквально ползаю в запое... Для меня унитаз, что для вас Эверест. Именно так... Чаще всего ходишь под себя. Именно так.

Он вздохнул. Казалось, это действительно его огорчает.

— О каких деньгах вы говорили? Что вам обещал Гребешков?

— Я хотел поехать к маме во Францию. Лечиться. Именно так. Леша сказал, что купит билет и все такое. У вас закурить не найдется?

— Не курю.

Пыжин пошарил среди мусора и обнаружил растоптанный окурок, раскурил его и, сделав несколько затяжек, бросил обратно на пол.

— Вы полагали, что он обязан вам помочь?

— Это длинная история. Я расскажу в двух словах. Гребешков приглашал меня в «Зеленую скворочку». Так между собой мы называли одно модное кафе. Алексей бросил институт и начал создавать свою легенду, а я-то уже был известным человеком, меня узнавали на улице. Именно так.

— То есть вы каким-то образом помогли Гребешкову сделать карьеру?

— Именно так... Я писал кое-какую музыку для себя. Никуда не ходил, никому не показывал. До тридцати лет я сочинил... — Пыжин задумался,— до двухсот небольших композиций. Именно так. Алексей, пожалуй, был единственным моим слушателем. Жаль, нет рояля... Может, что и украл, откуда мне знать?

Павел недоуменно пожал плечами.

— Как же вы не знаете? Шлягеры Гребешкова широко известны.

— А у меня нет ни радио, ни телевизора.

— Хорошо, а сам он вам никогда не играл и не пел?

— Никогда. Именно так. Для него это была работа. О работе мы не говорили. О деньгах — да. У него их было, наверное, много. Именно так.

— И все-таки, чтобы ничего не знать о творчестве Гребешкова, надо быть Робинзоном Крузо.

— А я же вырубился после тридцати.

— Не понял?

— Сел на иглу. Именно так... Голубок меня снял. Год назад. Чуть было не подох из-за этого педераста проклятого. Водка почти не помогает, глушишь ее почерному и хоть бы что...

— Кто такой Голубок?

Павел опять пожал плечами.

— Как его разыскать?

— О таких вещах не говорят.

— Вы пользовались шприцем?

— Чаще всего. Иногда травку курил. На порошочек «гринов» нема. А в водочку его насыпешь или в холодный чай — ништяк. Я раз попробовал и, извините, без штанов побежал в магазин за пивом. Потом в легавке рассказали. Ничего ведь не помнишь, дурешь, но весело...

— Некоторые уверяют, что Алексей не пил. Это правда?

— Никогда при мне не выпил ни капли.

— Могли его убить?

— Именно так. Точно убили.

— Откуда такая уверенность?

— А мне Вольф Мессинг говорил, когда еще был жив... А тебя, дурака, это он мне говорит, утопят как пить дать, в канализации. Вот и поглядим.

Он захихикал с придурковатым видом. Хитринка была в глазах, как у Ильича.

— Может ли наркотик сразу свалить человека с ног?

— Хорошая доза «синтетики» вырубает за десять секунд.

— Голубок доставал синтетические наркотики?

— Именно так... За водочкой сходите?

Сева кивнул. Пыжин вновь повеселел. И вдруг принял насиживать мажорную вариацию «Рождественского блока».

— Что это такое вы насиживаете?

— Так, вещица одна... Я ее назвал «Осень в парке»... О состоянии души. Мелодия вообще-то звучит вот так...

Выслушав про Пыжина, Жолтер посоветовал Севе еще раз съездить в «Золотой лотос». Там Анисимов спросил у Царицы, не знает ли он человека по кличке «Голубок».

Костя завздыхал, заерзал, захныкал.

— Голубок — это я,— признался он голосом только что покинутой женщины.— Это один из моих псевдонимов.

— Не намекал ли Гребешков, что нужно расправиться с Зоей?

— Намекал... Он предложил мне ее убрать. Я ее и убрал из «Лотоса»... Запачкать девочку было выше моих сил. Я по своей природе, Всеволод Никитич, гуманист.

Глава двадцать первая Появляется Вова Штраус

— Миша, это Вова Штраус.

Пончиков не видел его пятнадцать лет.

— Куда ты пропал? Что случилось?

— Это не телефонный разговор... Я уезжаю... Ты помнишь Сергея?

— Какого еще Сергея?

— Ганьского. Был такой переводчик у нас на Пятницкой.

— Помню... поехал отдохнуть, и его выкинули из электрички под Ригой...

— Понимаешь, он оставил мне рукопись. Я снял копию для тебя. Он заранее предвидел все, что с ним случится.

— Прошло столько лет. Вряд ли я чем-нибудь смогу помочь.

— Понимаешь, он как будто точно знал...

— Вова, о чём ты говоришь? Мне очень жаль этого странного парня, но прошло, наверное, двадцать лет. Зачем ты уезжаешь? Теперь, когда столько возможностей...

— Это мой долг в каком-то смысле. Это касается Гребешкова, Ирэны. Понимаешь, будто мне кто-то свыше сказал: отнеси рукопись Пончикову перед тем, как уедешь.

— Прямо с указанием фамилии?

— Не остри, ради Бога. Я к тебе зайду, ладно?

Пончиков, Фофлачев, Григорович и Штраус появились на Московском радио в начале семидесятых — Ирэна пришла несколько позже. Это было новое поколение не веривших ни во что людей. Держались на первых порах вместе. Огненно-рыжий Вова Штраус отличался от своих товарищей неиссякаемой энергией, веселостью, постоянным желанием все исправить и переделать.

Он был кладезем идей, но дела его шли не блестяще. В основном из-за фамилии. Начальство рассуждало примерно так. Ну вот диктор объявляет: «Только что вы прослушали вальс Штрауса. А теперь — репортаж Штрауса с ВДНХ. Включаем павильон свиноводства».

Ему было предназначено судьбой вечно оставаться за кадром, за эфиром, создавать то, чем пользовались другие. Но он, казалось, не унывал.

Тут еще появилась Ирэна — лаборантка из технической службы по обеспечению передач. В одночасье она стала предметом всеобщего преклонения и обожания.

Вова Штраус, зная, что ни на что не может претендовать, взял на себя роль ее оруженосца, посыльного, слуги. Она снисходительно принимала ее.

Сверху, из иновещания, к ним изредка спускался Сергей Ганьский. Это был сорокалетний седовласый, не лишенный привлекательности человек. Он былдержан и молчалив. Ганьский приходил играть в шахматы со Штраусом, у которого был разряд. В отличие от других Ирэну он не замечал, не интересовался, кто такая и откуда.

В общем-то Сергей Ганьский и не запомнился бы никому, если бы не его нелепая по тем временам гибель. Да, кроме того, если бы Штраус не рассказал о нем кое-что весьма странное. Незадолго до смерти Сергея Вова сидел с ним в пивной, и тот утверждал, что якобы принадлежит к старинному польскому аристократическому роду, породившемуся с Наполеоном. Его предки будто бы владели обширными латифундиями в Прибалтике, и он — потомок Бонапарта — мечтал вернуть себе былое могущество. Вова поверил, Вова говорил потом, как можно не поверить такому серьезному и умному человеку, каким был Сергей. А откуда тогда его знание французского в совершенстве? — спрашивал он. Ведь Ганьский никогда не выезжал за границу.

Их окружала душная, влажная, грязная обстановка

пивной. Ганьский находился в особенно мрачном настроении и после долгих колебаний передал Вове папку с рукописью.

Глава двадцать вторая Из рукописи Ганьского

...В день своего сорокалетия он, как всегда, в половине девятого прошел мимо милиционера и увидел группу людей, стоявших к нему лицом. Это означало только одно: кто-то умер. На колонне в вестибюле вывешивали увеличенную фотографию покойного и под ней на листе ватмана — некролог.

На фотографии был изображен он. Сердобольные уборщицы, приходившие раньше всех, вздыхали: ах, какой молодой! Сотрудники то ли иновещания, то ли «Маяка» поясняли, что поехал отдохнуть в Юрмалу, добирался до взморья поздним вечером, и его выбросили из электрички в пролет моста...

На него, живого, никто не обратил внимания. И он подумал, что будет еще большим безумием протестовать или вступать сейчас в полемику.

Вот и некролог. Сергей Болеславович Ганьский. Даты рождения и смерти. Ха-ха, они отодвинули сегодняшний день на шесть месяцев вперед.

В результате несчастного случая безвременно ушел от нас очень хороший и порядочный человек. Благородство его было природным. Будучи блестящим знатоком французского языка и литературы, он не думал о карьере, не занимал ответственных постов...

Он решил поразмышлять об увиденном и услышанном на досуге — в любом случае листок и фотокарточку снимут через два часа — и направился мимо лифтов в кофейню. Если он надеялся, что все человечество только и думает о нем, то ничего подобного: никто и слова не сказал. Там стояло человек десять. Он занял очередь за стройной молодой женщиной с золотистыми пышными волосами до плеч.

Он несколько раз с удовольствием взглянул на нее, забыв даже на время про дурацкий некролог.

Конечно же, он видел ее и раньше, но как-то не обращал внимания. И неудивительно, здесь хватало привлекательных и хорошо одетых женщин.

Он отправился на службу, намереваясь в шутливой форме отвергнуть обвинения в своей преждевременной смерти. Но никто ни о чём не спросил и никто его появлению не удивился. Самому же поднимать эту тему было просто глупо. Через полчаса он спустился вниз: портрет и некролог исчезли.

Ему пришло в голову два варианта: либо это розыгрыш каких-то неумных людей, каковых везде хватает, либо это было временное помешательство, галлюцинация. Видимо, умер кто-то другой, а он возомнил. Но спросить о том, кто же все-таки сегодня умер, он не решился.

...С ней он встретился на том же месте примерно через месяц. Было первое января. Самый его любимый день. Ему нравилось первого января дежурить. В здании почти пустынно.

Часов в двенадцать дня он зашел в кофейню. Там, в этой небольшой кафешке с зеркальными стенами, из посетителей была только она одна. Их взгляды встретились. Как она была хороша и печальна! Это судьба, решил он. Но какая же судьба, если ничего нельзя изменить? Это были праздные мысли, бесконечные, бесполезные мысли...

Праздником было увидеть ее, где-нибудь подкараулив и через несколько секунд уйти в полном блаженстве, в полном счастье на целый день вперед. И ведь неглупый человек, но забросил все свои дела.

У него появились сумасшедшие планы сказочно разбогатеть. Подать, например, в Гаагский международный суд и вернуть прибалтийские земли или разыскать заграничных родственников и добиваться своей доли наследства.

Он постоянно думал о ней и даже лишился сна.

...Но гордьня, болезненное самолюбие, как ему думалось, стояли между ними стеной. Он страшился раскрыть ей свои чувства, ибо считал, глупец, что это унизит его. Ему было страшно разрушить чудесный сон, который был лучше всякой яви. Он боялся, что не перенесет ее пренебрежительного удивления...

Прошло два месяца его тайного безумия. Он ревниво выискивал соперников. Не говоря уже о пустом красавчике Фофлачеве, наглом Григоровиче, пошлом Пончикове, он подозревал даже некрасивого простодушного Штрауса. И уж по крайней мере завидовал им. Они могли запросто с ней сходить пообедать и даже не осознать своего величайшего счастья.

Он стал приидчив к ней. Когда однажды он увидел Ирэну в сильно декольтированной блузке, то мысленно обругал ее дурой...

После работы он бродил как слепой часами по Москве.

...В Ригу он приехал в начале мая. Денег у него не было на обратный билет. Конечно, он мог бы их раздобыть, но не хотел. Он решил, что уже не вернется. Он не взял с собой никаких вещей. У него был план, но согласитесь — абсолютное безумие ехать за тысячу километров, чтобы покончить со всеми вопросами...

С вокзала он направился в центр города. Он брел, ничего не замечая вокруг, мимо старинных зданий, которыми некогда любовался, мимо всего того, что должно было вызывать в нем приятные воспоминания.

Как-то механически, не задумываясь, он зашел в полупустынное полутемное кафе. Ему дали тарелку с традиционным блюдом: черный вареный горох с жареным луком и копченой ветчиной. Он жевал без аппетита и, не вникая в смысл, слушал разговор рядом стоявших.

— Удивительно, но здесь самоубийств совершаются больше всего.

— Что же тут удивительного?

— Они умеют жить и живут лучше многих других, особенно русских.

— В том-то и дело. Человеку нужно ежедневно бороться за кусок хлеба, тогда у него не будет праздных мыслей.

— В вечерней газете я прочитал, что этот район находится под особым наблюдением.

— Кого же?

— Инопланетян.

— И вы верите в подобную чушь?

— Но есть очевидцы. Видели их летательный аппарат. Говорят, что здесь какая-то аномальная зона. Вот они ее и облюбовали...

Он заглянул на рынок цветов. Их было еще не так много. Торговали в основном рассадой, луковицами тюльпанов. Старая торговка умоляла взять букетик ландышей. Казалось, она готова встать на колени...

И вдруг он увидел, как в лице этой старой женщины проступают черты Ирэны.

Он бросился бежать со всех ног...

День был погожий и солнечный. Очнувшись на площади у Домского собора, он немного успокоился. Как раз начинался концерт старинной музыки. Билет стоил дешево, и он решил сходить в последний раз.

Божественные звуки органа напоминали о мелочности повседневного, бесполезности гордыни, тщеславия и алчности. Белокурая помощница перевертывала нотные листы органисту. И ему опять почудилось, что это — Ирэна...

На улице солнца уже не было, накрапывал дождь. Стемнело. Темными сырьми переулками он возвращался к вокзалу. Наконец он добрался до пригородного перрона. Электричка шла в Слоку. Платформа хорошо освещалась, и моросящие дождочки выплывали из темноты, будто крохотные серебряные жучки. Он подошел к тому месту, где, по его расчетам, должен был остановиться последний вагон. Здесь он стоял абсолютно один. Он не испытывал ни малейшего сожаления, ни малейшего желания вернуться назад.

Задние двери последнего вагона распахнулись перед ним, и никто не вышел. Он стал подниматься и на ступеньках обнаружил бумажник из хорошей кожи, вздутий от переполнявших его денег. Он перешагнул через него без сожаления и усился у окна. Ему было видно, как какая-то девица в короткой юбке, зашедшая в вагон после, засовывала бумажник в сумочку.

Она была хороша и казалась податливой. Он смотрел в окно, давая всем своим видом понять, что она его не интересует.

Они находились одни в вагоне. Кругом была непроглядная ночь. Дождь усилился. Море было где-то позади и справа. Он так и не увидел его.

Переехали мост. Он физически ощутил, что пора выходить на следующей остановке.

Лес обступил его со всех сторон. Он знал, что это всего лишь полоса сосен метров в двести шириной. Одинокий фонарь раскачивался над железнодорожной кассой. Дул шквальный ветер, нестерпимый холод набросился на него. На нем была лишь легкая куртка, захватить зонтик с собой он посчитал неуместным. Вдруг что-то теплое прижалось к нему. И в отблеске фонаря он увидел ее огромные темные глаза.

— Пошли со мной. — Это был ее низкий голос. — Я знаю здесь одно сухое и приятное место. Пошли, так будет лучше...

Странная улыбка была на ее лице. Она говорила ласково и рассудительно.

Он раздраженно отбросил ее руку и сказал:

— Я конченый человек, моя милочка. Идите домой, уже поздно.

Он решительно зашагал прочь, миновал железнодорожное полотно, углубился в сосны. Там было кладбище, где лежали его предки. Ветер не унимался, холодные мокрые ветви били по лицу. Вскоре по дорожке он вышел к небольшой старой часовне. Он не мог вспомнить: то ли нужно идти прямо, то ли за часовней следует свернуть налево. За часовней он увидел силуэт девушки из электрички, она пошла налево. Он избрал прямой путь и вскоре вышел к мосту.

Мост уже не охранялся, видимо, утратив стратегическое значение для умирающей супердержавы. Промокший, продрогший до костей и совершенно безумный, он вышел на середину. Внизу протекала широ-

кая, но неглубокая река. Из воды торчали темные гладкие макушки валунов. До поверхности воды было метров десять. На долю секунды он заколебался, ощущив всю нелепость своего поступка с точки зрения здравого смысла или глобального обмана, который называется здравым смыслом. Но в ту же секунду ему так захотелось домой. Отсюда — домой. И, захмутив глаза, он прыгнул вниз...

Соприкосновения с водой он не почувствовал. Ему показалось, что его поймал какой-то наэлектризованный батут. Он потерял сознание...

Когда он очнулся, его окружало сухое, теплое и темное пространство. Три женщины в длинных серебристых одеждах приближались к нему. Каждая на ладони держала по шарообразному фонарю. Будто три луны или три солнца несли они перед собой, ибо яркость этих фонарей менялась на глазах. Ему было приятно и уютно. Они окружили его, и он знал, что это те, которых принято называть Верой, Надеждой и Любовью.

Они исчезли, и перед ним появилась Ирэна в таком же серебристом одеянии. Он полулежал в мягком удобном кресле, которое, казалось, висело в воздухе. Она протянула ему чашечку с дымящимся напитком.

— Это взбодрит, — сказала она своим низким, глубоким голосом, сводившим его с ума там, откуда он пришел.

— Что это за божественный напиток?

— Кофе с молоком. Лучше пока нигде и ничего не придумано.

Ирэна отошла, взяла такой же необычный фонарь, как и у тех женщин, и стала от него зажигать другие светильники. Становилось все светлее, а она шла по кругу, зажигая все новые и новые огни.

— Приготовься, с тобой будут говорить те, кто уполномочен говорить, — таинственно сообщила она.

— Тебе не удалось меня обмануть, — сказал он. — Я разгадал.

— Я должна была тебя удержать и увести от запретных вопросов, но у меня не получилось. Прости.

— Но зачем?

— Мы опасаемся таких людей... И поощляем других. С нашей помощью они всегда будут преуспевать...

— Я спрашиваю тебя о другом: почему мне нельзя было прийти сюда, почему ты не хотела, чтобы я приходил сюда?

— Ты узнаешь об этом позже...

— Есть ли рай и ад, Ирэна?

— Разумеется. Ты из последнего только что вернулся домой.

— Что же с тобой станет? Во что ты превратишься?

— Успокойся, ты не будешь разочарован. В свет...

— Когда они придут?

— Скоро. Но у нас еще много времени впереди. Целая вечность.

Глава двадцать третья Годовщина смерти

Тот, кто помнит годины Алексея Гребешкова, вынужден будет согласиться, что зрелище это было удручающее. Дина Петровна заказала стол в одном из самых дешевых и вульгарных ресторанов. Находился он на втором этаже правого от здания МИД корпуса

отеля «Белград». Отель был буквально оккупирован смуглыми бритоголовыми мальчиками в черных кожаных куртках и такого же цвета рубашках или водолазках. Они всем своим видом демонстрировали, кто заказывает музыку.

Дину Петровну предупредили о возможных неприятностях, и для подстраховки она пригласила на вечер трех гэбэшников, с которыми Алексей, когда был не занят, играл в преферанс в спецномере «Метрополя». Для Гребешкова это была не только возможность получать доллары в случае удачи, но и продуманная линия. Подобные картечные сходки поощрялись на Лубянке, поскольку в непринужденной обстановке легче следить за иностранцами. Кроме того, своим авторитетом Алексей усиливал правдоподобность картечных застолий, и это, несомненно, шло ему в счет. Для Гребешкова не существовало мелочей, ибо он, как и большинство карьеристов, считал, что они важнее главного.

Узнав, что мероприятие будет проходить в «Белграде», многие знаменитости отказались от участия в нем: самые богатые люди предпочитали ресторанам частные кафе, где было безопасней, интимней да и готовили получше.

Отец знаменитого шансонье Георгий Иванович тоже отсутствовал. Накануне он срочно отбыл с визитом в Японию во главе делегации отечественных промышленников. Зато других родственников хватало.

Местные ресторанные рок-музыканты кое-что знали из Гребешкова, но мелодии искали, а тексты перевириали. Постепенно и незаметно мероприятие переросло в заурядную попойку с битьем посуды и возгласами: «Ты меня уважаешь?»

Уже было одиннадцать, когда Жолтер как раз и подсед к столу. Валя Фофлачев подошел к нему с наполненной рюмкой. Эдуард Васильевич помянул и сказал:

— Валентин Борисович, я хотел сообщить вам, что о возглавляемом мною частном агентстве вы подчас даете информацию в «Коммерсанте» и в этой связи иногда у нас бывают неприятности.

Тот был уже изрядно пьян и поэтому не пуглив.

— Сейчас каждый зарабатывает, как может, — рассмеялся он беззаботно. — Денег не хватает всем. И вы сильно ошибаетесь, если думаете, что на телевидении платят миллионы. Для нормальной жизни единственный выход — уехать за границу. Я сейчас прорабатываю эту идею.

— Что ж, желаю вам успеха. — Жолтер собирался направиться к Ирэне, но Валентино (это прозвище прилипло к нему на «запасном телеканале», куда он перешел с «Маяка») остановил его.

Он достал сигарету, задумчиво закурил. Держался он всегда прекрасно при любом количестве выпитого.

— А если серьезно, Эдуард Васильевич, я давно интересуюсь вашей работой и, возможно, сниму о вас фильм, если вы не будете возражать. Я, кстати, уже обсуждал эту проблему с Мишой Пончиковым.

— Я подумаю... Знаете, вот что я забыл спросить: что вы можете мне сказать о Сергее Ганьском?

Валентино поморщился.

— Я с ним не был знаком. Он, кажется, покончил с собой. Возможно, его лучше знала Ирэна. До Гребешкова после техники связь она работала у нас на радио на записи, так что по роду деятельности общалась со многими людьми...

— Спасибо за информацию. Надеюсь, еще увидимся.

— Буду рад.

Жолтер занял освободившийся рядом с Ирэной стул. Вокруг было уже много свободных мест. Некоторые отправились домой, другие начали танцевать.

Эдуард Васильевич передал ей рукопись Ганьского. Они договорились, что на следующей неделе Жолтер зайдет обменяться впечатлениями.

Глава двадцать четвертая Разговор с Ирэной

— Неужели вы решили, что я общаюсь с иными мирами и прилетела сюда на серебряном яйце, которое зависло над Ригой?

— Как знать...

— Не кажется ли вам, что у этого человека было не все в порядке с головой?

Жолтер промолчал.

Они находились в просторной, обитой дубовыми панелями гостиной с белым камином. Ирэна сидела в глубоком кресле в нише под картиной. Полотно было стилизовано под старину. Из окошка золоченой кареты выглядывала дама в белом парике. Мужчина в камзоле, панталонах и со шпагой на боку в полуප්‍රක්‍ලොне собирался открыть дверь. В персонажах картины легко угадывались сама Ирэна и покойный шансонье. Жолтер расположился напротив на огромном диване, обшитом малиновым атласом. Спинка дивана была высокой, резной, овальной. Рядом с Жолтером лежала в папке рукопись, которую Ирэна возвратила.

Дважды в гостиную заходил японец-телохранитель. Он улыбался по-азиатски одним ртом и бросал цепкие взгляды в сторону Эдуарда Васильевича. В первый раз Като принес чаю, а во второй — забрал у Ирэны пепельницу.

— Все это, конечно, сплошной вымысел и бред,— продолжала она, отложив вязанье на журнальный столик.

— Но все-таки он фактически предсказал свое самоубийство?

— Предсказать собственное самоубийство несложно. Но кто сказал вам, что это было самоубийство?

— Валентин Фофлачев.

— Наверное, это ему Вова сказал, прочитав рукопись.

— А что же было на самом деле?

— Насколько я знаю, он ввязался в драку, кого-то там обидели... и его выкинули с поезда в пролет моста... Он был человек крайне раздражительный и, как я вам уже сказала, не в себе... Все это ужасно... — Она вновь закурила.

— Фофлачев мне говорил, что вам действительно лучше известно об этом. Почему он так решил?

— Ну, видите ли, Сергей ухаживал за мной. Я не ведьма какая-то, когда человек к вам относится так, то его судьба в какой-то мере вам небезразлична.

— А как вы к нему относились?

Ирэна загадочно улыбнулась, поглядела на часы с массивным золотым браслетом.

— Я с ним была едва знакома... Когда видела его в коридоре, пряталась...

— Он был вам неприятен?

— Не то, чтобы... У меня практический склад ума. Я навела справки. Сергей был женат. Сейчас у него

сын уже поступил в университет. Я в то время познакомилась с Гребешковым, и было ясно, что его ожидает блестящее будущее... Сергей же никогда ничего не мог добиться в жизни... Но мне до сих пор непонятно, какое отношение все то, о чем мы сейчас говорим, имеет к расследованию?

— Прочитав рукопись, я пришел к выводу, что некоторые тексты Ганьского Гребешков, возможно, использовал. Это не есть очень хорошо. — Последнюю фразу Жолтер произнес с немецким акцентом.

— Я вас попросила найти убийцу Алексея. Не кажется ли вам, что мы отклоняемся?..

— Не думаю. Ведь это каким-то образом связано. И я почти уверен, что вскоре в этом убедитесь и вы сами. Итак?..

Жолтер замолчал, ожидая, что ответит Ирэна.

— После смерти Сергея Штраус принес какие-то его стихи и попросил Алексея помочь напечатать. Аleshya был уже достаточно известен и мог повлиять на это дело. Действительно, два или три стихотворения удалось напечатать в «Юности»... Остальное, что не взяли, Гребешков пустил в дело. Часть продал. Кстати, Вяземская кое-что взяла себе. В нашей среде это обычные вещи. Может, я чего-то не понимаю, но я не вижу тут особо криминального мотива. Жене Сергея я передала денег значительно больше, чем было заработано.

— Но гонорары до сих пор приходят?

— Сам Ганьский не смог бы и копейки получить... Григорович в курсе и пытался меня шантажировать. Но мне абсолютно наплевать, что будут думать обо мне или Гребешкове. Я ни у кого ничего не крала, а Алексей никого не убивал...

Жолтер глубоко задумался, а потом сказал:

— Можно мне съесть вон ту шоколадку?

В выражении его лица было что-то по-детски забавное. Ирэна машинально протянула ему плитку, которая лежала на столике рядом с вязаньем.

Глава двадцать пятая Элементарно

В понедельник в конторе было очередное чаепитие. Обсуждались текущие дела, которых накопилось немало. Тут были и похищения членов семейств нуворишей, и шантаж должностных лиц, и загадочные убийства без очевидных мотивов, и использование новых религиозных культов в целях обогащения. О Гребешкове не говорили.

И, когда уже собирались расходиться, Анисимова вдруг осенило:

— Если существует тайник, значит, кто-то его строил. Это же элементарно!

Его открытие вызвало лишь снисходительную улыбку: мол, Жолтер лучше знает. Но через пару минут позвонил сам Эдуард Васильевич.

— Леночка, позовите Анисимова, — услышали они через динамик. — Сева, я думаю, вам пора заняться тайником. Надо бы разыскать тех, кто его смастерили. Поезжайте сегодня же в дачный поселок, но только не обсуждайте эту тему с гребешковской охраной. Помсмотрите там на месте, поищите вокруг.

Дача находилась за железными воротами и двухметровым забором из желтого кирпича. Трехэтажное здание в глубине участка напоминало в миниатюре

французское посольство, что расположено недалеко от Октябрьской площади.

Напротив стояла перекосившаяся, сколоченная из щитов лачуга, где жили сторожа дачного поселка. Их было трое, и каждый дежурил по неделе.

Анисимов взошел на крыльцо и постучался. Ему открыл перепуганный мужчина лет пятидесяти. У него было лисье лицо.

— Анисимов, частный детектив из службы Жолтера.

— Терлецкий — бывший историк. За нами наблюдают из окна постройки над гаражом. Пройдемте внутрь.

Они прошли в хибару. Терлецкий поставил на закопченную русскую печь сумрачный от сажи чайник.

— Почему — бывший, уволили? — поинтересовался Анисимов.

— Нет, разочаровался.

— Что так?

— Видите ли, традиционная история со временем, наверное, Моммзена — сплошной обман. Она пытается отыскать логику, здравый смысл там, где их никогда не было... Да, впрочем, в сторожах спокойно платят, и никто не мешает серьезным занятиям. Посмотрите, как я оборудовал свой кабинет.

У каждого из сторожей была своя комната. Стены каморки Терлецкого состояли из сплошных грубо сколоченных стеллажей, заставленных книгами.

Они сели пить чай из алюминиевых кружек. Печка топилась углем, на кухне было жарко, а за окнами гулял холодный весенний ветер. После нескольких пустяковых фраз Анисимов наконец задал вопрос. Казалось, напряжение внутри Терлецкого ослабло, он успокоился.

— Не поверите, эту шикарную виллу от начальника до конца строили лишь два человека. Их давно здесь нет. Мне даже кажется, что Гребешков их и нанял с условием, что они исчезнут. Один из них — Николай Смит. Он сын американских политэмигрантов, приехавших сюда еще в эпоху Сталина. Наверное, и мать, и отец были настоящие коммунисты. Оба уже умерли. Николай собирался в Америку. Кто-то ему сказал, что в США коммунизма мало, но больше, чем в России... Парень с золотыми руками. Он и по автомобилям мастер, и каменщик, и пекарь, и плотник, и электрик. Необычайная по нашим меркам отзывчивость. Что ни попроси, сделает тебе бесплатно. Деньги у него не задерживались, выпивал с товарищами. Ну, потом он уехал то ли на Шпицберген, то ли на золотые прииски в Сибирь, а оттуда — домой. Больше о нем ничего не слышно... Гена Корнеев — афганец, трижды ранен, пять раз контужен, герой. Человек вспыльчивый, с изломанной судьбой. Собирался снова идти на войну... На днях — я был в Москве — звонил мне, расспрашивал про Французский легион. Ну что я ему мог сказать?..



— А из гребешковской охраны о них кто-нибудь знает?

— Нет, не думаю. Эти молодчики появились года два спустя, когда все было построено.

— Они у вас не спрашивали про строителей?

— Нет, они ни с кем здесь не контактируют. На машине приехали, на машине уехали. Ведут себя надменно, как бандиты или дураки.

— Одно другому не противоречит.

— Пожалуй... А если они меня будут спрашивать, зачем вы сюда приходили?

— Скажите, что я у вас намереваюсь устроить наблюдательный пункт за виллой... Да, и вот что, возьмите на всякий случай телефон нашей конторы...

Засунув руки в карманы плаща, Анисимов подошел к воротам. Справа на стене виднелся звонок. Сева нажал на кнопку. Со второго этажа гаражной постройки тут же спустился по внешней лесенке сорокалетний рослый красивый блондин в добром джинсовом костюме. На руках у него были черные кожаные перчатки. В воротах была дверца, он открыл ее.

— Что угодно?

— Я — Анисимов, из службы Жолтера.

— Очень приятно. Игорь Антипов.

Голос у него был какой-то гулкий, утробный. Звуки доносились, будто из пустой бочки.

— Ваш брат Василий находится в розыске?

— Брат за брата не отвечает, — хмыкнул он.

— Я хотел бы осмотреть помещение.

— Пожалуйста. Сейчас поднимусь за ключами.

В центре холла на тумбе стоял черный японский телевизор с двухметровым экраном. Под тумбой, кстати, находился люк в подземные апартаменты. Об этом

Анисимов знал от Ирэны. Но он заглядывать туда пока не собирался.

Расхаживая по роскошному дому с четырьмя каминными холлами, двумя спальнями, огромной столовой с темными стеклами на окнах, с большой библиотекой, кабинетом, курительной, бильярдной и даже гимнастическим залом, Сева ловил себя на мысли, что здесь настолько всего в изобилии, что у него не остается места для зависти. Завидовать можно тому, что сопоставимо с твоими возможностями, что и тебе может перепасть при удаче. И еще почему-то представилось, как в грядущие времена люди, которые и слыхом не слыхивали об Алексее Гребешкове, разбирают руины этого дворца и готовятся к новому строительству. Господи, кто бы чего ни предполагал и ни думал, такое будущее все равно наступит.

Жолтер позвонил Сергею Степанову из «Коммерсанта», и тот подтвердил, что в печати действительно появились сообщения о записи российских граждан во Французский легион. Запись якобы производят в Санкт-Петербурге.

Известный журналист, который работал тогда корреспондентом радио «Свобода», объяснил Эдуарду Васильевичу, обратившемуся за консультацией, что никакой записи быть не может, ибо, по уставу этой организации, оформление происходит только на территории Франции. Записывают добровольцев скорее всего на очередную кавказскую войну, заманивая красивым названием и посулами богатой жизни.

Анисимов вылетел в бывший Ленинград и разыскал Гену Корнеева в гостинице «Ладога», где был сборный пункт рекрутов.

Корнеев находился в критическом положении. На Кавказ он ехать не желал, ему нужно было в Париж, а туда не пускали. В знак протesta он напился, подрался и в буйстве проломил бутылкой, из которой собирался выбить пробку, стену в соседний номер.

Анисимов уладил дело с администрацией, заплатив штраф за нанесенный зданию материальный ущерб.

Они посидели с успокоившимся Геной в ресторане. Герою Афганистана исполнилось тридцать пять, а на вид не дашь и двадцати пяти — вихрастый задиристый мальчишка с острым носиком. Когда Анисимов изложил ему суть этой истории, Корнеев признался, что под бассейном в подвале Гребешкова было еще одно помещение.

Квадратная трехметровая ванна с помощью электродвигателя поднималась и поворачивалась только при спущенной воде, а под ней был люк в пятиметровый бункер с сейфом. Строился тайник с величайшими мерами предосторожности, работали по ночам и закладывали отверстие шифером и пенопластовыми плитами. Бассейн приводился в действие при помощи специального кодового набора: пять — три, пять — три. Пятого марта пятьдесят третьего года, то есть дата рождения Алексея.

Они устанавливали код сами, Гребешков не собирался ничего менять, потому что действительно в чем он не разбирался, так это в технике. И любые технические усилия в нем вызывали отвращение. «Когда помру, придете и все заберете отсюда», — сказал он тогда ребятам в шутку.

— Что вы дальше собираетесь делать? — поинтересовался Анисимов.

Корнеев ответил, не задумываясь:

— Пошабашу пока, перекантуюсь, а там — Коль-

ка Смит меня вытащит. Он вот-вот поедет, за год обустроится там, в Штатах, и пришлет мне вызов. А что я тут не видел, ей-Богу?.. Здесь уже ни у кого нет дома. Думаю, надо искать его в другом месте...

Глава двадцать шестая Иногда можно и посмотреть телевизор

В детстве Эдуарда Васильевича воспитывали в аскетической старобольшевистской манере. Несмотря на то, что семья принадлежала к высшим слоям общества, кормили его весьма скромно, одевали и того скромнее, игрушек у него почти не было. А главное, ему в отличие от других детей запрещали смотреть телевизор. Он страшно переживал, впадал в комплекс неполноценности, когда сверстники в школе обсуждали увиденное в «ящике», иногда привирал, что видел то же самое, боялся этой темы как огня. А потом привык обходиться без «чуда для идиотов» XX века, страстно полюбил книгу, много и упорно учился, всегда был отличником.

Однако, оставшись жить с бабушкой, Жолтер все-таки купил хороший телевизор просто для того, чтобы у него было то, чего он всегда был лишен. А Зинаида Ивановна грешила, особенно во время болезни. И подчас досаждала внучку назойливым пересказом передач.

Вот и теперь весенние сквозняки и аллергии оказали свое пагубное влияние, и Зинаида Ивановна слегла в постель. Эдуард Васильевич приготовил ей лечебный напиток по особому рецепту: стакан кипяченого молока, ложка меда, ложка соды и ложка сливочного масла. С дымящейся чашкой Жолтер поднялся в комнату к больной и застал ее за просмотром вечерних новостей. Вел их Валентино. У него был вид опытного плейбоя, произносил он самые обыкновенные слова с английским акцентом.

— Опять знакомые лица, — проворчал Эдуард Васильевич, подавая бабушке лечебный напиток.

— Нет, — возразила она, — днем у них другой читал.

В конце выпуска, этот момент как раз Жолтер и застал, Фофлачев сообщил, что подготовка к телемосту Бонн — Москва находится в стадии завершения и он надеется на следующей неделе вести программу уже из германской столицы.

Глава двадцать седьмая Покер

Жолтер дал команду снять охрану с дачи Гребешкова. Все охранники во главе с Игорем Антиповым дали подписку о невыезде и тут же скрылись, во всяком случае, пристройка над гаражом пустовала.

В «Коммерсанте» было помещено короткое сообщение следующего содержания:

«Дача покойного барда Алексея Гребешкова снята с охраны. Основные материальные ценности вывезены и будут через суд поделены между родственниками».

Прочитав об этом, Валентино сильно задумался.

На следующий день в неплохом настроении он из Останкина поехал на Пятницкую в отдел загранкомандировок. Он вылез из своего спортивного «форда» и впервые за все эти кошмарные месяцы улыбнулся самому себе. Сквозь тучи проглядывало солнце.

В отделе на втором этаже он повстречал известно-

го спортивного комментатора, собиравшегося лететь на регату в Австралию. Они договорились покутить после возвращения, пожали друг другу руки и разошлись. Инспектору, занимавшемуся его бумагами, Валентино подарил зажигалку и обещал на обратном пути из Бонна захватить какой-нибудь сувенирчик.

Голова все время работала. «Не уловка ли это — снятие охраны?.. Да нет,— успокаивал он себя.— Россия — страна идиотов. Никто и не сможет придумать такое...»

Спустившись в вестибюль, Валентино подошел к зеркалу, чтобы в очередной раз полюбоваться собой. Он посмотрел, хорошо ли уложены волосы.

И тут в поле его зрения попал совершенно изумительный, не поддающийся описанию зад. Он ощутил приятную волну возбуждения. Обладательница прелестного зада оказалась весьма недурна собой. Накинув пальто, она направилась к выходу. Валентино, выплюнув жвачку в урну, проследовал за ней.

— Вас подвезти? — приступил он к осуществлению привычной схемы.

— С удовольствием, — ответила молодая женщина.

Через минуту они уже сидели в машине, и ему даже удалось слегка прикоснуться к этому удивительному творению природы.

Однако мгновение спустя на заднем сиденье очутился здоровый мужик с бородой и косичкой. Дамочка представила его как собственного мужа — существа совсем безобидное, которое к тому же засыпает после второй рюмки. Это сообщение Валентино не очень убедило, и он уже собирался, как неоднократно проделывал в подобных ситуациях, сообщить, что сел аккумулятор. Но мужик с косичкой сказал, что их нужно подбросить совсем близко — всего-то к валютному казино, что у трех вокзалов.

Слово «казино» действовало на Валентино благотворно, и он включил мотор. По дороге малый с косичкой признался, что намерен поставить на кон пятнадцать зеленых штук, и для убедительности достал внушительную пачку долларов в целлофановом пакетике из-под импортных макарон.

Поразмыслив, Валентино заметил:

— Я бы не стал пускать на шарик такие деньги.
— А мне все равно, — ответил здоровяк, — сегодня просажу, завтра заработкаю еще больше.

— Не волнуйтесь, он у меня дефективный, — пояснила Леночка.

Валентино даже не обратил внимания на ее слова.

— А вы покер любите? — осторожно спросил он.

— Очень люблю, — простодушно ответил мужик с косичкой.

— Вы меня, конечно, знаете? — продолжал Валентино.

— Конечно, знаем, — хором ответили простоватые «супруги».

— Я плохого не посоветую. Шарик — несолидно. Вот покер — это и везение, и умение. Рулетку крутят одни бандиты и ракетчики.

— Это кто такие? — поинтересовалась Леночка.

— Рэкетиры. Помните, у меня сюжет был?

— Помним, помним, — ответил теперь Толя за двоих. — Мы очень даже не против, если у вас есть желание. Мы с вами перебросимся в покер, а женулька моя крутанет по маленькой.

Они подъехали к заведению и, заплатив по десять долларов, прошли внутрь.

Народу было немного, дело происходило в полдень. В баре они наскоро выпили по две рюмки коньяка, но малый с косичкой и не думал засыпать, а вот его очаровательную спутницу довольно-таки разморило.

Сели за зеленый стол в углу и распорядились принести две нераспечатанные колоды.

Хозяина заведения, если вы помните, звали дядя Юра, за сходство с известным партийным чудаком. Это был настоящий пахан, и вся местная валютная шпана ему беспрекословно подчинялась. Он и бровью не повел, увидев Сулашкина в компании с Валентино.

Ближе к вечеру дядя Юра стал подходить к столам и вкрадчивым голосом давать наставления типа: «Сашенька, я бы тебе посоветовал не зарываться» или «Вася, а тебе пора уколоться, видишь, как тебя ломает, дружок».

Анатолий поначалу проигрывал, хотя Жолтер, составлявший накануне гороскоп, был уверен в победе. Играли не очень крупно: у Валентино было всего с собой две тысячи командировочных. Потолок не превышал ста зеленых.

Сулашкин делал вид, что в игре разбирается мало, и, раскрываясь, уточнял, у кого какая комбинация.

— У вас как называется — фул?.. А у меня, значит, флешь... У меня две пары, а у вас одна.

Постепенно Толя стал раздражать Валентино своими дурацкими вопросами.

— У вас какая фигура?

— Тройка.

— А у меня, кажется, стрит. Моя будет посильнее.

Когда, скажем, Валентино подбирал такую сильную фигуру, как каре, у проклятого малого, как у фокусника, на руках оказывалась флешь-роиль. Валя стал горячиться и блефовать, в чем всегда видел свою силу, но на этот раз и этот прием не удавался. Его сопернику так перла фишку, что всякие ухищрения становились бессмысленными. Они согласились поменять колоду, но и это не помогло.

К вечеру Валентино играл в долг. Но, когда дошло до пяти тысяч, малый продолжать наотрез отказался.

События разворачивались в нужном направлении, и в тайниках души Валентино это осознавал, решимость его росла.

Сейчас или никогда он поедет на дачу Гребешкова! Ключи у него в кармане, захватит с собой этого придурка и его бабенку. Это даже какое-то прикрытие. Ирэна же сама говорила: приезжай, когда захочешь. Деньги можно будет взять и переложить в багажник. Ну, сколько их там? От силы пять лимонов. Да, навскидку пять. Видела деньги только Зоя, и то однажды, пересчитать даже не успела. Подсыпала Алексею немного наркотика, и он в приступе хвастовства и мании величия показал ей, какой он из себя граф Монте-Кристо... Да, играть можно там, а после по-наглому позвонить Ирэне, притвориться пьяным. Это хороший ход! А потом — мотать отсюда... Все было легко и просто. Можно даже и сейчас позвонить. Нет-нет, лучше потом. А если она там? Это же гениально, это же еще лучше, это вообще не вызовет ни у кого подозрений. Когда обольются и угомонятся, можно будет потихонечку под утро вынести денежки. А послезавтра — самолет...

Ему стало необычайно жарко, его охватил какой-то горячечный бред. Он подумал, что, наверное, то же самое ощущает рабочий у домны, когда шебуршит

в ней большой железной палкой. Интересно, они ее тоже называют кочергой?

Валентино весь в испарине, загадочно улыбаясь, похлопал Сулашкина по спине:

— Сейчас выпьем по рюмке и поедем на дачу к моему другу. Но с условием,— Валентино погрозил пальцем,— ты дашь мне отыграться.

— А деньги у тебя будут?

— Там будут,— уверительно закивал Валентино.

— Я не пропью играть хоть до утра,— согласился малый.

Было уже одиннадцать вечера. Они выпили по две рюмки водки, закусив осетриной. Леночка пить отказалась, она засыпала. Ее подвезли к метро. Валентино решил, что так даже будет лучше. Ему все больше и больше нравилось, как развиваются события.

За окружной тьма была непроглядная. На стекла падал пушистый легкий весенний снежок. Если никого не окажется на месте, он сольет водичку, нажмет пять—три, пять—три, возьмет деньги и засунет в бункер этого непутевого парня. Кто его там хватится? А когда хватятся, он, Валентино, будет уже далеко. Да, придется, видимо, уступить малому дозу, которую на всякий случай он держал для себя.

Почти год назад было намного сложнее. Неприятные мысли захлестнули Валентино на какое-то время...

Он вспомнил, как в тот дождливый серый день они с Васей Антиповым встречали Гребешкова в аэропорту. Алексей прилетал из Красноярска. Собирались сразу же ехать играть в покер на дачу. Мысли о тайнике оба держали про себя, но Валентино-то знал наверняка. Он уже знал точно, чего хочет. Но одному ему было просто не по силам. Боялся не справиться один, а не то чтобы его мучили угрызения совести из-за убийства человека. Валентино искренне не представлял себе всей сложности окружающего мира и был уверен, что, если сделать ловко и без свидетелей, никто и никогда ни о чем не узнает.

Между собой они с Васей решили, что откладывать дальше нельзя. Вскоре Алексею предстояла трехмесячная заграничная гастроль, и нельзя было исключить, что он прихватит денежки за кордон, если решит не возвращаться. Валя предложил использовать шприц с сильнодействующим наркотическим веществом, раздобытым у Царицы. Василий не возражал. Они договорились лишь одурманить Алексиса, как называли его за карточным столом, а затем взять себе, сколько кому нужно.

Гребешков сидел за рулём «роллс-ройса», а Валентино рядом. Сначала они заехали в гастроном на Тверской, а потом — на Центральный рынок. Закупали все необходимое — ведь иногда играли по двое суток, не выходя. По дороге Валя десятки раз терял в себе уверенность. То его охватывало возбуждение, то сонливость. Если бы не эта спасительная сонливость да не Антипов рядом, он бы, наверное, не сумел...

На повороте с окружной Фофлачев наклонился к Гребешкову и вколол ему шприц в бедро. Тот лишь успел пробормотать, что в сиденье какая-то иголка, и «оплыл». Когда они перетаскивали Алексея назад, Валентино ощутил каждой клеточкой, что у Васи планы более обширные, нежели те, которые они обсуждали, что шансов выбраться из этой переделки не так уж много.

Валя сказал Антипову: «Пойду отолью». Ему повезло: в кювете в талом снегу он обнаружил кусок

арматуры величиной с полицейскую дубинку и спрятал его под дубленку, не заботясь о том, что перепачкает белоснежный пиджак.

Его опасения подтвердились. Они перенесли тело Гребешкова в подземелье, и Василий тут же ни с того ни с сего отправился наверх за младшим братом Игорем, который, по его словам, тоже имел право на свою долю.

Антипов был наверху, и Валентино показалось, что Гребешков стал подавать признаки жизни, а значит, мог вот-вот открыть в полубреду, где спрятаны деньги. Валя понимал, что это было смертельно опасно. И он ударил раз десять Гребешкова арматурой по грудной клетке. Этому дохляку больше и не надо было.

Прибежавшим Васе и Игорю он объяснил, что Алексей не хотел сознаваться и он немного переборщил, допрашивая с пристрастием. Они, конечно, что-то заподозрили неладное, но Вася твердо был уверен, что деньги находятся в доме и Вале их все равно не получить, даже если Гребешков признался. Да и то, что сделал Валя, их вполне устраивало. А главное, в тот момент братьев охватила горячка золотискателей, и они перерыли все вокруг вверх дном. Валя усердно делал вид, что участвует с ними заодно.

Убедившись, что найти не так-то просто, они принялись заметать следы. Вася пришло в голову поместить мертвца в финскую баню. Наняли знакомого врача, договорились с кунцевским моргом и так далее.

Потом, когда дело уладили, братья принялись угрожать и шантажировать Валентино. Он пережил кошмарные месяцы, был на волосок от гибели. Василий почти догадался, что Валентино известно о тайнике через Зою...

Зоя на том свете, Антипов-старший в бегах. Путь был расчищен...

Подъехали к вилле покойного шансонье. Свет не горел.

Значит, никого. Ирэна не спала по ночам, она обычно ложилась в постель только под утро.

Валентино уже поджидала внизу.

Глава двадцать восьмая У тайника

В Серебряном Бору кружила весенняя метель. Вечер был хорош для романтических прогулок и праздничных мечтаний. В камине потрескивали дрова. Пили чай из самовара вчетвером. Анисимов был впервые приглашен за общий стол к Жолтеру. Зинаида Ивановна лично ухаживала за ним. Хворь у нее как рукой сняло после целебного напитка, приготовленного Эдуардом Васильевичем. Сам же он находился здесь и поедал малиновое варенье столовыми ложками. Пончиков был театрально задумчив, что не помешало ему съесть четыре бутерброда с красной икрой.

В девять часов Эдуард Васильевич отодвинул банку с вареньем и сказал, что пора ехать.

Вышли во двор. Жолтер попросил Мишу присмотреть за бабушкой и ждать их звонка, а Анисимову предложил сесть за руль красного «мерседеса». Со двора были видны светящиеся окна конторы на том берегу сквозь кружева метели. Но там никого не было. Жолтер похлопал Пончикова по спине и сел в машину.

На кольцевой автодороге снег уже валил стеной. «Дворники» едваправлялись.

— Не люблю никаких рукопашных стычек, — сообщил зачем-то Эдуард Васильевич Анисимову, — умею обходиться без них. Вы без моей команды в ход кулаки не пускайте.

— Оружие тоже? — спросил Сева, чтобы продолжить разговор. Он не отрывал взгляда от дороги.

— Нас скорее всего обезоружат, — ответил Жолтер.

В сторожке они застали Терлецкого, который их заверил, что охранники уехали дня три назад и даже, что для них нехарактерно, попрощались и оставили бутылку болгарской водки.

— Если будет стрельба, — попросил Жолтер сторожа, — то позвоните по этому телефону Михаилу Сергеевичу Пончикову.

Эдуард Васильевич протянул визитную карточку.

— И что передать?

— Передайте, что мы уже вознеслись или на подходе...

— Вы шутите?

— Пожалуй... Сами найдете, что сказать.

Анисимов открыл ключом Ирэны дверцу в воротах. Дорожки были усыпаны пушистым крупным снегом. Никаких следов.

Они подошли к парадному входу. Прислушались и не обнаружили признаков жизни внутри. Жолтер посветил фонариком, и Сева отпер окованную железом дубовую дверь. Минув прихожую, они очутились в большом каминном холле первого этажа. Луч фонарика выхватил тумбу с японским телевизором. Сдвинув ее, они стали спускаться по винтовой лестнице в подвал.

Когда Жолтер достиг последней ступеньки, зажегся яркий свет, и грубый сильный голос приказал:

— Бросай оружие!

Эдуард Васильевич бросил фонарь, а затем, порывшись в карманах, пистолет-зажигалку на изумрудного цвета палас, Анисимов, помедлив, нехотя расстался с «Макаровым». Восемь человек с пистолетами и автоматами полукругом стояли в пяти шагах от них. За этой живой цепью за столом, предназначенным для покера, сидели трое: Антипов-старший, его брат Игорь и Георгий Иванович — отец покойного героя.

— Почти все собрались, — сказал Жолтер бодрым тоном. Он расстегнул дубленку — под ней у него был джемпер с большими пуговицами, надетый на тельняшку.

Эдуард Васильевич невозмутимо прошел сквозь охрану и приблизился к столу.

— Что, жарко стало? — поинтересовался Вася Антипов гневно и самодовольно.

— Я бы не сказал, — ответил спокойно Жолтер, делая знак Анисимову присоединяться.

— Ты напрасно раскомандовался. Командую здесь я, — с угрозой в голосе сказал Антипов-старший.

— Василий, я бы посоветовал вам быть повежливее. Со мной на «ты» всего лишь два человека — бабушка и школьный приятель. Список расширять я не намерен.



— Я тебя сейчас продырявлю, как бабочку! — нервно вскрикнул Вася, наводя пистолет.

Жолтер, сверкнув глазами, глянул в дуло. И Антипов-старший вдруг почувствовал, будто через рукоятку его ударило сильным разрядом тока, прошедшим сквозь тело. После этого ему показалось, что на колени положили мешки с горячим песком.

— Вот теперь жарко, правда? — спросил Жолтер.

Вася угрюмо кивнул. Пальцы у него стали ватными, и он положил пистолет на стол.

— Что это было такое? — Вопрос Вася задал тревожно и глухо.

— Малина из меня пошла. — Жолтер утер лоб лыжной шапочкой, которую достал из кармана вместо платка.

— Какая малина?

— Накануне попил чаю с малиной... Но к делу, господа. — Жолтер уселся в свободное кресло, Анисимов встал за его спиной, выражений с противоположной стороны не последовало. — Вы достаточно умны, чтобы не делать того, что абсолютно бессмысленно и невыгодно. Если вы сейчас устроите пальбу, то не заработаете на этом ни копейки.

— Допустим, — сказал отставной бармен, он закурил, и руки у него дрожали.

— Более того, — продолжал Жолтер заговаривать зубы, — разборки возможны между всякой шпаной, вспомнившей себя большими разбойниками, здесь же собирались разного рода люди, в том числе и государственные мужи, подобные Георгию Ивановичу. Так что, даже закопав нас или пропустив через мясорубку, а это, надо сказать, будет утомительная работа, я вижу, Георгию Ивановичу не кажется такая перспектива привлекательной, вы вряд ли будете себя чувствовать спокойно и безо-

насно. Тем более что о поездке сюда я заранее уведомил министров безопасности и внутренних дел...

— Эдуард Васильевич, давайте не доводить до крайности, — взмолился отец Гребешкова. Выпitoе количество коньяка не помогло ему избавиться от волнения.

— Жолтер, — Антипов-старший уже взял себя в руки, — я советую вам сказать, где находятся деньги. Мы не такие дураки, чтобы не понимать, что вы приехали за ними. Если вы этого не сделаете, то я вынужден буду подогревать вас, — он сделал ударение на последнем слове, — в финском аппарате. Баня, доложу я вам, отличная, работает как зверь, никто ничего наверху не услышит.

— Тут есть два «но», — парировал Жолтер. — Первое. Это имеет смысл лишь в том случае, если я знаю, где тайник. Второе. Я исключаю, что вы посмеете лишить жизни меня, моего помощника и Георгия Ивановича... Это не ваш стиль. Скорее всего вы надумали бежать с деньгами, задерживая некоторое время нас здесь...

— Давайте решать цивилизованным путем, — задыхаясь, произнес Георгий Иванович. Мысль о том, что от него могут избавиться, показалась ему достаточно свежей. Эдуард, я же вашего папу хорошо знал — Василия Петровича...

— Это вряд ли нам с вами сейчас чем-либо поможет.

— Давайте попробуем по-цивилизованному, — опять промямлил Гребешков-старший.

— Давайте, — согласился Жолтер. Он был бодр и даже, кажется, весел, каким Анисимов его не видел еще никогда. — Господин Антипов-старший, надо охрану отсюда удалить. Мы безоружны. А ваш братец с автоматом «Узи» пусть останется. Он мне еще пригодится.

— Решаю здесь я. — Вася колебался.

— Ну так и решайте. Если я знаю все, что от меня требуется, то лишние свидетели нам совсем не нужны. Даже наоборот, их неопытные сердца не смогут выдержать всех тех видений, которые нас ожидают... Тут может произойти всеобщее истребление... Вы понимаете, о чем я?

— Как они отсюда выйдут незамеченными?

— Налево, далее по коридору через подземный гараж. Вы разве не знали?..

Поразмыслив, Вася Антипов согласился отправить охрану. В подземном гараже, имевшем выход на другой участок — покойный шансонье любил такие штучки, — они сели в микроавтобус марки «тойота» и выехали в Москву на конспиративную квартиру, где должны были ждать дальнейших распоряжений.

Вася предложил и Анисимова отправить со всеми, но Жолтер объяснил, что этот человек незаменим при вскрытии сейфов и других секретных устройств.

Они остались впятером. Анисимов прикинул, что может достать Игорька в три прыжка. Рыхлый Георгий Иванович большой опасности не представлял, даже если и был вооружен. Как поведет себя в рукопашной Жолтер, сказать было трудно. Во всяком случае, он мог и не справиться с Антиповым-старшим.

— Поговорим теперь начистоту, — предложил Жолтер.

— Давайте, — согласился Вася, вновь закурив. Руки у него теперь не дрожали. — Вы, Жолтер, во многом правы. Но положение мое сейчас таково, что терять мне практически нечего. Я готов поделиться с вами определенной частью суммы. Это не подкуп, вы это заслужили. Мы оставим часть денег, предварительно вас усыпив. Оставим, чтобы вы были заодно с нами. Убивать я не вижу необходимости, и тут вы угадали мои мысли. Мы

vas усыпим и смоемся. А потом — кому как повезет. Помоему, все честно?

— С вашей точки зрения, даже благородно, — согласился Жолтер. — И я с вами буду до конца честен. Тайник находится под бассейном, и мой коллега Анисимов знает, как работает потайное устройство. Там, видимо, много «зеленых», Антипов, миллионов, возможно, десять. Я сказал правду. И, если у вас есть с собой отбойный молоток, вы можете приступить и без нас... Но подождите еще минутку-другую и послушайте меня внимательно. Вы не убийца, Василий, вы соучастник. И поэтому вы здесь. Вы взяли с собой Георгия Ивановича, потому что надеялись, что как соучастника он вас вытащит. И он бы это сделал, но теперь не будет, поскольку ни вам, ни ему не достанется ни цента... Вообще-то надо было бы заплатить хоть сколько-нибудь Игорьку. Он заслужил: ведь это он пел последние года два за Гребешкова. Он умеет подражать многим голосам, в том числе и моему. Талант! Вот только он не смог распорядиться им по-человечески. А посему награды не заслуживает. Где твоя вратарская маска, дружок?

Игорек напряженно молчал. Никто не проронил ни слова.

— Убивал Фофлачев. Он узнал от Зои-стриптизерки, где лежат баксы, но вам не сказал, испугался, что вы, Вася, делитесь не сочтете возможным. И он был прав. Да и вы, наверное, догадались, что он знает, когда Валя убрал Алексея. И вам даже это было выгодно, вы ждали своего часа, не замарав руки в крови... Фофлачев скоро сам сюда пожалует, чтобы подтвердить мои слова. Вы и собрались здесь скорее в ожидании Фофлачева, нежели меня. Только не пойму до конца, зачем вам понадобилось напихивать сюда столько ребят с автоматами? Наверное, не исключали, что и я могу нагрянуть... Вы правильно вычислили, что Валентино скоро прибудет. Ему надо спешить... Ну-ка, Игорек, сними перчатки.

— Зачем?

— Линию твоей жизни погляжу, — ухмыльнулся Жолтер.

— Сними, — приказал Вася.

Игорь, положив автомат рядом с собой, принялся стягивать перчатки.

— Вот и конопатые руки нашлись. Зачем ты их снял в крематории?

— Да я их не снимал, я их просто не носил.

— А, это Вася тебе потом сказал: надень и не снимай. Понятно...

Воцарилось молчание. Анисимов чувствовал, как и другие, скованность и утомленность. Игорь удивленно уставился на тыльную сторону своих ладоней. Он сидел с открытым ртом.

— А может, это вранье, то, что вы здесь несете? — нарушил молчание Вася Антипов. — Откуда вам все это известно?

— А я, Вася, ясновидящий. Всамделишный. У меня есть и другие способности. Вот посмотрите на меня внимательно.

Жолтер достал, как фокусник, двадцатизарядную «Беретту».

— Вася, руки на стол! Анисимов, отберите у Игоря автомат, он парализован...

Через пять минут все дружно сидели за столом для покера. Братья Антиповы были в наручниках. Ждали прибытия Валентино.

По дороге в Москву микроавтобус «тойота» чуть было не врезался в шоколадного цвета «ниссан». Ирене показа-

лось, что на даче произошло что-то страшное и эти люди уносят ноги, совершив свое грязное дело.

Ирэна была во взвинченном состоянии, на грани истерики. Она потребовала, чтобы Като задержал их. Маленький японец бросился в погоню.

Хорошо, что это произошло неподалеку от поста ГАИ, где находился усиленный наряд автоматчиков с собаками. Это не дало возможности охранникам Гребешкова применить оружие при выяснении отношений. Прижав микроавтобус к обочине и выскочив из машины, Като молниеносными ударами уложил трех нападавших на мокрый асфальт. Пятеро оставшихся в автобусе принялись без удержу чихать от хлопушки со специальным газом, которую проворный японец ухитрился забросить в салон.

Когда поверженные встали, а чихавшие прочнохались, подъехал милицейский патруль.

ЭПИЛОГ

В драму, связанную с именем Гребешкова, были втянуты десятки лиц, в том числе и должностных. Дело состояло из двадцати пяти томов. Процесс был долгим, шумным, скандальным.

Анисимов обычно сопровождал Ирэну в здание суда. Однажды в машине он спросил ее:

— Ирэна Владимировна, вам этот Ганьский все-таки был интересен или нет?

— Мне все мужчины, Сева, интересны. И я, с вашего позволения, скоро снова выхожу замуж за бирже-вика-миллионера.

Вернувшись в Москву оформлять документы на выезд, Николай Смит узнал из газет о том, что Алексей Гребешков был убит и дело это рассматривается в суде. Из Шереметьево-2 Коля отправил телеграмму Ирэне. «Искать бассейном осторожно». Текст ему показался секретным и ясным.

Теперь с чистой душой покидал он Россию навсегда. Прощание оказалось неприятным. Отобрали армейские часы, банки с икрой и несколько бутылок водки. Не тронули лишь статуэтку Ленина, выяснив, что она сделана не из стратегического сплава.

В рейсовом самолете на Франкфурт Смит встретил рыжего человека по фамилии Штраус. Они сидели рядом, но так никогда и не узнали, что были участниками одной и той же истории.

Коля Смит проделал долгий и трудный путь. Он не представлял себе, как его встретят. Но двоюродный дядюшка Чарльз принял Колю на своем ранчо как родного.

На следующий день они поехали кататься на лошадях. Была чудесная погода. Говорили о том, как Коля будет работать в мастерской по реставрации старых автомобилей в соседнем городке. И Коля Смит ощущал себя графом Монте-Кристо, которому удалось бежать из замка Иф.

Дворик МГУ. У клубмы — шоколадного цвета «ниссан». Ласковое лето, Ирэна сидит на скамейке перед желтыми тюльпанами и курит длинную черную сигаретку с золотым ободком. Замуж она так и не вышла, о чем ходили упорные слухи. Загорелая и подтянутая, она выглядит как никогда в последнее время эффективно — провела почти месяц в закрытом пансионате для богачей, где прошла полный реабилитационный курс.

Появляется долговязый подросток с бледным, не лишенным приятности, лицом. Трудно поверить, что он уже второкурсник. На нем вылиньявшая брезентовая курточка и потертый рюкзачок за спиной.

Они знакомы друг с другом, наверное, года три. В разговорах избегают лишних деталей. Он лишь знает, что это какая-то приятельница его давно умершего отца. Так он теперь считает, а раньше думал,

что она просто работала с папой и приходила в школу по поручению коллектива. Он думает, что маме об этих встречах знать не следует.

— Тетя Ирэна, — нападает он на нее, — ну, куда вы поставили свою машину! Я вам уже сколько раз объяснял: вас оштрафуют. Сюда же нельзя!

— А мне можно, — возражает она насмешливо.

— Это почему?

— А я болею.

— Это чем же? — В его вопросе настороженно-заботливые нотки.

— Дурингитом.

Они начинают хохотать до упаду. Прохожие оглядываются, сверстники смотрят не без зависти на тетю и на машину.

— Покатаемся, мальчик, — предлагает Ирэна.

— Вы напрасно думаете, что я уж такой маленький и мне это интересно.

— Тогда давай победаем.

— Я уже задолжал вам уйму денег.

— У твоего отца было очень много секретов. Может быть, кое-что ты еще унаследуешь... И отдашь долг сполна.

По дороге он спрашивает о процессе по делу Алексея Гребешкова, который все еще продолжается. Ему интересно, вернут ли ей деньги. Ирэна пожимает плечами.

— Ну а если вернут? На что вы их потратите?

— Еще не знаю. Может, нищим раздать?

— А разве не будет дома-музея?

— Не морочь мне голову, мальчик...

Чтобы уйти от этой темы, она включает приемник. Из динамика льется всем знакомая грустная песенка, по официальной версии, написанная знаменитым бардом незадолго до смерти.

Нам кажется: дорога неблизка,
исправно наполняются бокалы,
нас ждут еще веселые вокзалы,
нас мучает дорожная тоска.

Нам кажется: дорога неблизка,
что можно, продадим, что нужно, купим,
возможно, никого мы не погубим,
но мучает дорожная тоска.

Нам кажется: дорога неблизка,
мы носимся по жизни, как по корту,
и молимся не Господу, а черту,
и мучает дорожная тоска:

зачем случайно мы пришли сюда,
откуда вера в долгую дорогу,
когда всего два шага до порога,
два шага лишь до Страшного суда...

Ну вот, сыграли мы поминки по
пустым мечтам о чаще золотой,
пора назад — в незримое депо,
как поездам... домой...

Никто теперь уже с определенностью не смог бы сказать, чей это голос, чьи слова и кто сочинил мелодию. Дело Гребешкова никогда не будет закончено...



ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «ЮНОСТЬ» продолжает оставаться флагманом публикаций новой молодой прозы, поэзии, публицистики; а также наиболее интересных литературных произведений из нашего наследия

Журнал высокой романтики, жесткого сентиментализма, фантастического реализма.

Журнал не для всех, но для тех, кто всегда молод душой.

Проза представлена именами славными и приобретающими славу.

В текущем полугодии мы предполагаем опубликовать:

Леонид БОРОДИН. «Ловушка для Адама» - повесть о любви.

Геннадий ГОЛОВИН. «Жизнь иначе» - роман о любви.

Владимир ОРЛОВ. «Шеврикука, или Любовь к привидению». Книга вторая.

Валерий РОНЫШИН. «Вечное возвращение». Повесть о переселении душ.

Александр НЕМИРОВСКИЙ. «Дело Клуенция» - детектив из античных времен и роман «Жизнь Пифагора» о древнем эллине, чудодее, ученом и мудреце.

Татьяна ПЬЯНКОВА. «Черная барыня» - очень страшный рассказ. «Онегина звезда» - очень поэтический рассказ.

Андрей ИВАНОВ. «Вандемьер композитора». Повесть о блужданиях в чужом мире и в себе.

Александр СТИБНЕВ. «Цветы на могилу графа». Документальное повествование о графе Фридрихе Шеленбурге, который пытался победить Гитлера и который его победил.

Наше наследие представлено эссеистикой Бориса ЗАЙЦЕВА.

Дом поэтов.

Дерзкая поэзия молодых.

Литературные портреты самых оригинальных поэтов XX века.

«Я вызываю вас на поэтическую дуэль» - состязание молодых поэтов.

Зарубежная проза и публицистика.

Жизнеописание римлянина Юлия Цезаря, принадлежащее перу англичанина Джона БЕКАНА.
Детективные рассказы о религиозном фанатике Савонароле и богатейшем царе Малой Азии

Крезе, написанные Микаэлом КСАВЕРОМ.

Нобелевские лауреаты Морис МЕТЕРЛИНК, Октавио ПАС и Чеслав МИЛОШ. Эссеистика.

Ирма ДУНКАН и Аллан РОСС МАКДУГАЛ. «Русские дни Лисседоры Дункан...»
ОРТЕГА-И-ГАССЕТ. «Размышления о Дон-Кихоте».

Лица эпохи от лакея до героя.

Исповеди. Гипотезы. Тайны ХХ века. Сенсации ХХI века.

Частный детектив.

Рассказы о лучших художниках мира.

«Русская провинция» - живой голос живого народа.

Интервью в интерьере: в объективе «Юности» - знаменитость.

20-я комната: частная жизнь очень молодых людей.

Астрал. В гостях у иноопланетян.

Журнальчик: сказки и сказки.

Авторитеты и автографы.

Дайджест-статистика.

Современный Нострадамус.

Самый дерзкий архитектурный проект.

В каждом номере - юмористический рассказ и рисунки.

Подписаться на Ваш журнал Вы можете с любого месяца в любом отделении связи - без ограничений.

НАШ ИНДЕКС: 71120.

— Марш спать, испослушный мальчишка! — прикрикнул на него седой ризеншнауцер, втайне ужасно польщенный криками ученика.

...Роберт спал как убитый. Утром его разбудил встревоженный

сэр Готтард:

— Вставай, мальчиш, уже начальство...

— Как? И без меня? — мгновенно вскочил на ноги Роберт.

Орден гудел как растревоженный улей. Благородные рыцари бурно обсуждали произошедшее событие, тихо переговариваясь между собой. Оказывается, ночью были коварно похищены два брага-спаннеля: сэр Порт и сэр Ля Порт. Причем особенно обвинять было некого — оба рыцаря стояли на часах. Их бесследное исчезновение обнаружил сэр Гай, проснувшийся от неладного шума. Спаниели не грусы и не дураки: как могло слухаться, что они позволили покинуть себя без боя? А если бой был, то почему его никто не слышал? И главное: почему враг коварно напал ночью, без предупреждения, без трубного зова, без благородного обмена перчатками? Вопросов было много. В конце концов все успокоились, и сэр Ниоф, как признанный стратег, взял слово:

— Я думаю, господа, что мы не можем бросить наших братьев в беде. Однако и оставить, чтобы лагерь было иеразумным. Мы отправим отряд рыцарей на поиски сэра Порта и сэра Ля Порта, а остальных — займутся строительством крепости. Я готов высушать ваши соображения, господы...

После непродолжительных споров было решено, что поисковый отряд возглавит сэр Гауф. Все равно держать этого нетерпеливого героя в крепости было бы бесполезно. Упрямый бульдог не умел оброняться, не знал, что такое страх, ие понимал смысла отступления, военной хитрости, уловок и уверток. Зато он был силен, безумно храбр и шел напролом к указанной цели. Сэр Гауф — Львиная Грава грозно поклялся не возвращаться без похищенных рыцарей. С ним отправились сэр Флойд, сэр Лукас и сэр Клаус. Остальные дружно присягнули за дело. Несколько книг, шкатулка, спичечные коробки, фланконы с луками, карандаши — в общем, в ход пошло все, через полчаса на полке красовались крепость, над которой разверзся бумажный флаг с гербом Ордена: червленый щит, поддерживаемый двумя собаками; на красном поле с голубой лентой по диагонали пламенел золотой рыцарский меч с огромной фарфоровой розой на лезвии. Девиз Ордена гласил: «Выше жизни только смерть, выше смерти — честь!»

(Продолжение следует)



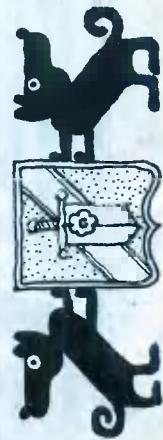
Андрей БЕЛЯНИН

ОРДЕН ФАРФОРОВЫХ РЫЦАРЕЙ

Сказка

ВЕЛИКИЙ СЕРВАНТЕС

Лемох готовился самоотвержению выполнить все, что требовал Сэм. Он честно промаршировал взад-вперед минуты три, пристально глядя по сторонам. Лемох был самым «неудачным» из всего чертова племени. Во-первых, он был добрым. Одного этого уже хватило бы на то, чтобы весь век провести в изгнании. Но у бедного чертенка была еще целая кучка «грехов»: честность, порядочность, дружелюбие, любовь к сладкому и любопытство. Представляете, каково ему жилось? Над несчастным Лемохом постоянно издевались, его шипяли и всячески обижали с надеждой сделать из него настоящего черта. Лемох старался воспитывать в себе любовь, зависть, коварство, но, по-видимому, был неизлечим, Продолжение. Начало в № 5



вот почему суперагент Сэм лично взялся за воспитание племянника. Его племянской карriere не должны мешать недоразвитые родственники.

Итак, бродя дозором, Лемох случайно увидел маленького племянника, читающего огромную книгу. Племянник великого суперагента сразу вскочил все наставления своего дяди на спрятавшись за какой-то коробкой, стал спедить за врагом. Однако враг был, мягко говоря, несерезный. Ростом щенок был чуть ниже самого Лемоха. Породы какая-то декоративной, не овчарка, не бульдог. И занимался самым мирным делом — читал книгу. Чертенок подкрался поближе и, тихонечко пристроившись за спиной фарфорового щенка, вгляделся в текст. Говорят, что любопытство не прокор.. Лемох невольно начал читать и полностью попал во власть романа! Перед ним разворачивались удивительные приключения, бои, сражения и схватки. Звенели мечи, появлялись прекрасные ладьи, клубилась пыль под копытами, и под стук каста-ниет к обожженным испанским небесам возносились жгучие романсы. Лемох уже не владел собой. Он помогал щенку переворачивать страницы, дождался, пока его «враг» прочтет до конца, и в упоении читал, читал, читал...

...Роберт ждал нападения уже целых полчаса. Спустя еще десять минут он не выдержал и отправился в библиотеку. Там он отыскал одну из книг, рекомендованных сэром Готвардом, и погрузился в чтение. Через несколько минут он уже ничего не замечал вокруг. Даже того, что кто-то читал рядом с ним. Эта удивительная книга называлась «Дон Кихот». Когда наконец юные книголюбы со вздохом перевернули последнюю страницу, Роберт и Лемох взглянули друг на друга.

— Какая вешь! — взмолнивенно сказал Лемох.

— Да! Это, наверное, самый дивный роман о любви, доблести и чести! — задумчиво подтвердил Роберт.— Я тоже стану рыцарем, когда вырасту.

— А мне можно стать рыцарем? — скромно поинтересовался Лемох.

— Ну, не знаю... — задумался щенок.— Для этого нужно иметь благородное происхождение, совершив кучу подвигов, быть храбрым, честным, читать законы рыцарства и еще много чего разного.

— Да, — грустно вздохнул Лемох, — я так и предполагал, что это непросто.

— Сэр Готвард говорил... — И тут Роберт осекся: он вдруг понял, что сидит перед ним. Мгновение спустя шерсть на его загривке поднялась, в глазах загорелся зеленый огонь, и маленький фокстерьер тревожно зарычал:

— Я узнал тебя! Ты племянниковый черт!

— Ну да, — вскочил племянник суперагента.— Я — черт. А что, собственно, в этом такого?

больше не дадим себя в обиду! Больше никто не посмеет наступать нам на хвост! Пластилиновый черт — это звучит гордо! Я с вами, дети мои!

Дружный вой преданных подданных был ответом вождю.

КОВАРНОЕ ПОХИЩЕНИЕ

А в это время фарфоровые рыцари неторопливо готовились к предстоящим подвигам, а в том, что их будет множество, никто не сомневался. Всобще любая война для рыцарей — просто праздник. Это блеск доспехов, симфония боевых труб, яркие флаги, гербы, вымпелы! Это благородные противники, поверженные враги, прекрасные ладьи и сильные менестрели, поющие длинные bàinады о старых временах! Это пылкая любовь, жгучая ненависть, строгая мужская дружба и свобода жить так, как велиг лишил собственная совесть и честь!

Сропные дела написались у всякого. Кто-то был занят прической и укладкой прически, чтобы подобающе выглядеть на поле боя. Кто-то писал романтические стихи прекрасной ладьи. Кто-то просто разминал лады и вспоминал те или иные приемы близкого боя. Роберт вновь беседовал с сэром Готвардом. Абсолютно доверяя своему старшему другу и наставнику, маленький фокстерьер белло, но без суеты рассказал все о происшедшем с ним событиях: как он познакомился с Лемохом, что за тип суперагент Самоэль, как они все пришли к взаимономиниации. Сэр Готвард слушал внимательно, перебивая Роберта уточняющими вопросами. К концу рассказа он удовлетворенно кивнул:

— Я рад, мой маленький, что ты вел себя так достойно. Конечно, враг есть враг, но вежливость превыше всего!

— Угу. Я так и думал. Сэр Готвард, я обобещал взять Лемоха к нам в плен, можно? Мы тут поиграем немножко...

— Что за вопрос? Раз обещал — выполню. Мне кажется, твой друг — нешлюхой парень.

— Да! Очень! — радостно подтвердил Роберт.— А когда вы пойдете на войну?

— Я думаю, завтра-послезавтра... — задумчиво протянул рициннауэр.— Вообще-то все зависит от наших противников — ведь первыми нападают они. А теперь иди спать, завтра может быть тяжелый день.

— Надеюсь, я смогу поближе познакомить вас с сэром Самоэлем.

— Что ж, я рад каждому достойному джентльмену. Да, пока не забудь. Сэр Нюб позволил тебе принять участие в боях, хотя ты мал. Я беру тебя в оруженосцы!

— Ррр-х-х-х! — издал грозный боевой клич Роберт.— Да правствует мой любимый герой сэр Готвард!

теплый привет сэру Самюэлю. Надеюсь, мы прощаемся не на долго.

... В очень секретном месте (под кроватью в углу) владыка пластилиновых чертей принимал доклад суперагента. В военно-полевом лагере царства строгая, но демократическая обстановка. Почти все черты были одеты в униформу: штаны с «ушами», грязные майки, в редком случае — тапочки. Многие поперец маек написали разнообразные высказывания на английском языке типа «Не гори ложадей», «Стой, стрелять буду», «Не гифкан», «сусик» и т.д. Чаще других почему-то попадались «Сам дурак». Польянков не сильно отличался от остальных. Он носил длинный завитой парик, широкие трусы в цветочек ниже колен и пышное жабо. На ногах красовались роскошные ботфорты, на перенази болталась шпага, а выражение лица было брезгливым и скучным, как будто владыку накормили хозяйственным мылом. Наместник князя Тьмы восседал на спичечной коробке.

Вокруг торжественно застыло шестеро генералов, пожалованных правом ношения бантов на хвосте. Доклад суперагента был предельно краток:

— Война, Ваше Величество!

— Ура! Да здравствует война! — радостно завопили генералы.

— О, мой несчастный народ... — тяжело вздохнул владыка.

Генералы недоуменно переглянулись. Польян-Бурьянов закрыл лицо руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, жалобно запричитал:

— Бедные мы, бедные... Разнесчастные мы горемыки! Накто нас не любит, не жалеет, не понимает! И все-то норовят задеть, обидеть, осмеять. Ну ни от кого житья нет! Как только покажется бедный черт на улице — все сразу в амбицию, презрение выражают. В душу, понимаете, в душу плют! Что мы сделали этим писам? А? — Голос владыки уже почти прерывался рыданиями, генераль выпирал слезы, а все прочие черты стояли, раскрыв рты, и старались не пропустить ни одного слова. Жлоб умел управлять аудиторией.

— За что они нас так ненавидят? За то, что мы предложили им мир, защиту и булку с косточкой? На нашу добруту они ответили объявлением войны! Они обидели нас грязью, смешали с пылью, унизили в глазах мировой общественности! Мой бедный народ! — В голосе Польян-Бурьянова зазвучала сталь. — До каких пор мы будем это терпеть? До каких пор мы будем позволять каждой собаке издеваться над нами?

Генералы посупровели, из толпы чертей стали вылетать угрожающие крики, общее настроение быстро накалалось.

— Они хотят войны?! Они навязывают нам войну?! Они... — чугунчат войной! — Дружный рев восторга перекрыл голос владыки. Польян-Бурьянов удовлетворенно огляделся и продолжил: — Ми-

— Как что? — взвился Роберт. — Война! И ты будешь моим первым подвигом! Защищайся!

— Ты что, с ума сошел? Что я тебе плохого сделал?

Роберт ворчом вспомнил, что решил стать образцом выдержанки и утивости. Он вежливо поклонился противнику и торжественно сказал:

— Многоуважаемый сэр! Может быть, я смогу оказать вам услугу, освободив от какого-либо обета? Или вы окажете мне высокую честь, сразившись со мной в честном поединке?

— Ты что, больной? — в замешательстве отступил Лемох. — Я не хочу драться.

— Трус! — взревел Роберт.

— Я не трус! — взвизгнул чертенок. — Я — пацифист!

— Пани... Кто? — ошеломленно переспросил Роберт.

— Фист! — отважно докончил перепуганный Лемох.

— Вот это да... Это что же получается? — задумался Роберт. — Война ведь! Мы просто обязаны драться!

— Я не знаю. А тебе очень нужно со мной драться?

— Очень... — вздохнул Роберт.

— Что же делать? — понтересовался племянник суперагента. — Ума не приложу. — Роберт почесал лапой за ухом и в глубокой задумчивости сел рядом с Лемохом.

Между тем постепенно приближалось время ответа на ultimatum. Роберт посмотрел на настенные часы и решительно сказал:

— Ну, ладно. Сейчас мы воевать не будем. У меня уже нет настроения тебя кусать.

Лемох изящно поклонился. Роберт ответил не менее галантным поклоном.

— Но после объявления войны мы — враги! И если я поймаю тебя на поле боя, то обязательно возвьму в плен.

— Ладно, уговорил... — кивнул Лемох. — В плен так в плен. Наперось, ты меня там не бросишь?

— Как ты мог подумать? — возмутился Роберт. — Фарфоровые рыцари благороднее всех относятся к пленным. Ты просто погостиши у нас с недельку. Побегаем, поиграем, почитаем вместе. Сэр Готвард говорил, что есть такая книга, она называется «Айвенго»...

— А больше он ничего не говорил?! — Буквально кипящий от обиды и ярости суперагент вышел из-за коробки с пуговицами. Он прятался там уже минуты две и слышал почти все, хотя застал лишь финальную сцену.

Роберт понял, что теперь перед ним взрослый пластилиновый черг — серьезный и жестокий противник. К части маленького фокстерьера, надо сказать, что он ни капли не испугался. Чуть нахмурив брови, с огромным чувством собственного достоинства, Роберт величаво поклонился и как можно вежливее спросил:



простите за то, что я вмешиваюсь в ваши семейные дела, но вы переходите все граничи хорошего тона. Прекратите ругаться, или...

— Что «или»? — взревел Сэм. — Сейчас как дам по уху!

— Вы ведете себя, как пьяный извозчик, а не как кадровый военный! Мне стыдно за вас. — И Роберт демонстративно сел спиной к противнику.

— Как вы могли, дядя? — огорченно прошептал Лемох. — Я не перенесу такого позора... — Маленький черненок сел рядом с Робертом и погрузился в драматическое молчание.

Онаризированный Сэм переводил взгляд с одного на другого и, наверное, впервые в жизни чувствовал себя полным идиотом. Во-первых, он не понимал, почему Роберт и Лемох обиделись на него. Во-вторых, он не мог понять, почему это его так волнует. Но в этом он боялся признаться даже себе. Однако молчание затянулось, и суперагент не выдержал первым.

— А что, собственно, я такого сказал? — с обидой в голосе заговорил Сэм. — Ну, немного поругал Лемоха, так ведь это для его же блага. А если я был глуп с Робертом, то это... Это... Ну, я... в общем, сегодня тяжелый день, все на первых...

— Я не злопамятен, — обернулся Роберт. — Если вы куда-то шли, я готов сопровождать вас.

— О, черт! Мне же пора за ответом на ультиматум! — У вас еще пять минут, — напомнил Лемох. — Если Роберт берется проводить, то, возможно, вы и успеете.

— Вперед! Долг превыше всего! — посюровел суперагент Сэм. — Полностью разделяю ваше мнение, — поклонился маленький фокстерьер. — Я к вашим услугам, сэр.

ЖЛЮБ ПОЛЫН-БУРЬЯНОВ

На какую тему, дядя? — застенчиво поинтересовался Лемох.

— На семейную! — прорычал Сэм и, понизив голос до трагического шепота, обрушился на племянника: — Ты что, решил меня уграбить? Тебя зачем здесь оставил? Блить, следить, докладывать! А ты знакомишься с противником, наставляешься к нему в гости и вообще веселишься. Конечно, в мирное время это не так уж плохо, но сейчас войны! И твой заигрывания с вражеской стороной могут дорого обойтись не только тебе.

— Да мы ничего предосудительного не делали, — попытался защититься Лемох. — Я увидел щенка, начал следить, а когда он стал читать книгу, то я, подкравшись, заглянул ему через плечо. Вдруг там напечатаны разные военные секреты?

— Остолоп! — Похоже, у белого суперагента не хватало слов. — И этот толстый недоумок — мой племянник?

— Многоуважаемый сэр, — не выдержав, произнес Роберт,

Сэр Нюоф в окружении одиннадцати рыцарей торжественно и гордо принял подопечного Самюэля. После обязательных приветствий суперагенту был вручен ответ на ультиматум. К чести Самюэля, надо сказать, что он держался крайне велико и не позволил себе ни одного грубого слова. Наверное, влияние настоящих рыцарей было так велико, что просто не позволяло вести себя иначе. Лемох и Роберт наблюдали за всей церемонией, укрывшись за большой сахарницей.

— Ну вот. Ответ на ультиматум получен. Теперь ты можешь отправляться домой.

— Но я налеюсь, что твоё приглашение относительно плена остается в силе?

— Вне сомнения! После первого же сражения я тебя жду.

— Роберт, я сожалею, но мне пора. Для уже уходит.

— Что ж, я был рад познакомиться с тобой. Передай самый

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ

(1844—1918)



«Родина — это та колыбель, которой не променял мы на весь блеск, на все красоты и благоустройство иных стран...»

С. Д. Шереметев

Течение лет и рода привело нас к тому самому Сергею Дмитриевичу, о котором мы не раз уже упоминали. Родился он в 1844 году. Пережил четырех императоров, февраль с Керенским и октябрь с Лениным — самое смутное время. Именно ему выпало стать свидетелем последнего дня самодержавия.

Истинный граф, богатырь духа, последний вельможа в русской истории, он и рождением, и деятельностью был поставлен в эпицентр исторических событий. Флигель-адъютант, полковник, член Государственного Совета, крупнейший землевладелец, обладатель миллионного состояния, многих дворцов и усадеб, радетель культуры и просвещения — как встретил он великие испытания, каким был?

...Дом Шереметевых полон гостеприимства, двери всегда широко открыты, там неразлучно жило несколько поколений и царила та особенная атмосфера, которая так характерна для тех дворянских усадеб XIX века. Заливной луг, крутая гора с тремя покатыми уклонами, спуск к реке, зеркало вод, захватывающий вид с балкона — какая спокойная красота!.. Дом с голландскими печами, библиотека (10—12 тысяч книг), вечерами звучащая музыка — и атмосфера любви, женственности, доброты...

Сергей Дмитриевич вступил в пору молодости и женился, брак этот был очень удачным. Избранницей его стала княжна Екатерина Вяземская, внучка Петра Андреевича. Они прожили вместе 50 лет и вырастили семерых детей. Катенька Вяземская обладала чудным характером, была в отличие от мужа выдержанная, терпеливая. Вот как писала о ней Аксакова-Сивверс: «Екатерина Павловна — всегда в английском костюме, менялся лишь цвет... Безупречно красивы черты ее лица: высокая, плотная, несколько сутуловатая фигура и спокойные, без всякой аффектации манеры производили впечатление благородства и простоты».

Семья и дом — две святыни графа Шереметева. А еще — усадьбы, эти «культурные гнезда» России. Среди бескрайних



просторов России дворянские гнезда — как оазисы, культурные и экологические центры, воплощавшие гармонию человека и природы.

Ко времени его женитьбы родовое имение Вяземских, Остафьево, чуть ли нешло с молотка, хотя было связано с именами Пушкина, Жуковского, Карамзина. Сергей Дмитриевич решил восстановить усадьбу и увековечить память тех, кто здесь бывал. В 1899 году здесь был открыт общедоступный музей А. С. Пушкина.

Посетивший его И. А. Бунин написал: «Вспоминаю Остафьево... Там, в кабинете Карамзина, лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: черный жилет, белая бальная перчатка, оранжевая палка с ременной кисточкой... Потом — восковая свеча с панихиды по нему... Смотрел — стеснялось дыхание. Как все хорошо, безжизненно и печально!.. Век еще более давний и потому кажущийся гораздо богаче, тоныше...»

Позднее, в качестве приданого для своей старшей дочери, Анны, Шереметев приобрел усадьбу Вороново — место, связанное с историческими событиями и полное нераскрытых тайн. Здесь в 1812 году проходили французы и русские, здесь перед отступлением был сожжен роскошный дворец Ростопчина. Шереметев придал дому благородные черты, расстроил его, на фронтоне укрепил свой герб (два льва, держащих щит).

И все же самое дорогое место — Остафьево. Это не просто имение, усадьба, а гнездо Вяземских и Шереметевых — с XVIII века до 1930 года...

Что такое была вся деятельность его деда — Николая Петровича? Он одержим был идеей «рамки красоты», «пантеонов искусств» — доказательство тому и Останкинский дворец с его подчиненностью театру, и Странноприимный дом с церковью, напоминающей более храм искусства. Здесь и религия, и культ красоты — Культура, неотделимая от этических, добрых начал.

Сергей Дмитриевич продолжал дело своего деда, и Остафьево он с самого начала создавал не просто как жилой дом, а как музей для будущих поколений.

За свою жизнь Сергей Дмитриевич успел столь много, что трудно охватить все. Подобных людей В. В. Розанов называл «поэтами дела», государственными людьми, а еще — «капельмейстерами истории». Он писал, что для России самое важное — в чьих руках находятся Устав и За-

* Начало очерка «Семь портретов на фоне времени» смотрите в №№ 1—4 «Юности» за этот год. Продолжение в следующих номерах.

коны. В одних руках они могут быть палкой, а в других — «волшебной тростью капельмейстера»: «Высмогреть подобного человека и есть задача государства или задача лица, держащего большое или малое кормило в государственном корабле».

С. Д. Шереметев держал малое кормило и свято верил в великое предназначение России. В его вотчинах вводились новые, передовые методы хозяйствования, он умел находить умных, знающих управляющих. Когда начался промышленный подъем в стране, взялся за развитие ткацкого дела в Иванове и его окрестностях. Занимался развитием церковных приходских школ, в частности в Карелии.

Переписка, дневники, распоряжения, рукописи графа занимает десятки полок в Центральном архиве древних актов. Открыв один том, за 1912 год, наугад, вот что, например, обнаруживаем — телеграмма от министра Дурново: «Прощу прибыть в Петербург. В первых числах июня будет решаться вопрос о всеобщем обучении в начальных училищах, с коими связана судьба церковных школ». Отчет о выставке домашних животных и птиц в Серпуховском уезде. Один перечень «принимаемых участия в выставке» заставляет нас сегодня напрягать память, чтобы вспомнить, что это за птицы и домашние животные: черно-огненный кролик, морские свинки, цесарки, гуси холмогорские, павлины, фазаны... Проводятся конкурсы певчих птиц, домашних коз, а также продажа шкурок ангорских кроликов.

Страстю графа Шереметева было собирательство, исследования: по истории, этнографии, народному творчеству, иконописи, археологии. Он стал председателем «Общества любителей древней письменности» (в нем принимали участие А. Соболевский, А. Шахматов, Ф. Буслаев), членом Русского археологического общества в Константинополе, Псковского археологического общества (в Псковско-Печерской обители пребывал его предок-фельдмаршал), почетным членом Академии художеств и еще нескольких обществ...

К нему обращались за консультациями по самым различным вопросам. Мне попались письма-просьбы о материалах, касающихся Ломоносова, императрицы Елизаветы, 1812 года... А сколько книжных и журнальных изданий осуществил этот труженик — и не коммерческого, а научного, исторического характера. Чего стоит лишь один разобранный и изданный им архив Вяземских! Этой работы другому хватило бы на всю жизнь.

Поставленный самим рождением рядом с царем, он стал флигель-адъютантом при Александре II, участвовал в русско-турецкой войне и, хотя относился к нему без пietета, тяжело пережил покушение и смерть императора. Более дружен был с Александром III и особенно с его женой (вел переписку с ней до самого конца, 1918 года). Что касается Николая II, то граф знал его с детства и был единственным из окружения, называвшим царя «Ники» и «ты».

История, как и природа, подвластна особым, природным законам, ей близки естественные формы движения, эволюция, а не насилие и террор. Однако, чтобы следовать этим естественным законам, «государственные люди» должны соблюдать нравственные законы. Шереметев это хорошо понимал и не просто следовал морали, а был глубоко религиозным человеком.

«Живая власть для черни ненавистна», «всегда народ к смятению тайно склонен» — эти слова Пушкина не раз повторял Шереметев. Он понимал, что удержать народ способны лишь те правители, которые следуют не просто приказам министров, а высшей власти, Божьей воле. Главные беды России виделись ему в невежестве, бескультурье, в беспомощности внизу и в том, что на командные посты то и дело назначаются люди, лишенные знаний, ума и совести. Трезво оценивал Сергей Дмитриевич и сам народ, лишь недавно вышедший из крепостной неволи: там, где немец просто выполнит предписание, русский ждет указки, напоминания, а законы и распоряжения не выполняет даже с каким-то особым сладострастием. (Кстати, в управляющие Шереметев чаще брал немцев, и, еще кстати, они имели «моторы», автомобили, тогда как сам граф их не имел.)

Выход виделся ему в постепенном приобщении к культуре, в выдвижении из народа людей умных, талантливых.

В вотчинах его крестьяне читали Карамзина, а вся Ильинка была забита лавками, в которых торговали выходцы из шереметевских сел.

Вновь обратимся к архиву, к дневнику 1912 года, озаглавленному «Смутное время». Человек тонкий, эмоциональный, он предчувствовал роковой ход событий: сдерживающие центры в народе иссякли, верха ничего не могли изменить, трагическое царствование Николая II подходило к концу... Вместе с тем приближенные не понимали этого. Доказательство — хотя бы вот это письмо племянницы С. Д. Шереметева о встрече с императором:

«Я не могу удержаться от порыва поделиться с тобой тем, что пережила сегодня... Сегодня день для меня такой, что уста ненемят, сердце замирает от восторга, а в голове все одна мысль — сон это или наяву?.. Сегодня я увидела близко-близко всю царскую семью, я пожала милостию мне протянутую руку моего Государя, и его чудные глаза приветливо улынулись... я в мыслях перекрестила его и пожелала ему: «Чтоб царство ваше было так же блаженно, как улыбка».

Письмо написано в Смоленске, в доме княгини Тенишевой в год 300-летия дома Романовых. На этом письме С. Д. Шереметев крупным почерком начертал два слова: «Восторг души». Сам он его отнюдь не разделял, трезво оценивая ситуацию, и видел тревожные симптомы надвигавшихся событий.

Приближенные, министры, члены Совета поглощены мелкими личными интересами либо прекраснодушными проектами. Россия катится в пропасть, а у них бурю возмущения вызывает простое замечание в Государственном Совете, высказанное якобы не по рангу. Шереметев пишет:

«Глубокоуважаемый Михаил Григорьевич! Два новых назначения — двух князей доказывают порочность системы пополнения членов Государственного Совета... по этому пути мы дойдем до пределов... Доколь? Простите сорвавшееся с языка, болезненное... (непонятно.— А. А.) человека, но чувствующего, что ему не поставят в вину слово горечи и обиды — ради любви к Родине! Глубоко — мало — преданный С. Шереметев».

«Порочность системы...», «дойдем до пределов...», «глубоко — мало — преданный...» — о многом говорят эти слова, произнесенные человеком, близким к трону, в канун революции.

Не только в Государственном Совете, но и царю не раз высказывал Шереметев свое возмущение. Ирина Владимировна Шереметева рассказывала, как однажды за обедом в присутствии Распутина Сергей Дмитриевич заметил Николая II, что Распутин погубит не только его, царя, но и Россию.

Знаменательно, что в 1912 году, незадолго до торжественного 300-летия дома Романовых, он приходит к решению уйти от дел. Сначала, 7 мая, просит дать отпуск и уезжает в Копенгаген. В июле 1912 года ведение своих дел в имениях и лесных хозяйствах поручает управляющему Л. Ю. Рейхарду, ведение денежных дел — А. А. Зосту и Вестбергу, а наблюдение за всем передает сыну Борису Сергеевичу. Сам же подает рапорт об отставке.

Но самыми поразительными, пожалуй, стали строки из его писем, касающихся общей оценки властей предержащих. Вот одно из них:

«Зачем искать корень зла где-то извне, когда зло перед нами. Зло состоит в том, что само существование царской фамилии есть существование искусственное, вне народа, которого они не знают, вне страны,— она для них только Царское село,— вне любви к стране, которой они не желают знать, и только говорят патриотические фразы, от которых тошнит».

Когда эти слова я прочитала А. А. Гудовичу, внучку С. Д. Шереметева, то они показались ему просто нонсенсом. «Вся жизнь деда опровергает это... он никогда не критиковал, не высказывал таких мыслей...» Что ж, это подтверждает лишь то, что человек многообразен, мысли его, в сущности, никому не ведомы, а нравственные взгляды Шереметева таковы, что он не считал возможным высказывать детям замечания о том, чего нельзя изменить.

Наступило время, когда над всем шереметевским делом, всей его историей нависла гроза. Как повел себя в тёх обстоятельствах граф Шереметев?

Уже закрыты банковские счета, национализированы фабрики, дворцы, имения разорены... Многочисленное семейство потянулось в Москву, в наугольный дом на Воздвиженке, в родное гнездо... Опустели магазины, на улицах грязь, стали пропадать люди: вечером — обыск, днем — допрос, ночью — пуль в затылок... Было от чего прийти в отчаяние.

Однако старый граф держал себя так, словно не произошло ничего чрезвычайного. По утрам он надевал белую рубашку, галстук, брал трость и отправлялся в церковь или в учреждение. Если домашние сетовали, что все пропало, все потеряно, он отвечал: что наши потери в сравнении с тем, что теряет Россия? До него уже доходили слухи о разграбленных ценностях дворцов, церквей, о том, сколько отправляется за границу. Если домашние заговаривали об эмиграции, он приходил в раздражение. Нельзя покидать родину, нельзя перевозить свои капиталы, ибо предки наживали все это для своей страны, для народа.

— У нас нет настоящего, но зато есть прошлое, и его надо сохранять во имя будущего, — говорил он.

Сергей Дмитриевич был теперь озабочен тем, чтобы сохранять во имя будущего созданное предками, не дать погибнуть Кускову, Остафьеву, Останкину... Надо брать их под охрану государства, находить знающих, «хороших» людей. И он находил. К примеру, еще перед войной в Брасове, в Кускове много писал художник С. Ю. Жуковский, знавший и ценивший пушкинскую эпоху. Его да В. Н. Мешкова по настоянию графа привлекли в Комиссию по охране культурных ценностей. Он просил установить дни и часы для посетителей Кускова, превращавшегося фактически в музей.

Удивительно разумное, терпимое отношение к свершившемуся проявлял граф во время обысков. Когда требовали оружие, шутя отвечал чекистам: «Вам какого века оружие? XVIII? XIX?» — И показывал алебарду или дуэльный пистолет из своей коллекции.

Трудно поверить сегодняшнему читателю, но потомки рассказывают, что старый граф более болел душой за родину, чем за свои миллионы. Мало того: освобождаясь от бремени частной собственности, он чувствовал облегчение, видимо, людей такого мечтательного типа она тяготила.

Как только началась революционная неразбериха, он стал просить представителей древних фамилий везти к нему в дом их частные архивы — владельцы уезжали, бесценные свидетельства могли исчезнуть. Так было создано на Воздвиженке Хранилище частных архивов.

— Надо немедленно открывать музеи, пока холод и беспорядки не уничтожили всего... — горячаясь, говорил граф сыну. — Нельзя ничего продавать ради того, чтобы насытить

желудок. Рембрандт, Рафаэль, Van Дейк, Кипренский, Грэз — все это должно принадлежать народу, России, не для себя мы их собирали...

И еще он торопился передать детям и внукам свои заветы: «Не живите себя любивой, мелкой жизнью, живите для пользы нуждающихся!», «Берегите наше дорогоечество! Они — кормильцы, основа нашей России!». И, конечно, Сергей Дмитриевич был истинный христианин. Он писал о роли церкви: «...когда же государство лишится последнего и главнейшего своего оплота — церкви, тогда осуждено оно будет на справедливое,ineбежное разрушение! Падение его будет неумолимо как последствие роковых течений и пагубного попустительства...

Трагическая участь постигла дворянство в годы революции. Об этом много написано, и нет смысла повторяться. Но нельзя не сказать о том, с каким мужеством встретил С. Д. Шереметев свой последний час и как трагична его посмертная судьба.

О том, что произошло в ноябрьскую ночь 1918 года, бесстрастно поведала О. Г. Шереметева, жена Бориса Сергеевича:

«10 ноября 1918 года, вечером, около 10 часов ночи, в большом доме (на углу Воздвиженки. — А. А.) приехали несколько автомобилей с чекистами, Петерс во главе. Ворота заперли и произвели обыск. Увезли всю переписку Сергея, все золотые вещи, в общем на 10 000 000 золотом. Приехали, видимо, с целью арестовать Сергея, но он так плох, что уже несколько недель лежит в постели (у него гангrena ног). К нему ворвались тогда, когда ему делали перевязку... Положение Сергея настолько серьезно, что его не арестовали. Зато увезли Павла, Бориса, Гудовича, Сабуровых. Перерыли весь дом и возились до 7 часов утра. Между прочим, зашли к Рейхардту и у него сделали обыск, но небольшой. Нас не тронули. Всю ночь мы слышали, как пыхтели, подъезжая и останавливаясь, автомобили, и видели, как в полусвете сновали люди...»

4 декабря 1918 года, в Варварин день, в лютый мороз, по заснеженным, оледеневшим улицам Москвы на простой телеге гроб с телом С. Д. Шереметева увезли на кладбище Новоспасского монастыря. За подводой медленно брели близкие и знакомые, осиротевшие родственники.

Он завещал похоронить себя в Новоспасском монастыре, где была усыпальница Романовых и Шереметевых, где похоронена его мать, но — увы! — и после смерти не нашлось ему успокоения. Монастырь к тому времени превратили в концлагерь, усыпальница была разграблена... На долгие годы забыли даже самое имя человека, который столь много сделал для истории и культуры России. Увы, сегодня дело его — особенно усадьбы, Михайловское и Остафьево, — в самом печальном виде... Как нужна им чья-нибудь помощь!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА

"ГЕРОИ ВЕЧНЫХ КНИГ"

Продолжение. Начало в № 5

прототипом своих героев одногого и того же человека. Любопытно, что романы отстояли по времени на 40 лет. Кто этот человек, героям каких романов он стал?

Жестокий и лицемерный одногоний пират Джон Сильвер из "Острова Сокровищ" остался в нашей памяти на

всю жизнь. Не может быть, чтобы такая колоритная фигура не имела прототипа! И где нашел Р.Л. Стивенсон остров, ставший знаменитым?

Мы прощаемся с Вами до следующего номера журнала. Удачи Вам на данном этапе викторины!

Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию вопросы второго этапа нашей викторины.

В отечественной, да и в мировой литературе это единственный случай, когда два великих писателя взяли

Александр АНТОНОВИЧ

ОТПУСК

Повесть

Много лет назад в редакции появлялся скромный молодой человек. Он приходил в отдел поэзии. Но оказалось, что Александр Антонович пишет и прозу. Позже он эмигрировал из страны. Мы считаем своим долгом познакомить читателя с прекрасной повестью «Отпуск», принадлежащей его перу.



Рисунки Юрия Петелени

Глава первая

Я бывал в этой деревне когда-то, лет, наверное, пять назад, и уже тогда она оправдывала свое название — Пустые Вторники.

Вначале войны, а потом и другие невзгоды стронули людей с места, и, когда я в первый раз вышел на заросшую травой главную улицу, деревня была уже пуста... Некоторые дома были вовлечены в центростремительное движение человеческих дорог и тоже ушли куда-то за тридевять земель, а точнее, за восемь километров — в районный центр. Но таких домов было немного. В основном же все было продано и брошено на произвол дождей и снегов. Сняли новые, только перед войной настланые полы, выломали еще не поточенные жучком рамы да еще кой-чего прихватили по мелочи, а старые, просевшие срубы одиноко уходили к своим строителям — во все понимающую и все принимающую землю русскую...

За время моего отсутствия многое изменилось: что-то совсем прахом пошло, что-то охотники и туристы перешли, да и память моя за это время порядком обветшала, так что узнал я лишь стоявший на отшибе домишко — последнее прибежище какого-нибудь боярина.

Но память и время текут в разные стороны, и, уже входя в дом, почувствовал я, что вряд ли найду здесь тот покой, которым был околдован «в те баснословные годы».

Вместо давным-давно выбитых стекол мутнела ставшая уже совсем ломкой полиэтиленовая пленка. Чувствовалось, что здесь не жили, а только пережидали непогоду и уходили, не думая о возвращении. Воздух в домике был крепко замешан на запахе сивухи, сырости, гнили и окурков дешевых папирос.

Но уже завечерело, и за окном стояла такая непролазно-октябрьская погода, что можно было выпить только полкуружки почему-то солоноватой водки да, уже лежа в спальнике, ополовинить банку тушеники.

И сон пришел сразу, как согрелся.

Правда, ночью проснулся и даже выкурил сигарету, но стоило только прислушаться, как вновь провалился в сон.

Глава вторая

Когда утром (серо и то ли туман, то ли дождь — морщины деревьев за вуалью влаги), когда утром вышел на крыльце, и за моей спиной часы пробили десять раздвоенных ударов, и когда увидел, как медленно впитывают свет намокшие поля, как свет этот огибает каждый куст, каждую ветку, не освещая их; когда вышел в этот словно полуустерпый мир (одна ступенька совсем стыла), почудилось, что эти две недели моего отпуска будут самыми ясными в моей жизни.

Я смотрел вокруг и впервые за многие годы вновь чувствовал ту единственную точность слов, ради которой они, наверное, и рождались. Сейчас я был Богом.

Я видел дерево и говорил — «дерево».

Я видел дом и говорил — «дом».

Это простое название было, казалось, много точнее всего выговаренного мною раньше.

И воздух был плотен и весом, а от земли тянуло польиной свежестью июльского полдня, но обращенная в воду влажная хмарь мерно тюкала в наполненную до краев железную бочку у стены, и звук этот

почти сразу обволакивался тишиной и исчезал, оставаясь только в памяти оглохшего за годы безлюдья сада.

Зачем-то я взял с собой купленные недавно в комиссионном старинные часы с боем — этакий маленький стеклянный кирпичик с белым эмалевым циферблатом.

И когда вставлял в рамы новую пленку, и когда протопил-таки нестерпимо дымящую печь, и когда подмел везде — в общем, когда устроил свое логово и в наступившей после этой возни тишине услышал сначала покойную походку проходящего мимо нас времени, а потом чуть дребезжащий звук точно отбитой четверти, то понял, что все получается правильно, и даже немного поуважал себя за это столь точно угаданное настроение.

Часы шли спокойно. Они не были заражены нервным тиком голосистых будней XX века. Они говорили «тик», потом на мгновение задумывались и, словно подтверждая правильность всего, что случилось за это мгновение, веско молвили — «так»! От этой степенностии появлялось ощущение, что часы не отмеряют время, а только высочайше разрешают ему следовать дальше — уходить, уходить, уходить...

И хотя весь первый день прошел в мелких хозяйственных заботах, в нем не нашлось места для суеты. Я ходил по домам, подворьям, собирая чудом уцелевшие доски, крышки от ящиков, чурбаки, которые могли бы служить табуретками, и тому подобную дребедень, как видно, необходимую для нормального существования дикаря атомной эры.

И часам к пяти (уже начало смеркаться) у меня были стол и дом. За окном рядил все тот же зауныванный дождичек, от сохнущей на полу куртки пахло весомо и спокойно, чуть попахивала солнечной пылью прошлогодня солома в углу, и от всего этого надвинулся на меня тот удивительно чуткий сон (полудрема-полунебытие), после которого просыпаешься сразу и не шальным, а чуть напряженным и отдохнувшим.

Где-то во мне часы звонили по уходящему времени, и спал я, чувствуя это время, постоянно ощущая его движение, и от этого спалось осознанно и без сновидений. Только какие-то туманные полосы в ритме осыпающегося за окном дождя расступались и расступались передо мной, а впереди было то же порошние воздушной влаги, и я чувствовал, что вроде бы иду, но где-то глубоко внутри знал, что это уходит время, уходит в прошлое жизнь, чтобы там стать бесконечной и прекрасной. Бесконечно прекрасной.

Когда я проснулся, стояла уже глухая ночь. Но пробуждение среди темноты не было для меня неожиданностью — как только открыл глаза, я понял, что нахожусь в Осени. И, как только открыл глаза (все стало на свои места), я вспомнил про свечу, которую еще засветло укрепил на шатком столике, и зажег спичку...

От лица отшатнулись стены. И когда свеча вырастала продолговатый голубой лист пламени, и когда тени перестали метаться и, изломавшись, обжились на бревенчатых стенах, пришли в дом тишина и память.

Настоящее вдруг перестало существовать, и на какое-то мгновение вся моя прошедшая жизнь словно отслоилась от меня самого и представила передо мной во всей своей суете и обычности. И не то чтобы не так я жил. Нет. Все было правильно — и работа, и друзья, и любовь. Но все это было ужасающе ровно, однообраз-

но, и не было ничего такого, что могло бы осветить или сжечь будничное накопление житейского опыта, который в таком случае не стоит и ломаного гроша.

Так внезапно подумалось мне, и хотя минут через десять я вернул это прошлое в себя и нашел себя в нем, и нашел все это не таким уж никчемным, все равно осталось какое-то недоверие к себе — сознание, как треснувшее зеркало, отражало двух разноодинаковых людей.

Так думалось мне. В общем-то не очень оригинально думалось, да и откуда было взяться оригинальности, когда за стеной (именно «за стеной») маялась безутешная русская природа и уже не плакала, а только причитала и билась последними листьями о мокрые стволы деревьев...

В сенях, чуть перекрывая шум дождя, раздалось какое-то шебуршание, и я подумал, что это мыши, но потом заскреблось сильнее. И тогда я встал, босиком прошел по холодному полу до двери и так постоял немного, прислушиваясь и решая, открывать или нет. За дверью, примерно на высоте моих колен, кто-то дышал, шумно втягивая воздух. Я чуть приоткрыл дверь, и чей-то черный нос сразу сунулся в образовавшийся просвет и громко с присвистом нюхнул. А за носом, в последнем отблеске свечи, флюоресцирующим огнем вспыхивал большой, казавшийся сиреневым, глаз. Все это было настолько не страшно и по-домашнему, что я отпустил руку. Черный нос энергичным движением распахнул дверь, и в восторженном безмолвии мне на грудь бросилась насквозь мокрая псинина. Это был большой бело-рыжий пойнтер, судя по всему, молодой и хороших кровей.

Явление это было столь приятно и неожиданно, что я вначале даже не задался вопросом, как он мог оказаться один посреди промозглой октябрьской ночи. Он был. В избушке уже волшебно запахло сохнущей псиной, и этого было вполне достаточно.

Пес, видимо, очень устал, потому что, съев остатки тушеники, мгновенно провалился в сон, и я даже не успел расстелить чехол спальника, сделать ему какое-то подобие лежанки.

Я забрался в свое еще не остывшее логово и почти сразу же уснул, подумав только, что завтра утром нужно ждать гостей: накричавшись по лесу, хозяин собаки наверняка пойдет по близлежащим деревням. А было их не так уж много.

Но утром к нам так никто и не пришел.

Глава третья

Все утро с рассвета сквозь сон я чувствовал, что произошло или должно произойти что-то хорошее, но еще не знал, а точнее, не помнил, что это. Примерно такое чувство бывает у детей в первое утро нового года, когда сквозь сон чуешь еще непривычный запах за ночь выросшей в углу елки и знаешь, что тебя ждут подарки, и что в квартире тишина, и все домашние в сбое.

Так я и проснулся.

Было чуть сыро и довольно прохладно, а посреди комнаты, свернувшись калачиком, спала собака. За ночь она просохла, и ее гладкая шерсть тускло блестела в тяжелом свете падающего из окна осеннего утра. Видимо, я зашумел, потому что собака (как же ее зовут?) открыла глаза и слабо ударила хвостом по серому полу. Но с места не сдвинулась.

Было уже около девяти. Судя по всему, дождь кончился ночью, и ветер сдул влагу с пожухшей травы и последних листьев. Сухой бумажный щорох стоял над деревней, подчеркивая ее пустоту и заброшенность.

Но в лесу было еще влажно.

Не без опаски взял я с собой в лес собаку. Я боялся, что она кинется на поиски хозяев и опять запутается и выбьется к какой-нибудь дальней деревеньке, где ее посадят на цепь или же, если, не дай Бог, она кого-нибудь напугает, просто пристрелят.

Но опасения были напрасны. Мой безымянный гость ходил кругами на расстоянии прицельного выстрела, и хотя я не очень разбираюсь в натаске охотничьих собак, но его поведение я оценил как вполне грамотное и заслуживающее всяческого поощрения, о чем не преминул ему сообщить во время первой же остановки.

Я присел на пенек и свистом подозвал пса, который спокойно выслушал мою проповедь и опять пошел в поиск, пошел бесшумно, и только по оголтелым крикам сороки я мог догадаться, что он где-то рядом. Сорока следовала за нами издалека, чуть ли не от самого дома, и поэтому я привык к ее крикам, и они стали для меня частью тишины, ее вторым планом, ее глубиной.

Я сидел на темном, цвета подсыхающего чернозема, пне и сквозь джинсы чувствовал влажную и от времени чуть ребристую его поверхность. Годовые кольца замели и словно выступили над плоскостью среза. Срез же шел чуть под углом, и по всему по этому было очень удобно сидеть плотно, чуть откинув тело назад, вытянув ноги в давно промокших кедах, и смолить отсыревшую сигарету.

Собака раскручивала спираль поиска, и крики сороки слышались уже издалека, почти из небытия.

Я сидел в сумраке грибного запаха, слышал падение каждого листа, ясное дыхание просветлевших полян, и бесконечная, спокойная тревога наполняла меня. Тревога эта была всего лишь узнаванием этого леса, этих просек, этих идущих, плывущих куда-то стволов. И та моя жизнь, откуда я приехал (а может быть, вернулся?!), стала наконец *моей* жизнью. Во мне не было уже взгляда на себя со стороны — из окна дома, машины. Я был самим собой. Я обрел прошлое, невыражаемое, непересказываемое, — прошлое души. До чего же мы самонадеяны, одиночки и беззащитны, если прогресс лес, приблудная собака и полуразвалившийся дом с выбитыми стеклами вот так просто возвращают нас самим себе.

И я, наконец, вспомнил, разрешил себе вспомнить тот свой приезд сюда же, в этот же самый осенний лес... Всего пять лет назад.

Как же я мог тогда не понимать всего настоящего богатства своего, всего счастья (настоящего и того, которое ведь можно еще было придумать), каким же жалким властелином мира я был тогда, шестьдесят месяцев назад. Чем же таким я был упоен, что почти не замечал ни любви, которая все-таки была, ни этой растерянной и беззащитной природы?! Кем же таким я был, если сейчас в памяти не та женщина (зачем же я так?!), не сеновал и солнце, не свет все сжигающего костра, а только Я! Я! Я! Что же такое я был тогда? И что же такое я есть сейчас?

Ко мне вернулось прошлое. Вернулось без цвета и жеста, без запаха и слова, а все сразу. Я понял, что все-таки жил!

Как же это было хорошо — жить.

Я вдруг осознал ту свою (почти уже утраченную) возможность будущего. Пусть я прожил его, плохо прожил, но этот распахнутый мир все-таки принял меня и одарил тем же бесконечным временем, которое оставляет нашу любовь и раздувает искры давно забытых страданий.

Вперед!

Захотелось вскочить и, вскинув руки к низкому небу, прокричать что-то. Прокричать громко. Горлом. До хрипа. До последнего надсадного, сиплого выдоха сжавшихся в стонущий комок легких, и я уже качнулся вперед и тут, словно очнувшись, услышал треск сороки над головой и увидел стоявшего в нескользких шагах от меня пса. Он смотрел на меня, чуть наклонив голову влево, и я видел, как хочется ему подойти, подбежать и как он, бросив плотными ногами в полегшую траву, дрожит от этого желания, но не решается (или боится?) двинуться с места. Но, поймав мой взгляд и поняв (черт его знает как!), что холодный мокрый нос будет лучшей примочек моему возвышенному настроению, он сорвался с места и на выдохе, с едва слышным взвизгом кинулся ко мне. Мы упали и долго и шумно катались по мокрой траве, и целовались, и боролись, и опять целовались и, наконец, устали и так и остались лежать: я — на спине, он — на мне, положив тяжеленные лапы и голову мне на грудь.

Домой мы шли быстро. Легкий ветер, которого я раньше почти не замечал, теперь выступжал на сквозь мокрую куртку, джинсы и меня самого, так что я вынужден был время от времени ускорять шаг до бега, чтобы сбросить леденящую судорогу, в которую перешли минутные просветление и радость. Из-за этого внезапного перехода или из-за того, что тучи неслись уже низко, почти задевая вершины деревьев, и казалось, что вот-вот начнет накрапывать, кропить, сеяться, дождять, и уже почти чувствовалось на лице это влажное бескрайнее пространство осенних будней, или просто потому, что мне было холодно и я хотел только одного — побыстрее добраться до дома, но осенний лес, достойный самого пристального внимания, сочувствия, осенний лес проходил мимо меня, мимо меня, мимо меня...

Собака теперь не кружила вокруг, а шла впереди, даже не оглядываясь. Палая листва уже не горела, а только теплилась отраженным светом серых облаков, и свет этот угасал, словно затягиваясь пеплом.

Дома нас ждали гости.

Полупрозрачный горячий воздух дрожал над трубой, бледные искры стягивались по ветру и гасли, сливаясь с редкой желтой листвой сада. Дыма почти не было, и это означало, что топили давно, не жалея дров.

Глава четвертая

— А вот и хозяин. Вы уж нас горемычных прости...
те...

На столе почтая бутылка водки, шмат розового сала. В углу на моем спальнике, привалившись плотной спиной к стене и вытянув на середину комнаты ноги в болотных сапогах, — мужчина.

На мое «Здравствуйте!» из-за печки вышел второй, высокий, перемазанный сажей. Он мягко и как-то почти нежно сказал: «Добрый день!» — застенчиво

снял очки в тонкой оправе, близоруко поморгал и вновь скрылся за печкой.

Сидевший резко оттолкнулся спиной от стены, встал, коротко и сильно сжал мою руку.

— Лагов Юрий Григорьевич. — Острый, чуть исподлобья взгляд линяло-голубых глаз. — Вы слушаете собаку в лесу не встречали?

В его резком, словно чуть надтреснутом голосе, опущенном плече, в самом развороте фигуры было что-то от быстро идущего человека. Какое-то движение. И когда потом он разливал водку, низко наклонив голову и уверенно торкая горлышком в стаканы, даже в этой статичной позе он двигался. Шел.

— Пес-то?! Да здесь он. — Я обернулся и только тут заметил, что собака не вошла со мной в дом, а осталась за дверью. — Здесь он, — повторил я и открыл дверь, ожидая, что обиженный, так несправедливо всеми забытый пес сидит там. Но и в предбанничке никого не было.

Он сидел на улице, какой-то странно длинный, неестественно вытянув шею, и мелкий дождичек обступал его, и короткая шерсть, помутнев и потеряв цвет, облепляла нелепое, еще почти щенячье тело.

На мой свист, на мое: «Ну, поди сюда!» — он встал, но не подошел ко мне и остался стоять, опустив голову, лишь иногда вскидывая на меня большие виноватые карие глаза. Он ждал наказания. Он боялся этого наказания, но не мог уйти. Бросить уютно сидящего в тепле хозяина и уйти, уйти, уйти... Это была мука кровного родства, неразрешимая и необъяснимая. То же родство связывало его с недалеким затухающим лесом, с этим мелким морошением дождя, со всем миром трав, запахов, шорохов...

И подумалось мне тогда, что уже лишь через живое существо, словно бы его глазами, и может теперь иногда раскрыться перед нами истинная суть природы, от которой мы слишком далеко ушли вперед.

Вся его жизнь сродни детским вопросам: «А что это? А это почему? Зачем так?» Чтобы ответить, надо посмотреть. Чтобы увидеть, надо задуматься... Мысль — понимание — мир — жизнь...

Где-то в этом месте, продолженной и осознанной много позднее мысли, за моей спиной скрипнула дверь и странно резкий в этом обнесенном дождем мире голос Лагова:

— Да бросьте с ним цацкаться! Никуда не денется!.. — На плечо мне легла тяжелая, уверенная рука, и я пошел в тепло, трусливо думая, что в предбаннике и ветра нет, и сено есть — рай для охотничьей собаки.

В домике было действительно тепло.

В печке уже трещали угли, пахло нарязанным луком, и сало, просвечиваясь на сквозь, горело розово-белым, окаймленным желто-серой корочкой, огнем...

— Ваше здоровьичко!..

Выдохнуть, хрупнуть луком, подхватить кончиком ножа обезволоввшую в тепло пластинку сала и на мгновение замереть, чувствуя во рту горьковатый, долго не тающий хрусталик соли...

— Наверно, он зайца поднял и пошел за ним — молодой еще, — пару раз брехнул черт-те где и с концами. Мы уж и кричали, и стреляли... — После выпитой водки Сергей Петрович, так звали мужчину в очках, вначале раскраснелся, покрылся мелкими брызгами пота, но через минуту уже просох, и его длинное, чуть одутловатое лицо, заросшее желтенькой щетинкой, разгладилось и словно потеряло очертания. —

Хорошо хоть Юрий Григорьевич надоумил, что Чанго обязательно на какую-нибудь деревню выйдет — охотников сейчас много ходит, за кем-нибудь да увязнется...

— Вроде тебя охотнички... — буркнул Лагов, чуть приподнялся, и бутылка водки утонула в его руке. — Проспят до полудня, потом, как во сне, по опушке походят, пару раз пальнут для очистки совести по воробьям — и в сельпо. — Он плотно поставил пустую бутылку на покачнувшийся стол. — А, впрочем, и от них польза есть, ежели, конечно, спросонок в тебя не пальнут... — Лагов обращался уже ко мне. — С патронами у нас тут. То пороху нет, то гильз — периферия, — он насмешливо посмотрел на меня, — так вот, как просадится какой-нибудь охотничек, перестреляет в сельпо все что можно, и начинается натурфилософия. Патронов-то они привозят тыщами. Как на войну идут. Мол-цы. Снабжен-цы... Что ж, выпьем, чтоб наши края не забывали. — Лагов поднял кружку.

На окно наваливались сумерки. Угли в печке уже истаяли, и по ногам зябко потянул сырой сквознячок.

— Но ведь я же лося недавно завалил, — обиженно сказал Сергей Петрович, ставя кружку на стол.

— Ты, Башлыков, выюшку-то закрой, а то выступим хозяиские хоромы. Дрова-то ты, небось, все скжег?!

— Сами же говорили: топи, не жалей, спасибо скажет...

— Топи-топи... Котят слепых топить до конца нужно — кошка спасибо скажет.

— Да ничего, — вступил я за Сергея Петровича. — Дров тут на десять зим хватит. Слава Богу, пустых из вон сколько... Любую на дрова пускай...

— Сам-то из Москвы? — недовольно прервал меня Лагов.

— Из нее.

— Впервые здесь?

— Да нет. Бывал уже.

— Давно ли?

— Да не так, чтобы очень, лет пять назад. Уже пусто все было. Один пастух вон там, напротив, жил... Толик, кажется...

— Толик? Был такой... Был.

— Умер, что ли? Вроде не старый.

— Да нет, коптит еще. Пьет по-черному, как из колхоза похерили. Инвалидность какую-то выхлопотал. Пастушество бросил. Отсидел свое и пьет.

— Сами же выгнали, — неожиданно высоким голосом сказал Башлыков.

— Ну и выгнали... Так за дело же выгнали. Сам знаешь.

— За какое такое дело?! Что мальцов кормить нужно было?!

— А сиди уж ты! Хватало ему и без соли.

— Так что же он все-таки сделал? — не выдержав, спросил я.

— Да подворовывал по-своему. Он же телок пас. Весной по весу их принимали. Ну, за лето они там чего-то нагуливали, вес набирали... Ну, с этого привеса и платили. Так ему мало показалось. Не захотелось, видите ли, ишачить, чтобы телухи действительно вес набирали... Так он перед сдачей покупает мешок соли и скармливает телухам — им соль-то только подавай... А после соли, известно, пить хочется, ну, он их перед приемным пунктом и поил от пузза. На каждой килограмм десять лишних брал. Телки-то потом отоссутся,

и привесу как не бывало. А ему-то что — в накладных все зарегистрировано. На бумаге привес-то уже есть.

— Так они же больше в весе теряли, когда их своим ходом на бойню гнали, — вновь подал голос Сергей Петрович.

— А это уж не его было дело. Не его! Тут хоть без воровства — естественные потери. Никто их к себе в карман не клал.

— Да лучше бы уж клали! — Видимо, спор этот был давний. — А то как собака на сене...

— Хозяйская собака на колхозном сене... Да не слушайте вы его! — обратился уже ко мне Лагов. — У него в этом деле личный интерес есть.

— И никакого такого...

— Да сиди! — тебе говорят... — Лагов резким взмахом руки оборвал взъерошившегося Башлыкова. — Не темни. Всем ведь известно, что на Дашку глаз положил, да не дает она тебе, вот и страдаешь, виноватых ищешь... Да и не даст. И правильно делает. На кой лях ты ей со своими соплями нужен?! А что она от пьяного отца к кому ни попадя бегает, так уж извини, коли лю-юбиши.

— Да ни к кому она не бегает...

Лагов спокойно нагнулся, запустил руку в стоявший у ног тощий рюкзачок, выудил оттуда вторую бутылку, медленно сорвал шляпку и насмешливо спросил:

— Так уж и ни к кому?! А когда они с Колькой Бараном чуть не гектар овса помяли, уж не в лапту ли играли?! А с Петькой... Да что там... Дурило ты грешное, выпей-ка лучше...

— Не буду я с вами пить! — Башлыков чуть не плакал.

— Ой ли? Будешь! Еще как будешь! Я вот тебе за сегодняшний день прогул выставлю, и выпьешь. Как миленький выпьешь.

— За что же прогул-то? — все тем же страдальческим голосом спросил Башлыков.

— А-а, испугался! Дашку он, видите ли, любит... Отелло. А прогул за то, что ты на казенной машине свою собаку искал... Да еще за бензин вычту да за резину...

— Я же вас... Вы же на охоту ездили...

— Я? На охоту? Да ты что? Я озимые ездил смотреть. Они же без хозяйствского глаза захиреют. Выпей, кучер, не смеши народ.

— Да ведь за рулем же я...

— Впервый, что ли, за рулем пьешь?

— Да и почки у меня... и сердце...

— Почки промывать надо, а сердце... Так ведь за Дашеньку, за Дарью Анатольевну пить будем. Подставляй посуду!

— А может быть, все-таки не стоит?! — попытался вмешаться я.

— Стоит. Если стоит, то стоит. — Лагов зло подмигнул мне. — У него же слова все. Никудышный человек. Книги читает, а вот сейчас выпьет и плакать начнет и Дашку материть. Я его, цуцика, как облупленного знаю. Как из армии комиссовали, у меня шоферит. Второй год уже. Выпьет. Как миленький. Сука. Ну хоть бы драться когда полез, хоть бы обругал меня или на грузовую ушел от моего самоуправства... Не-ет. Никогда! И зачем я его держу при себе — сам не знаю. Ведь что случись — поставки там не вытянем или падеж будет, — так ведь первый же продаст.

Башлыков сидел, надув губы и уставившись пустым взглядом в угол.

— Виши, — кивнул головой Лагов, — молчит. Продаст... Только не будет этого. Я вытянул этот колхоз и уж больше не выпущу. Слово волшебное знаю. Маленькое такое словечко, вроде пустяковое — «надо»! По бревнышку весь колхоз раскатая, а все будет в ажуре. За то и уважают. — Лагов воткнул бутылку в кружку своего личного шоferа и, пока она долго булькала, узкими монголовидными глазами смотрел на Башлыкова. Тот сидел молча. — Ну, что я говорил!.. Так выпьем за извозчиков, за наши лошадиные силы, ну и за радость нашу Дарью Анатольевну. Тут уж надо до дна. Слыши, Башлык. — Он ткнул пучок лука в крупную сероватую соль и словно дирижерской палочкой помахивал им перед носом Башлыкова в такт его тяжелым, через силу, глоткам. Когда же тот, давясь самым последним, самым нестерпимым глотком, схватился рукой за напряженно дрожащий кадык и кинул на стол пустую кружку, Лагов вручил ему пучок лука, и Сергей Петрович с трудом выдохнул:

— Спасибо...

Услышав это «спасибо», Лагов захохотал.

— Ну, что я говорил! Благовоспитаннейший человек. Человек нашего будущего! — почти кричал он. Потом резко оборвал смех, помрачнев, одним движением влил в себя водку и, не закусывая, закурил.

Нехорошая тишина настала в доме. Было слышно, как потрескивает отсыревший табак и как слабый ветер путается в соломенной крыше. Но над всеми этими звуками господствовало загнанное дыхание Сергея Петровича.

Молчание нарушил все тот же Лагов:

— Вот читал я где-то или по телевизору передавали, что в Японии на заводах ставят резиновых кукол, похожих на мастера цеха. И когда у рабочего накипит злоба, идет он в особую комнату, где этот гандон стоит, и мурлыжит его почем зря... А потом опять к станку... И мастер цел, и работяги разрядка... — Он помолчал. — Так вот я иногда думаю, что Башлык у меня вместо этой куклы. Бывает, в районе тебе клизму вставят, там-то не очень поорешь, им-то не докажешь, что ни хрена не смыслится, что мне лучше отсюда, сблизи, видно, что и когда и где сеять, не докажешь им, паскудам, что для меня колхозная выгода главное, чем для них. Им же не докажешь, что со связанными руками я много не наработаю, что свобода действий мне нужна, и кулаком по столу нешибаешь, покладистых-то председателей всегда найти можно, им-то что с того, что тихони колхоз до кальсон разденут. — Лагов выругался. — И вот выходишь, кипишь, как самовар, и тут тебе — Сергей Петрович Башлыков собственной персоной. Малость с ним поговоришь на душевные темы, глядишь, и полегчает... — Лагов замолчал, пососал потухшую папиросу, кинул ее на пол и, поднимаясь, сказал: — Резиновый ты у меня, Башлыков! — Встал и, со злостью шибанув дверь ногой, вышел во двор.

Башлыков, который до этого сидел, с трудом удерживая руками падающую на грудь голову, от этого стука встрепенулся и с пьяной ненавистью посмотрел на дверь... «У-у-у... Ссуга... ссадист...» Потом медленно перевел взгляд на меня и словно удивился тому, что я здесь.

— Вы? — спросил он, как будто во всем мироздании для него, кроме Лагова, никого не было да и быть

не могло. Потом он пригляделся ко мне и, может быть, даже узнал, по крайней мере удовлетворенно сказал: — Вывыыыы!.. Вы-ы... не слушайте его... Поднял колхоз и думает, ему все можно... Он ведь сам на Дашку глаз положил и злобствует, ссуга... Вот денег скоплю и увезу... Не поедет?! — вдруг рявкнул он. — Поедет, падла! Захочу — и моя будет! Это вам Башлыков говорит! Это точно. Что, не веришь? — Он схватил меня за руку, и глаза его помутнели от пьяной ярости. — Да я тебя!.. — Но, видимо, эта вспышка отняла у него последние силы, и он начал как-то странно оседать, словно бы из него выходил воздух. Голова его почти упала на стол, он что-то еще бормотал, булькая слюной, скопившейся в углу рта, потом вдруг поднял голову, неожиданно трезво посмотрел на меня и внезапно произнес: — А Лагов-то доносами в люди выбился... Сколько людей насажал... — Тут голова его тяжело упала на стол, и Башлыков заснул.

— Вот сволочь! — раздался за моей спиной голос Юрия Григорьевича. — Говорил же, стоит до ветру отлучиться, а он уже готов наплести хрен знает что, пашенок. — Голос его был по-прежнему резок и трезв. — Уснуло наконец дитятко мое ненаглядное. Ну, как говорится, баба с возу... А впрочем, и пора нам...

— Да куда же вы поедете? — Я мотнул головой в сторону Башлыкова.

— А-а, не бери в голову! Я ж полвойны за баранкой провел, получше его шоферю. Ну, на посошок, что ли?! — Он разлил остатки по кружкам и, не дожидаясь меня, выпил, утер рот рукавом, с какой-то странной издевкой сказал: — Благодарствуем за компанию. — Взял свой пустой рюкзачок, так же легко поднял обмякшего, жидкого в суставах Башлыкова и повел к двери.

Я остался в доме.

Через какое-то время за стеной засипел стартер, потом «газик» нехотя, прокашлявшись, завелся, и Лагов, не прогревая мотора, воткнул скорость, дал полный газ, и машина, повизгивая застывшими шестернями, уехала.

Свеча догорела уже почти до конца. Лужа стеарина расползлась по столу, затопив окурки, серебряные крышечки бутылок, рассыпанную соль, жесткие стрелы осеннего лука.

Я дунул на свечку и вместе с темнотой упал на еще теплый спальник.

Глава пятая

Я проснулся от холода. В комнате стояла непроглядная темень, и только едва заметное окно висело в темноте. Было холодно, сырь, и от этого запахи приобрели плотность воздуха. Ко всему прочему болела голова. Я полежал немного, зная наперед, что скоро не засну.

Я вспомнил эту нелепую, бессмысленную пьянку, и мне стало стыдно и за Лагова, и за Башлыкова, а более всего за себя самого. Необходимо было убрать комнату, проветрить ее, протопить печку — словом, привести в порядок, очистить хотя бы окружающее меня пространство.

Я встал, нащупывая полку, где лежали свечи, зажег одну, потом вытянул вышукту и ворзузил на эту образованную полочку огонь. Когда я обернулся, то комната, освещенная этим идущим свысока светом, представляла передо мной во всей своей неприглядности.

Дрова действительно были сожжены подчистую. Даже запас лучины, которого мне хватило бы на несколько дней, исчез.

Я засунул в задний карман холодный фонарик, надел куртку, застегнул ее до самого горла, собрал всю грязь со стола в газету, сунул под мышку топорик, задул свечу и, неуверенно ступая в темноте, двинулся по дровам.

Я толкнул плечом дверь, она открылась, и в сенцах кто-то с шумом вскочил.

Я даже не успел испугаться, когда до меня дошло, что это Чанго. Он остался здесь. Сквозь туман похмелья я вспомнил свист Лагова и потом его ругань. А когда услышал, что пес, просыпаясь, встряхнулся, и когда увидел его смутную тень, скользнувшую во двор, я убедил себя, что сквозь пьяное небытие слышал и сопение, и сонный взлай.

Мусор я выбросил в первую же канаву.

Чуть брезжило.

Уже по-рассветному редел воздух, и угомонившийся ветер чуть слышно полз под прилипшей к земле тоненькой полоской холодного тумана.

Деревья стояли тихо, и их протянутые к небу ветки сливались с темнотой. Только незаметный отблеск мокрого ствола да неслышимое ш-ш-ш зависшего на паутинке листа говорили, что с миром ничего не произошло.

Мы шли по обочине улицы, обходили туманности луж, проходили мимо невидимых, затаившихся в темноте домов, и нужно было сохранять равновесие, потому что казалось, что идешь по гребню горы.

Странная ночь стояла над землей — она еще более округлила планету, и все, что не лежало на своем пути, было за горизонтом, тихо сползло туда, вниз, за пределы памяти, в хлябь предчувствий.

Я зажег фонарь. Чанго, который до этого шел, наступая мне на пятки, осмелел и, поминутно останавливаясь и принюювшись, высоко поднимая ноги, заструсили впереди и чуть сбоку, у самого догнивающего на земле забора.

Тучи опустились совсем низко и плыли теперь по границе фонарного света.

Быстрые тени обжали заброшенные сады, и в окнах полуразвалившихся домов заискрились острия разбитых стекол.

Я свернулся к первому возникшему из темноты дому.

Оставленные бродячими актерами декорации были в ночи совсем как живые. Допревающее сено, отставшие от стен газеты да впитывающие звуки провалы тьмы в побитых окнах — все это лишало дом пустынной гулкости, убивало короткое, звонкое, болезненное эхо оставленного людьми жилья, и горько было понимать, что дом мертв, что все это лишь ночной мираж. Но и сознавая это, было трудно ударить топором по криво висящим останкам двери, несколькими взмахами, прямо в оконных проемах, разрубить затухлявшие поверху рамы и вытащить их вместе с навсегда сросшейся с ними паклей. Трудно было поднять руку на этот, казавшийся еще живым, дом. Днем все было бы проще, но ночью... Ночью все мы удивительно одиноки, и потому-то мы так светло и беспросветно любим ночами, потому-то именно ночами переполняет нас жажда простого человеческого общения, потому-то именно ночами и решаемся мы на самые безрассудные поступки и слова, не желая видеть лжи, их вспаивающей.

Ночная церковь, невидимые, но глядящие на тебя лики говорят нам о вере больше правды, чем речи всех толмачей мира.

И ударив топором в первый раз, и услышав глухой отзвук влажного, спяянного десятилетиями сруба, и ощущив в себе никчемную радость святотатства, я понял, почему так резко прервал меня Лагов, когда я заговорил об этой покинутой всеми людьми деревне как о складе никому не нужных дров.

В этих пустых, пошедших прахом домах было, наверное, какое-то подобие и его прошлого. Точно так же, как кто-то эту деревню, он, вероятно, когда-то покинул себя, чтобы стать таким, каким он стал. И, как всякий уверовавший в свою цельность человек, он выстраивал себя прошлого, по образу и подобию себя нынешнего, не допуская никаких разногласий. Но, видимо, иногда его мучила ностальгия — тоска по себе покинутому.

Бревно подгоняется к бревну труднее, чем кирпич — к кирпичу, и держится бревна без всякого цементного раствора, срастаясь телами, потому зачастую и стоят дольше, и разрушаются не поодиночке...

Так думал я, когда невидимая в темноте влажная труха летела из-под топора и, казалось, застrevала в плотном и таком же влажном воздухе. Шум, который я производил, тоже задерживался здесь — на расстоянии вытянутой руки, и все эти мокрые щепки и звуки образовывали вокруг меня какой-то странный кокон, внутри которого добывал я себе тепло, разрушая чью-то, невесть когда и кем прожитую жизнь.

Много ли тепла можно добыть таким способом?!

Дым.

Дым и редкие, словно тоже отсыревшие языки пламени. Вот и все, чего мне удалось достичь в эту сырью ночь...

Я накормил Чанго, разрешил ему забраться в ноги спальника и пригласил свечу. Туманно-красный свет клубами вырывался из печки и, потеряв яркость, лентами втягивался назад. В комнате стало совсем темно и тревожно.

Понимая, что дровяная труха будет тлеть до утра, унося в низкое небо остатки тепла, я все же разделся и, потеснив бесчувственное тело раскинувшегося пса, забрался в мешок. Чанго недовольно рыкнул сквозь сон, а потом, видимо, проснувшись и устыдившись собственной наглости, немного подвинулся и даже перестал сопеть.

Внезапно тень часов, и тепло собачьего тела в ногах, и чуть жестяной трепет полиэтиленовой пленки в окне, и темнота, обжившаяся в сознании, — все это вдруг прояснило мою память, словно я пролежал в недвижности века, и взвесь случайных встреч и разговоров наконец осела во мне, уступив место горькому сентябрьскому воздуху настоящих воспоминаний.

Видимо, меня все же задел вчерашний разговор, потому что вначале показалось мне, что я видел эту Дашу раньше, а подумав так, я заставил себя вспомнить и обстоятельства, при которых это произошло.

В тот наш приезд в Пустые Вторники кончилось у меня курево. Это событие совпало с неодолимым желанием Анатолия (пастуха, который летовал здесь) выпить. В то утро он даже не выгнал из загона своих удивительно глупых телок, а под их голодное мычание ходил взад и вперед по пустой деревне, видимо, в поисках уважительной причины для поездки в центр.



Хотя, судя по всему, никакого сверхспешного дела придумать он не мог, он пригнал с выгона старого мерина по кличке «Мальчик» и привязал его к изгороди недалеко от телеги, подготовив тем самым все необходимое для успешного проведения операции. Известно чем, но неизвестно, когда кончились бы его мучения, если бы я не подошел к нему и не пожаловался на отсутствие сигарет.

Услышав это, он мгновенно достиг вершины самоожертья. Ради того, чтобы у меня были сигареты и я мог бы спокойно продолжать заслуженный отдых, Анатолий готов был пойти на любое прегрешение. Ни слова не говоря, он пошел в избу, вытащил оттуда сбрую и начал запрягать унылого Мальчика.

— Будет тебе курево! — заверил он меня и уже начал подгребать в передок сено, когда я попросил взять в центр и меня. Хлеб был уже на исходе, да и какой-нибудь местный деликатес, вроде окаменелых пряников, мог приятно разнообразить наше тушеночно-вермишелевое меню.

— Давай! — только и сказал он, и спустя несколько минут мы уже погребально тряслись по заросшей лесной дороге. Путь был недалекий, но скоростные качества нашего мерина остались в его легендарной молодости, и поэтому ехали мы довольно долго. Видимо, в предвкушении близкой выпивки обычно говорливый Анатолий был немногословен. Он не хотел разменивать свое почти святое ожидание на мирские слова, и только иногда легкий, как майский ветерок, мат размыкал его суровые уста, и тогда Мальчик взбрыкивал и делал несколько шагов чуть быстрее обычного.

Молчал и я.

Поездка в телеге (по крайней мере первые три-четыре километра) для любого городского жителя наверное, своего рода откровение.

Чавк! — копыта по неподсохшей грязи, ветви деревьев в ритме гипнотического транса, проплывающие около самого лица, да извечный, доносящийся еще из книг сентименталистов скрип несмазанной телеги — все это имеет для горожанина свою непреходящую ценность.

Но все же доехали.

Доехали и остановились у селько. Знакомство с ассортиментом и оптовые закупки заняли у меня не более пяти минут, и я был удивлен, когда, выйдя, увидел уже пьяненького Анатолия. Весь его вид говорил, что ждет он меня очень долго и от этого ожидания весь истомился. Причину его томления я понял

чуть позже, когда, по-заговорщицки заслоняя телом, он вытащил из передка почти не начатую четвертинку, заткнутую грязной еловой шишкой.

— Сейчас заедем к моей бабе,— как о чем-то уже давно решенном и обговоренном сказал он.— Это недалеко. Тут. Рядом. А потом и к телухам.

Поняв, что спорить бесполезно, я вернулся в магазин, оправдывая затаенную надежду Анатолия, обзванивая там своей четвертинкой, чем нескованно возвысился в его глазах, и мы поехали.

Жена Анатолия жила в соседней деревне, и хотя деревня эта, судя по всему, была действительно очень недалеко, но дорога столь упорно игнорировала кратчайшее расстояние между двумя точками, что под конец я совсем запутался и оставил смутную надежду, не дожидаясь Анатолия, уйти в Пустые Вторники своим ходом.

Но все-таки приехали...

Проехав половину деревни, мы свернули в проулок. Анатолий, не разнудывая, привязал Мальчика к покосившейся разнокалиберной ограде, приподнял калитку (она была без петель), прислонил ее к забору, и мы вошли. Пошли мимо распахнутого с могильной приветливостью сарая, мимо стоявшего почти посреди тропинки сортира (видимо, хозяева считали, что все должно быть по пути), прошли мимо крыльца, обогнули подворье и еще одно крыльцо, завернули за троицу крохотных сараюшек, аккуратно обошли привольно раскинувшуюся помойку и, наконец, пригнувшись, вступили в частные владения Анатолия Ивановича. Мы по очереди споткнулись об не донесенный до свалки эмалированный таз, повернули куда-то налево, и тут я совсем ослеп и, ощущая протянутыми руками висящие на стенах почему-то мокрые тряпки и скользкие корыта, осторожно шаркая ногами, медленно шел за радостным хозяйственным матюжком.

Меня трудно удивить грязью и бесхозяйственностью сельского жилища, и хотя я не скажу, что все то, что я увидел в доме Анатолия, меня потрясло до глубины души, но это было сильно...

В метре от меня за фанерной переборкой заплакал грудной ребенок, потом раздалось торопливо баюкающее — а-а-а, скрип коляски, все стихло, а мы все шли, шли и шли.

Казалось, что дом этот с каждым поколением людей, его заселявших, разрастался, выбрасывая хилые побеги пристроек и времянок. У меня возникло ощущение, что скоро мы попадем в самый его центр, в суть его, и в этой тьме лицом к лицу столкнемся с той самой первобытной силой, которая и заставляет людей размножаться, не думая о честности и целесообразности этого действия, а лишь полагаясь на инстинкт, который потом все равно назовется общественным долгом.

Но все же вынырнули мы в современном «годовом кольце» где-то на краю дома.

— Ну, мать, принимай гостей! — крикнул куда-то во тьму Анатолий и распахнул дверь.

Грязный свет окон нехотя освещал оклеенные по желтевшими газетами стены, стол, хранивший следы последних трапез, давно не беленную русскую печь с потеками сажи от выношки, лавку около нее, заставленную грязными чугунами и алюминиевыми мисками. Тряпка, закрывавшая вход в комнату, судя по всему, уже долгое время использовалась как полотенце.

В кухне никого не было.

— И где это ее все-таки носят?! — сказал Анатолий и задумчиво выругался. В его голосе услышал я ранее не замеченнюю мной важность, какую-то хозяйствскую. Он подошел к столу, сдвинул пустые консервные банки, селедочки скелеты, уже звонкую горбушку хлеба и поставил на свободившееся место четвертинку, которую неизвестно когда умудрился вынуть из телеги. Я присовокупил свою.

Мне послышалось какое-то движение в соседней комнате, и я кивнул Анатолию: что там?

Он просунул голову в проем и сказал кому-то:

— Чего хоронишься, когда кличут, семь на восемь? Мать где?

— Кто ее знает... — ответил ему слабый девчонский голос. — Не сказывала.

— Ну и лях с ней! Собери-ка нам, чем подавить-ся! — приказал Анатолий и, уже обращаясь ко мне, пояснил: — Старшая.

Я притулился на краешке стоявшей у стола скамьи, а Анатолий взял со стола два стакана, не дожидаясь появления младшей хозяйки, ополоснул их в ведре с водой и, стряхивая мутные капли на земляной пол, вернулся к столу.— Ну, по мафонькой, чтобы не пересыхала...

Я сидел и никак не мог понять не только зачем я здесь нахожусь, но и как умудрился сюда попасть. Эдакое полубредовое состояние. Не хотелось ни пить, ни тем более есть, а только бежать, бежать, бежать... Но Анатолий разлил водку, глухо звякнул своим стаканом о мой, торопливо выпил и сразу же ткнулся носом в руки, не забывая, однако, делать мне знаки, чтобы я не отставал. Но не успел я взять в руки стакан с одиноко плавающей в водке хлебной крошкой, как занавеска на дверном проеме отодвинулась, и на кухню, кутаясь в накинутое на плечи легкое пальто, вышла худенькая девочка лет тринацати.

Большими... огромными грустными глазами она посмотрела мне в лицо и тихо, отчетливо выговаривая каждую букву, сказала: «Здравствуйте!»

Прежде чем она повернулась к печке и начала медленно, как-то безнадежно и бесцельно передвигать нехитрую кухонную утварь, я заметил прядь волос, прилипшую ко влажному лбу, и сухие, обметанные лихорадкой губы.

— Добрый день, — сказал я, когда она уже повернулась и на худой спине сквозь тонкую потертую ткань пальто простили похожие на ростки крыльев лопатки. — Но, может быть, не стоит ничего делать, мы сейчас пойдем... — И, обращаясь к Анатолию, добавил тише: — Она ведь совсем больна. Ей лежать надо...

Но Анатолий, как почти все люди, много и почерному пьющие, уже хмелел, падал в сладковатую истому глубокого опьянения.

В деревне я все время видел его спокойным, но сейчас хищная складка легла от крыльев носа к углам рта, раздулись ноздри и загорелись яростные щелки глаз.

— А-а, всегда она б-больна, — зло сказал он и прихлопнул ладонью по столу. — Сказал, закусить надо, значит, надо! Неделями отца родного не видят... Я на них горб ломаю, а они... — И он выругался.

Девочка у печки только испуганно громыхнула посудой и еще ниже опустила голову.

В этот момент дверь распахнулась и на пороге

возникла невысокая женщина с блестящими глазами и непомерно большими руками.

— Здравствуйте, — сказал я, поднимаясь, и только тут заметил, что так и держу в руке стакан.

— Явился не запылился! — сказала она мужу, не обращая на меня никакого внимания. Она сделала несколько шагов в комнату, и только тогда я заметил, что она сильно пьяна. — Угощаемся, значит, — сказала она, подходя к столу. — Может быть, и хозяйку уважите, люди добрые?! — Тут она словно впервые заметила меня и почти пропела: — О-о, да у нас гости... День добрый! — И неожиданно улыбнулась какой-то ласковой и в то же время озорной улыбкой. Хмель ее словно прошел, и стало видно, что она еще мила и что ей скорее всего не больше тридцати.

— Да вы пейте, пейте! — сказала она, уже обращаясь к Анатолию, не переставая, однако, косить карим глазком в мою сторону. — Пейте да мне налейте.

Я выпил, и дрянная водка местного розлива про скрежетала по пищеводу, все время норовя остановиться, но усилием воли я протолкнул ее в себя, с трудом сдерживаясь, не бросил, а поставил стакан на стол, и сразу, незнамо откуда, в моей руке оказался мягкий ломоть ржаного хлеба.

Дожевав, я зачем-то представился:

— Валерий!

И услышал в ответ:

— Мария!

Она переложила уже наполненный стакан в левую руку, и я ощущил неожиданную мягкость и податливость ее ладони.

— Маша, — сказал я, кивнув головой в сторону все еще тихо возящейся у печки девочки, которая, казалось, боялась привлечь к себе внимание, сделать резкое движение, неосторожно звякнуть. Ее пальтишко сползло и уже чуть держалось на левом плече, но она не поправляла его, а только скособочивалась, все выше поднимая плечо. — Маша, — сказал я, кивнув головой в сторону девочки, — она, верно, больна, ей бы лечь лучше.

— Ничего, — сказала Маша, залпом выпила водку, резко выдохнула в поднесенный ко рту кулак и продолжала уже со злостью в голосе: — Ничего. Замуж выскочит — никто не пожалеет.

В комнате наступило молчание, и только редкие тихие шорохи доносились от печки. Я встал и подошел к девочке. Услышав мои шаги, она замерла, а когда я дотронулся до нее, вздрогнула и отшатнулась. Я поправил сползшее пальто и почувствовал, что она вся дрожит.

— Иди-ка ложись, — сказал я, не снимая руки с ее плеча. — Она неожиданно качнулась ко мне и, повернувшись втянутую в плечи голову, одними губами сказала:

— Не надо... лучше не надо... так лучше...

Огромные, болезненно сияющие в полуутмье грязной избы глаза, и ее доверчивость, и дрожащее тело под накинутым на иольское пальтище пальто — все это было не отсюда, не из этой не похожей на жизнь жизни. Я понял, что ее необходимо спасать.

Но как?! Что я мог сделать? Увезти ее в Москву. Но она еще слишком мала, чтобы ее отпустили. Да даже если бы и отпустили, то что бы я там стал с ней делать? С комнатой не проблема, но как бы отнеслись к этому мои домашние и та женщина, которая ждет меня в пяти километрах отсюда в пустом доме, среди пустой деревни?

Я подумал об этом, и мне захотелось уйти.

Но сразу уехать не получилось. Девочка, правда, вскоре все же ушла, так ничего и не приготовив — не из чего. Но было выпито еще предостаточно, и смутно помню, что я даже вставил в бессвязный разговор фразу о том, что я мог бы увезти их старшую в Москву, как радостно Мария уцепилась за это предложение:

— А что?! А что?! Конечно! Чего девке здесь гнить?!

Но я захмелев, я не стал решительнее и, вспомнив свои сомнения, смял этот разговор, тем более что все были уже достаточно пьяны и сделать это было несложно. Я пообещал прислать какие-то книги... И еще что-то обещал...

Только поздно вечером тронулись мы с Анатолием в обратный путь. Светила луна. Вскривывал застоявшийся Мальчик, и в такт его шагам со скрипом покачивались небо и прилепленные к нему вершины елей.

Все это возникло в моей памяти как-то сразу и целиком. Так бесшумная вспышка зарницы на одно мгновение освещает все окрест, так точно и ярко запечатлевается на сетчатке весь этот мир, что уже потом, в темноте, можно рассмотреть каждое дерево, каждую травку, словно весь этот мир есть уже часть тебя...

И, рассматривая в темноте осенней ночи эту поездку за сигаретами, я никак не мог назвать ту тихую девочку Дащей, никак не мог совместить то ощущение внимательной чистоты с циничными словами Лагова.

«Нет! — подумал я. — Конечно же, я ошибаюсь. Тогда была не Даша, а ее сестра-погодок».

И тогда я почти вспомнил, а потом и заставил себя вспомнить, что Мария говорила еще об одной дочери, которая была то ли у бабки, то ли еще у кого-то из родственников. Я убедил себя в этом, и хотя от этой убежденности добра в мире не прибавилось, мне стало спокойней. Мне стало легче, потому что в таком случае я этой Даши не видел и, следовательно, уж совсем никак, никогда и ничем не мог ей помочь. Ни тогда, ни теперь...

Внезапная тишина возникла в доме, и вначале я не мог понять, что произошло, — все тот же дымный свет с шипением слабо сочился из печки, все так же мерно дышала в ногах собака, все той же затухающей жизнью жил за окном осенний сад. Ничто не изменилось, но у меня возникло странное чувство опасности.

Вдруг показалось, что кто-то стоит за дверью, почудилось, что чья-то большая тень закрыла окно и кто-то внимательно смотрит на меня сквозь мутную пленку, и не просто смотрит, а видит меня. Чуть ярче вспыхнули мокрые дрова, и стало ясно, что свет навечно заперт в этой комнате, что, отражаясь от этой страшной тени в окне, он возвращается в комнату и плотным сиянием заполняет ее и что это будет продолжаться, пока, задушенный собственным светом, огонь не умрет.

Полиэтиленовая пленка в окне вдруг ровно, лунно засветилась, и я понял, что кто-то неслышно отошел от окна, чтобы присоединиться к тому, стоявшему за дверью, и я был уже почти готов закричать, разбудить пса и кинуться в свободное теперь для бегства окно, когда понял истинную причину своего ужаса.

Как почти всегда бывает в подобных случаях, причина эта была проста и вполне материальна: часы, которые я не заводил с самой Москвы, встали. Види-

мо, я уже настолько сжился с их ритмом, что, потеряв его, словно сорвался в пропасть безвременья.

Только поняв это все, я ощущал и зуд вспотевших ладоней, и горьковатый привкус вязкой слюны; и хотя в комнате было и без того темно, словно устав от примерещившегося мне слепящего света, я закрыл глаза.

Наверное, чувство опасности еще не совсем покинуло меня, потому что я не стал вылезать из мешка и копаться в рюкзаке, где лежал ключ от часов.

Да, старые вещи требуют обстоятельности и разменности в обращении с ними. Даже вот эти часы предлагают тебе вначале встать, взять (с каминной полки!?) ключ, открыть стеклянную дверцу и завести отдельно ход и отдельно бой. А если вдобавок нужно переводить стрелки, то и это вам придется делать столь же спокойно, не торопясь. Вы тронете стрелку и услышите: день... день... день... Только после последнего удара можно передвинуть минутную стрелку еще на четверть часа вперед для того, чтобы услышать очередное: день... И так вам придется пройти за часами все упущенное вами время и, таким образом, потерять еще несколько минут жизни. Но потерять ли?!

Видимо, с этими мыслями я и заснул, потому что сон мой был странен и вроде бы не имел никакого отношения ни к моей теперешней, ни к моей прошлой жизни.

Но, может, к будущей?!

...Был день...

Я подпрыгнул и, сдирая кожу, вцепился в толстый, колючий, темно-серый от времени пеньковый канат, и поехал вниз, и, оттолкнувшись от холодного каменного пола, опять взлетел, и потом, когда опять начал спускаться, почувствовал, как накрыла меня теплая тяжесть колокольного рева, и звук этот медленно стекал с колокольни и, затопляя овраги и пригибая к земле редкую желтую траву, плыл туда, к наскальной пустой деревне, чтобы задребезжать мутным стеклом и в холодных темных сенях звякнуть дужкой пустого, покрытого желтоватым налетом ведра.

Я звонил, пока на севере не засветлевало и не показался лимонный краешек первого, самого маленького солнца. Пока не рассвело, я взмывал вверх и падал, и опять взлетал, пронинаясь сквозь густой, вязкий звук большого колокола.

И когда от звука этого стало невозможно дышать, и заболели сведенные мышцы лица, и плечи налились этим звуком и онемели, я разжал руки и, подвернув ногу, упал на выложенный темным шершавым камнем пол звонницы. Но боли я не почувствовал — многогуловый язык в последний раз уже еле-еле задел колокол, и, когда этот отголосок умер, опустилась и придавила меня к сырому камню Тишина.

Тишина. Плоская и безликая, она была всюду, и не было ничего, что могло бы оживить ее. Ни крика птицы, ни шума листьев.

Ничего.

Тишина.

И только три солнца медленно и бесшумно восходили над вымершей планетой. И бился у самого горла комок сердца.

Так просидел я, пока тройная тень колокола не наползла на меня и холод камня не пронизал наскальную. Только тогда я встал, и резкая боль прошла от лодыж-

ки под коленной чашечкой вверх по бедру и тупо разлилась по ключице. Я чуть не потерял равновесие и, уже почти падая, ухватился за висевший у виска канат.

И именно тогда, стоя в странной и неудобной позе, услышал далекий, высокий колокольный звон.

«Эхо...» — подумал я.

Но звук не затихал. Напротив, он усиливался. Где-то в километре от этой одиноко взбежавшей на пригорок церквишки, здесь — на этой Земле, кто-то раскачивал чужое зеленое небо, и этот «кто-то» был, быть может, последним живым человеком на безнадежно пережившей третью мировую войну Земле, это в его руках рвал густую, вязкую тишину высокий, чистый звук маленького колокола.

Припадая на подвернутую ногу, я сбежал по гудящей винтовой лестнице и, спотыкаясь и уже не чувствуя боли, вначале пошел, а потом побежал туда, где в навсегда застывшем воздухе бился древний призывающий сигнал тревоги.

Я вбежал в деревню, и тяжелый смрад гниения почты остановил меня, но тут звук колокола внезапно оборвался, и ужас одиночества толкнул меня вперед. Я перешагнул через вздувшийся труп огромной дворняги с уже отстающей жирной шерстью и побежал туда — в конец деревни, где в свете солнца сияла свежевыбеленная крохотная церковка.

Коротко и громко проскрипела лестница. Я по пояс высунулся из люка и замер.

Боком ко мне на полу, подогнув под себя ноги и наклонив худенькое тело вперед, сидела девушка.

Около ее головы еще змеилась веревка от колокола.

Она медленно повернула голову. Глаза ее были закрыты.

— Уходи... — сказала она. И, сорвавшись в крик: — Уходи-и-и! — упала на свежевыскобленные доски, и тело ее, выламываясь и слабея, тепло ударилось и затихло.

Медленно проскрипели ступени.

Был день...

...и была ночь.

И тогда я зажег спичку и отшатнулся.

Прямо на меня смотрели неестественно большие, чуть раскосые глаза. Прозрачная желтоватая кожа обтягивала острые, худые скулы, и это придавало лицу Иисуса какую-то скорбность.

Дорогая, спичка обожгла мне пальцы, я отбросил ее и в последней вспышке заметил две несгоревшие свечи справа и осторожно пошел к ним. Я задел свечки рукой, и они мягко, почти беззвучно упали. Тогда я присел на корточки и начал шарить по полу, но так ничего и не нашел. Я сделал небольшой шаг вперед, и протянутая рука коснулась чего-то мягкого. Еще не понимая, что это, я провел рукой дальше, правее, и когда пальцы ощущали короткий жесткий волос, и когда эта щетина попала под ногти и, жирно при克莱вшись, осталась в руке, я понял, что передо мною чье-то давно уже мертвое тело, и бросился назад, и упал, и, держа руку на отлете и тряся ею, поднялся, и вновь рванул назад, но двери не было, и я бросался на стены и сшибал образа, и они рушились, падали, и уже гремели под ногами отскочившие оклады, и я уже порезал руки, но, не чувствуя боли, бился о стены и ничего не мог поделать с переполнившим меня ужасом и тогда почувствовал, что задыха-

юсь, и закричал и сам не заметил этого, и эхо, отразившись от высоких сводов, расплющило меня по полу, и я уже только с хрипом поднимался, бросался вперед, и разбивал лицо, и падал, и опять бросался, пока, наконец, не обрушилось на меня тяжелое дубовое распятие...

Глава шестая

И был день...

Хороший день — ясный.

От вчерашней хмари не осталось и следа, и, если бы не холодная сырость выстуженного за ночь жилья да не ощущение тупой усталости от ночного кошмара, если бы не все это, кто знает, как бы он сложился — этот день. Никто не знает. Может быть, точно так же. Скорее всего так же. Именно так.

После завтрака — все той же холодной тушенки и коричневой воды из заросшего колодца, — после завтрака, а встал я в тот день поздно, после завтрака Чанго отправился куда-то по своим собачьим делам, а я послонялся по дому, зачем-то слазил на чердак, где догнивала старая солома и больше ничего интересного не было, потом прошелся по деревне, без особого усердия подбирая все годное для топки, а придя в дом и вывалив у печки свой небогатый улов, прилег. Но в комнате было холодно, и поэтому, лениво думая, куда же запропастился Чанго, я вышел на улицу, сел на завалинку и закурил, привался спиной к стене и подставив лицо странно теплому для октября солнцу.

Ветер стучал ветвями одичавших яблонь и иногда выдувал откуда-то патлы сухой травы, но завалинка была защищена от ветра, и, если бы не догоравший на горизонте лес, можно было представить себе, что еще только март, конец марта. И хотя я не люблю весну, но в этом безразлично-добродушном состоянии мне было почему-то приятно так думать.

Сквозь закрытые веки чувствуешь каждое находящее на солнце облачко. Какой-нибудь почти невидимый клочок тумана заставляет тебя раздраженно морщиться и, скривившись, приоткрывать один глаз, чтобы убедиться, что это неудобство только временное и скоро пройдет. И оно действительно проходило, и тогда праздные мысли расцвечивали сознание, как масляное пятно — воду...

«Наконец-то я отдохну... — говорил я себе и с удовольствием произнес бы это вслух, если бы не лень. Только бы из-за этого пса никто больше сюда не пожаловал со своими водками, любовями, старыми склоками и новыми обидами. Везде одно и то же... Скучно».

Не знаю, сколько я просидел так, потому что часы, которые я завел, так и не переведя стрелок (откуда мне знать, во сколько я проснулся?!), вызывали нечто совершенно непотребное, но солнце все же совершило свой быстрый осенний лет по небу, и вскоре захолодало.

Я встал, и словно другой мир открылся передо мной: напряженные линии осенних деревьев, замкнутые в своей усталой боли краски безвольных, отработавших свое полей и, словно чье-то будущее, звонкий мазок озимых там, далеко, за уходящим в низину уже почти голым перелеском. И еще я увидел, как по высокой, выросшей за несколько месяцев стерне, пощенечки взбрыкивая задом, мчит ко мне Чанго.

Подошло время обеда.

Глава седьмая

Дрова загорелись не сразу. Печь за ночь совсем выстыла, и, прежде чем радостно заворковал огонь, мне пришлось изрядно наглотаться дыма. Чанго отдохнул, лежа у печки и устроившись так, чтобы его почти прижатого к полу носа не достигал дым, но уже сочившееся из поддувала тепло все же достаточно хорошо согревало подставленный бок. И хотя ему пришлось несколько раз чихнуть, он, видимо, считал свое нынешнее место вполне комфортным и, как только пламя взметнулось и серьезно загудело в трубе, присоединил к этому гуду свой басистый храл. Над его мокрой шкурой появился легкий пар. Маленькая комната нагревалась довольно быстро, и в ней было тихо и совсем уютно.

Я решил, что этот первый настоящий день отпуска необходимо отметить обедом из трех блюд. Меню составилось само собой: на первое — суп «Московский», на второе — гречневая каша с копченостями, на третье — кисель малиновый. Но ввиду того, что с посудой у нас были некоторые затруднения, пришлось вначале сварить первое и второе, съесть их и уже затем, после краткого отдыха, вымыть котелок и вскипятить в нем воду для киселя. Так что волей-неволей у нас одновременно получились обед и полдник, и, следовательно, мы перешли на четырехразовое питание.

Но покой наш был недолг.

Не успели мы как следует прийти в себя после непривычно сытного обеда, как на улице послышался уже знакомый мне шум мотора.

Безвольно лежащий Чанго приподнял голову, двинул лопухами ушей, а затем быстро вскочил, но к двери не побежал, а только, наклонив голову, вслушивался, как у самого крыльца, в последний раз взревев, заглох мотор, как с лязганьем хлопнула дверца разбитого по проселкам «газика» и как кто-то глухо постучал по влажному дереву. Чанго слушал все это, не изъявляя особой радости — не был хвостом и не взвизгивал, как это делал бы на его месте любой другой пес, слыша приближение хозяина (в том, что приехал Башлыков, я не сомневался), — Чанго не проявлял никакой радости, а только смущенно переминался с лапы на лапу.

— Дома есть кто? — раздался на улице голос Башлыкова.

Только тут Чанго слабо вильнул хвостом и оглянулся на меня, словно спрашивая, что ему делать, но я только развел руками (мол, что я могу тебе посоветовать...) и крикнул:

— Да, заходите! — И на пороге возникла худая фигура Башлыкова.

— Здравствуйте! — сказал он. — Простите за вторжение, но я на секундочку, только за писом... — И замолчал.

Он еще не совсем оправился после вчерашней поэзии. Землисто-серое лицо, мешки под глазами, которые были видны даже сквозь очки, да еще то, как он ежесекундно облизывал покрытые белесым налетом губы, — все это говорило о том, что ему действительно худо.

— Заходите, — сказал я и, не вставая, махнул рукой, предлагая ему сесть.

— Я ненадолго, — вновь повторил он, но все же прошел и сел, положив ладони на худые, торчащие сквозь дешевую ткань брюк колени, и вновь замолчал.

— Ну, как вы вчера добрались? — спросил я не столько из вежливости, сколько потому, что мне совсем не хотелось расставаться с Чанго, и я думал потянуть время, чтобы выработать хоть какой-то план. Да и сам Башлыков был мне еще не совсем понятен. Если люди, похожие на Лагова, мне встречались, то башлыковых я в своей жизни еще не наблюдал, и поэтому, хотя и считал возможным после вчерашнего разговора относиться к Сергею Петровичу с легким презрением, был он мне интересен. Таких людей трудно заметить в суетливой героике городской жизни, потому что юрий григорьевич сами бросаются в глаза и остаются в памяти, не дожидаясь, пока их найдут и поймут. Эти люди — своеобразные полюса, вокруг которых почти само собой образуется силовое поле, Добра или Зла — в данном случае не имеет значения. Они всегда сила, и поэтому само обращение их к Доброму или Злу часто совершенно случайно и не столь важно для них, поскольку это лишь плацдарм для действия. А действие уже само по себе расценивается ими если и не как Добро, то как нечто, безусловно, положительное.

Примерно к такому классу отнес я тогда Лагова. Хотя сам не только не принадлежу к этому типу, но и довольно часто в своей жизни страдал от неумения приспособиться к их кипучей деятельности, вопреки всему этому, отношусь я к ним с чувством опасливого уважения. Правда, лишь тогда, когда их действия не очень меня тревожат. Иногда я им завидую. Но только иногда. Например, когда я в очередной раз понимаю, что удел санитарного врача, который безболезненно и бесхлопотно мне достался, — призвание не мое, хотя истинного призыва, наверное, в силу все той же, свойственной мне рефлексивной инертности я, дожив почти до тридцати лет, определить так и не могу.

Люди же типа Башлыкова равнодушины к Доброму и Злу, они — дети не Света и не Тьмы, а полуслучаев, полуумрака, полусвета.

Так думал я об этой паре, опираясь лишь на вчерашнюю полупьяную беседу.

Вот тебе — «не судите, да не судимы...».

Возникли они поодиночке, я бы наверняка удовольствовался самым обыкновенным интересом благовоспитанности, но они были двуединны, и это уже вносило какие-то коррективы в образы и того, и другого. Но какие?..

Лагов с его хирургическим, а скорее даже патантомическим умом даже в глубине души не мог надеяться найти в Башлыкове единоверца, хотя при той вере, которую он исповедовал, сообщник был ему необходим.

Отсюда следовало, что кого-то из них двоих я не рассмотрел, не понял. Кто-то из них сложнее или же иррациональнее (что, в общем, одно и то же) той схемы, которую я им предложил.

— Ну, как вчера добрались? — спросил я и вдруг понял, сколь издевательски может прозвучать мой вопрос для Башлыкова. Но Сергей Петрович не увидел в моих словах ничего для себя обидного.

— Нормально, коли живы, — только и ответил он и вновь смолк.

Чанго, до этого так и стоявший посреди комнаты, видимо, почувствовал спокойную интонацию в голосе Башлыкова и лег, глубоко вздохнув.

В комнате наступило предпрощальное молчание,

а я никак не мог нарушить его, потому что почти любой мой вопрос, любое мое слово неминуемо наложились бы на вчерашние слова Лагова и могли обидеть Сергея Петровича, что совсем не входило в мои планы. Получилось так, что Лагов вроде бы исчерпал всего известного мне Башлыкова. Следовательно, оставалась только одна тема, столь же нейтральная, сколь и увлекательная, — разговор о болезнях.

— А почему вас из армии комиссовали? — спросил я. — Простите, что я об этом спрашиваю, но по специальности я врач, так что подобное любопытство мне вроде бы по штату положено.

— Почки, — тихо ответил Башлыков. — На ноябрьские из города в часть возвращался... навеселе был... в какую-то яму с водой провалился... пока выбирался... да пока перекурил это дело... пока до части дошел... ну, застудил в общем. Ничего интересного... — Он явно хотел без всяких разговоров отмучиться положенные по деревенскому этикету пять — десять минут и уйти. Скорее всего так бы оно и было, если бы я не полез к нему со своими предписаниями. Я популярно изложил ему, сколь опасны почти все болезни почек, как тяжело лечатся и т. д.

Я говорил, почти не думая о смысле того, что я говорю, и, наверное, перегружал свою речь специальными терминами, случайно запавшими в память за время бесконечных институтских зурбажек. Пока я вспоминал обо всех ужасах, подстерегающих почечных больных, Башлыков сидел, как соляной столб, позволив себе, однако, положить ногу на ногу. Узконосая штиблета была заляпана жирной глиной, что совершенно не гармонировало с ее некогда законченными формами. В этой штиблете было что-то неприятно привлекающее внимание. Я долдонил этому башмаку о воздержании и бессолевой диете и не сводил глаз со вздувшейся на месте мизинца кожи и постепенно терял ощущение реальности всего происходящего. У меня иногда бывают такие состояния, когда я говорю со знакомыми своим знакомым об их больных тетушках. В конце таких бесед я обычно перестаю понимать, кто я, где я и что за организм сидит передо мной. Очень неприятное чувство...

Поэтому, поймав себя на этом отстранении, я ни с того ни с сего сказал:

— Так что беречь себя надо. — И такими словами закончил лекцию.

— Беречься?! — переспросил Башлыков. Он, оказывается, слушал меня. — Побережешь тут себя, как же... На такой работе да с таким начальничком...

— Так почему же вы тогда на другую машину не перейдете? Шоферов ведь наверняка не хватает, — сказал я, вспомнив слова Лагова. — Или вообще из этих краев двинуть куда-нибудь?.. Работу ведь всегда можно найти. — Как всякое незанимированное лицо, я был горазд на советы, подразумевающие коренную ломку образа жизни собеседника.

— Работу-то можно... да и уеду, наверное, куданебудь потом... Потому что не только ведь работа... — И замолчал.

«Да и кому ты там такой нужен?!» — закончил я про себя. Он помолчал немного, а потом продолжал:

— Вот вы вчера видели, как он со мной обращается, так вам, наверно, странным покажется, только не знаю я, смогу ли я без него... ведь как сюда из детского дома приехал... вернулся, значит, так сразу к нему... у него жил...

— Вы в детском доме росли? — ясным голосом спросил я.

— Там. До шестнадцати лет... Я же... социальное происхождение-то мое — «из врагов народа». Отца посадили — он здесь председателем был... план не вытянул... дом наш в том конце Вторников был... Мать померла... А после войны и никого из родственников не осталось... Ну, и детдом... Не самое плохое место... А как паспорт получил, обратно сюда вернулся. Уж и не знаю зачем... Дом наш сгорел... ну, пустой стоял, вещи все растащили, а мужики там забегаловку устроили... распивали, значит, вот и спалили...

Порыв ветра ударили в стену дома, и пленка на окне прогнулась в комнату. От нее шел какой-то лоснящийся свет, и я на мгновение представил себе, что это живот — живот Будды. Пленка ритмично подрагивала, и услужливое воображение живо подсунуло мне огромного, толстого, голого, сияющего перед домом на холодной, мокрой земле мужика с прилипшим к левой, отвисшей, почти женской груди осиновым листком. Мужик хихикал... Но порыв ветра спал, живот втянулся, осиновый лист упал на землю, и я вновь услышал нудный голос моего визави:

— ...а когда приехал, так и деревня уже пустая была — пять старух всего и жило-то. Вот Лагов меня к себе тогда и забрал. Тоже хитрый... Вначале, когда работать устроился, вроде как у него комнатенку снимал... а потом так вот тихо, незаметно денщиком стал.

— Ну, уж...

— Да-да... Я и сейчас ведь в его доме живу. При нем. Только денег за постой не плачу. А-а! Скучно все это. Поеду я.— Он встал и сделал шаг к мгновенно вскочившему Чанго.

«Если бы ты знал, насколько все это скучно», — подумал я и, поднимая, что необходимо действовать, сказал:

— Да, Сергей Петрович, я еще вчера думал у вас спросить — может быть, вы продадите мне пса, ведь если он от вас так бегает, то замучитесь вы здесь с ним, кроме маеты, ничего путного, а в городе же все...

— Не-ет, — протянул Башлыков, — не продам. А то, что бегает, так молодой еще. Вот когда года два стукнет — остеопенится. Да и вы в Москве сможете получше купить, а здесь... Нет, не продам, вы уж не обижайтесь... — Он вынул из кармана пальто ошейник с поводком и надел его на безучастно стоявшего пса.

— Извиняюсь за беспокойство, — сказал он. — Пойшли, Чанго.

Они вышли из комнаты, а я так и остался сидеть в углу, пытаясь вызвать в себе хотя бы чувство сожаления, но, кроме ленивой апатии, во мне ничего не было. Я подумал, что сейчас было бы неплохо закурить, но так и не закурил — для этого надо было встать.

Глава восьмая

Только поздно вечером, когда уже давно стемнело, я вспомнил, что забыл узнать у Башлыкова точное время и теперь вынужден буду слушать бестолковый перезвон запутавшихся часов. Я подумал об этом, поймав себя на том, что считаю удары. Пробило пять, и мгновенное, но болезненное ожидание следующего — тень! — и наступившая вместо него раздражавшая тишина вывела меня из состояния каталептического покоя.

Мне захотелось довести эти бессмысленные, хотя и объяснимые, пять ударов до полного абсурда, и, разбираясь я хоть немного лучше в данной местности, я, наверное, сунул бы в задний карман последнюю, взятую для растираний бутылку водки и направился бы в гости к Лагову или же к Толику, и кончилось бы это путешествие скорее всего среди совершенно незнакомых мне людей, к которым я подошел бы случайно, только чтобы узнать у них дорогу. В Москве я обязательно куда-нибудь бы рванул, но здесь... Здесь уже спала природа, и ее ровное дыхание чуть слышно трогало мою избушку, и просто было представить себе пустынные дороги, погасшие окна и уже почти невидимое движение теплого воздуха над влажными в низкое небо трубами... Просто было представить себе это и, завершив картину накрепыванием вездесущего дождика, оставить мысли о подобном путешествии.

Но тиканье часов в темноте, да холод из так и не прикрытой двери, да долгожданная, пришедшая наконец жалость к себе — все это требовало хотя бы движения.

Кончилось, однако, тем, что, уже выйдя на крыльце, я сломал полусгнившую ступеньку и, вскрикнув от внезапной боли, подвернув ногу, упал.

Но, когда ощутил влажную землю под рукой, когда почувствовал, как быстро промокают джинсы, как плавными толчками спадает в голеностопе боль, почему-то совсем успокоился и, ощущая, что как-то криво улыбаюсь, на трех конечностях вполз в дом.

Ощупав в темноте ногу, я понял, что ничего страшного не произошло — самое заурядное растяжение. Боль тем временем почти утихла, и я доковылял до двери, закрыл ее поплотнее, так и не зажигая света, разделся (правда, все же стоя на одной ноге) и лег. Несмотря на чуть слышную и поэтому какую-то сладкую, расслабляющую боль, сон пришел не сразу, и, пока мозг мой не слился с темнотой, не стал ею и не оживил ее первыми, еще реалистическими сновидениями, проплыли передо мной какие-то воспоминания. Даже не воспоминания, а скорее ощущения воспоминаний, настроение их — московское чувство тревоги вспыхнуло желтым листом на черном асфальте и тут же погасло, словно было освещено лишь фарами проехавшей машины. Еле слышный мотив подыбал в щеку и совсем затих, оставив лишь след от прикосновения волос, и рука сама собой стерла со щеки эту безымянную память, и тогда пришлося немного погрустить и осознать дом во всей его неубранной пустоте.

— Ну! — сказал я себе и, когда влажное, глуховатое эхо отразилось от голых стен и закачалось по комнате, вспомнил собаку. Не Чанго, а ту мою собаку и потянулся за сигаретой, чтобы погоревать с комфортом, но в избушке было прохладно, и мурочки, пробежавшие по голому плечу, сразу толкнули меня в прощность сна.

Сон был тяжелый, как мычание умирающего в темноте немого... Я несколько раз просыпался, смотрел в чуть уже заплывший светом потолок и потом вновь уходил в липкую темноту долгого осеннего сна. Несколько раз просыпался, но все так же рассветно чуть серел потолок и казалось, нет и не будет конца этой ночи. И конца действительно не было, потому что, когда встал (наверное, было совсем уж поздно), света в комнате было столько же, сколько и несколько часов назад.

Ровный обложной дождь зарядил, судя по всему, еще с ночи, потому что, когда проснулся, все окрест уже давило влагой, а дождь продолжал гвоздить землю, словно желая стереть с ее лица и без того редкие и неброские краски октябрьских будней. И это ему удавалось: унылый, однотонный пейзаж открылся передо мной, когда я остановился на пороге дома, не решаясь сделать шаг в этот даже на взгляд холодный, безразличный поток льющейся с разверзшихся небес воды. Но поворот головы — и яркость желтого листа, плавающего в железной бочке у дома, и отливающая солнцем влага, стекающая через черно-красный край, вдруг стали для меня возвращением.

«Пора домой!» — подумал я и почувствовал, что так и не сумел обжить эту избушку и что эти дни были всего лишь игрой. Игрой в возвышенное одиночество. Игрой в единение с природой. Игрой, игрой, игрой... Я понял, что на самом деле мне вовсе не нужны были ни эти грязные пустые комнаты, ни этот, наверное, действительно красный лес, ни та прекрасная грусть воспоминаний, к которой я себя все это время толкал. Да. И воспоминания были мне совершенно ни к чему, просто потому, что их у меня и не было. Разве знание того, что в твоей жизни то-то и то-то произошло, разве можно назвать это воспоминаниями?

«Когда-то...» Какое прекрасное слово! Именно оно придает безразлично-отвлеченному называнию фактов: «Да, это было», — оттенок заинтересованности.

Когда-нибудь я смогу сказать об этой поездке: «Бывал я когда-то в одной пустой деревушке. Да так она и называлась — Пустые Вторники». Тут даже можно остановиться, потому что уже в этом начале будет скрываться нечто, указывающее на то, что был я не простым наблюдателем, человеком глубоко сторонним, а... Впрочем, стоит ли повторяться?!

Жизнь проходит мимо нас. Мы проходим мимо жизни. Никто не в обиде.

Домой! Домой!..

Я повернулся, и пустая комната встретила меня спокойно, сказала мне: «Прощай!» — и выставила напоказ все мои так и не прижившиеся вещи, и я мгновенно возненавидел ее за это безразличие и так саднул дверью, что сквозь щелистый потолок посыпалась сенная труха. Домой!

Но, как я помнил, «кукушка», на которой мне нужно было добираться до большой железной дороги, ходила здесь только по утрам, и, значит, у меня было еще очень много времени. Слишком много. Словно мстя комнate за ее непривязчивость, я не стал укладывать рюкзак, оставил это подивание «бабок» на вечер или на ночь.

Я наобум перевел часы на три пополудни (позже быть не могло), потом поковырял хлипкой алюминиевой ложкой тушенику и под непрекращающейся шум дождя за окном заснул. Да и что еще было делать?

Несколько раз просыпался, натыкаясь все на тот же серый свет сумеречного дня, и вновь засыпал, чувствуя, что спать уже не хочу. Но какая-то нервная зевота сводила челюсти — верный признак скорого возвращения. Домой...

Глава девятая

Проснулся я от голода.

Мысль о завтрашнем отъезде удивительно точно вписалась все в тот же нескончаемый дождь, и я, зная, что они мне все равно не пригодятся, зажег сразу пять

свечей. Скорее ради соблюдения ритуала прощания, чем по необходимости, я достал последнюю из привезенных мною бутылок, вытащил из рюкзака баночку марокканских сардин и исландской селедки, которые взял с собой на случай неведомо какого торжества. Может быть, ради именно этого?! Потом я растопил печь и, решив сделать для пущего удовольствия небольшую паузу, вынес бутылку на дождливый холод. Теперь нужно было подождать, пока она хоть немножко остывает, а за это время открыть консервы, которые, как я знал по московскому опыту, можно вскрыть скорее автогеном, чем теми ключами-гвоздиками, которые прилагаются к каждой банке. Но, решив спешить все с подобающими в подобном случае ритуалами, я не стал корежить их ножом, а, закручивая ключ в винт и стараясь не ухнуть все деликатесы на себя, все же сдюжил эти импортные несгораемые ящики.

Печка уже раскочегарилась вовсю, и тепло плотно наполнило комнату. Свечи обгорели и, утвердившись на первых потеках стеарина, пустили к потолку сероватые ленты копоти. Торжество приближалось к кульминации.

Немного дурачась, что иногда очень люблю делать в одиночестве, я подошел к двери, одернул фрак, поправил голубую розу в петлице, откашлялся в кулак и с громовым: «Ее величество королева Великобритании Елизавета Вторая!!!» — распахнул дверь и отшатнулся, потому что там, в темноте, кто-то был. Ослепленный праздничным сиянием свечей, я не увидел, а скорее почувствовал присутствие стоявшего в полу-метре от меня человека.

Не знаю, сколько мыостояли, не двигаясь, приходя в себя. Подобные минуты обычно выпадают из памяти, хотя именно в эти мгновения иной человек способен совершить массу великих глупостей. Но, несмотря на этот паралич, глаза мои постепенно привыкли к темноте, и я различил вросшую в стену женскую фигуру.

— Не пугайтесь, — сказал я еще не совсем уверенным голосом и вдруг представил себе ощущение этой, видимо, уже давно стоявшей в темной тишине женщины, когда перед ней с воплем «Королева Елизавета!!!» распахивается дверь заведомо пустого дома и на пороге возникает согнувшаяся в полупоклоне, заросшая, неделю не мытая и не чесанная личность. Давясь нервным, истерическим смехом, я смог все-таки сказать: — Проходите, пожалуйста, — и отступил в комнату, но женщина не двигалась с места.

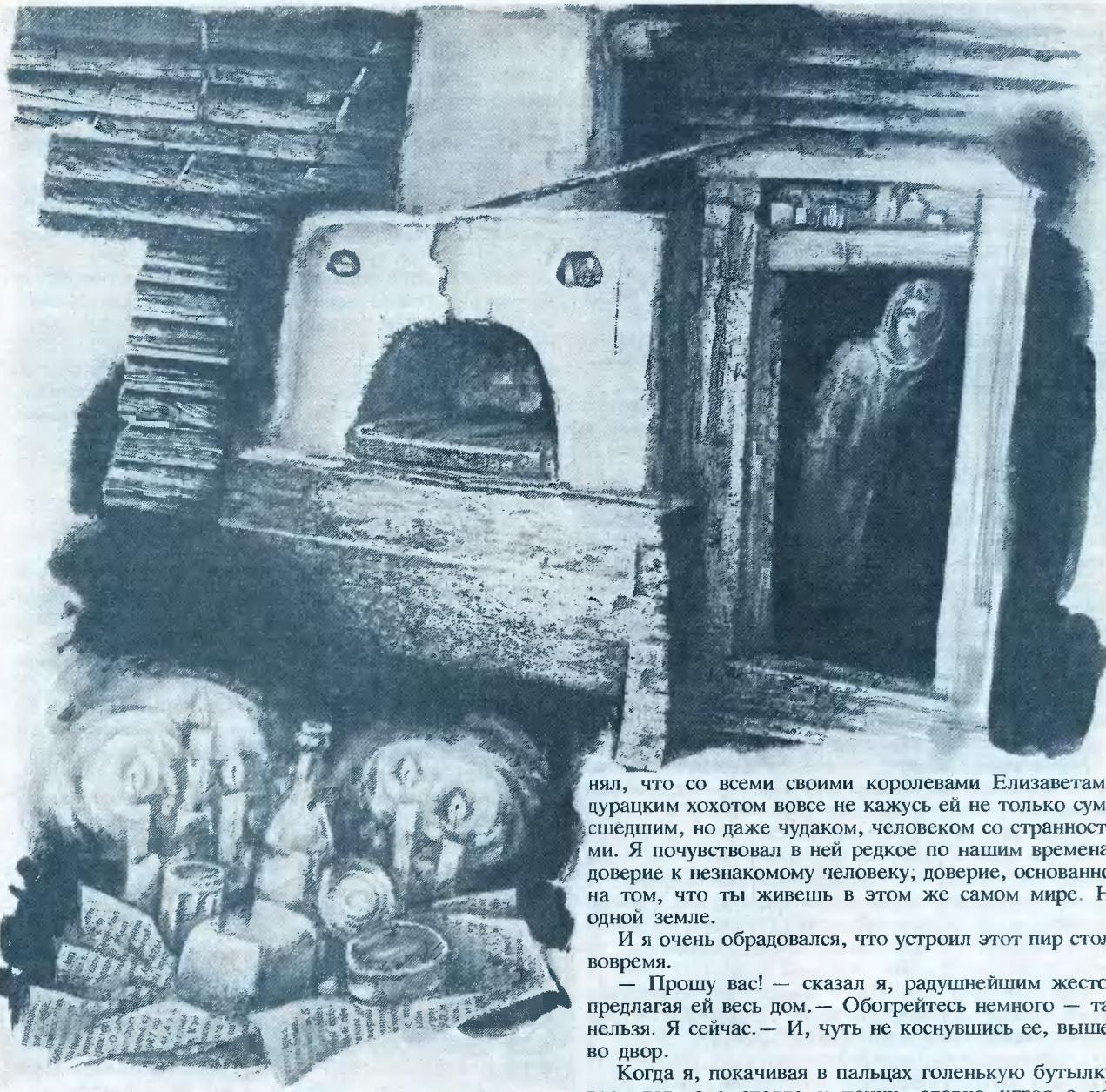
Как-то уже совсем нервно двигаясь и, видимо, представляясь ей явным сумасшедшим, я почему-то сказал:

— Я вполне нормальный. Не бойтесь, — а потом заржал в голос.

Когда я кончил кататься меж свечей и, постанывая, вытер слезы, увидел, что женщина стоит на пороге, с явной тревогой наблюдая за моими ужимками.

А когда я встал и, еще не в силах разогнуться, просипел: «Так же и умереть можно!» — она чуть испуганно улыбнулась.

Ей было не больше девятнадцати лет. Темно-синее драповое пальто, которое в Москве проходило бы под лозунгом «миди», на ней выглядело именно так, как оно и могло выглядеть, — перешитое из чьего-то старого, чему «сносу нет и не будет». Залепленные грязью сапоги, темная косынка, да руки, зябко засунутые в когда-то нормально, а сейчас слишком высоко притянутые карманы, да еще чуть склоненная набок голова



ва, да шум дождя за ее спиной — все это мгновенно оборвало мой идиотский смех и наполнило меня внезапной жалостью.

— Ну, входите же! А то холоду напустите, — сказал я, но, когда увидел, как сошла улыбка с ее лица, как она бросилась закрывать дверь, пожалел, что сказал это.

— Извиняюсь, — сказала она, медленно выводя плавную цепочку звуков. — Я не знала, что здесь кто-то есть. А когда уж свет увидела, обратно воротиться поздно... думала, постою в сенях, обогреюсь только чуток. Я уж идти хотела, а тут вы... Я и уйду сейчас. — Она вдруг улыбнулась, на этот раз уже насмешливо, и спросила: — Я вас не очень напугала?

— Да нет, — ответил я, глядываясь в ее лицо. — Наверное, не больше, чем я вас.

— Наверное, — спокойно согласилась она, и я по-

нял, что со всеми своими королевами Елизаветами, цурацким хохотом вовсе не кажусь ей не только сумашедшим, но даже чудаком, человеком со странностями. Я почувствовал в ней редкое по нашим временам доверие к незнакомому человеку; доверие, основанное на том, что ты живешь в этом же самом мире. На одной земле.

И я очень обрадовался, что устроил этот пир столь вовремя.

— Прошу вас! — сказал я, радушнейшим жестом предлагая ей весь дом. — Обогрейтесь немножко — так нельзя. Я сейчас. — И, чуть не коснувшись ее, вышел во двор.

Когда я, покачивая в пальцах голенькую бутылку, вернулся, она стояла у печки, словно играя с ней в ладушки. На темной ткани пальто даже при свечах был хорошо заметен уже закурившийся парок.

Когда я вошел, она повернула голову, и мокрый платок, чуть державшийся на затылке, сполз совсем, открыв застывшие влажными, блестящими прядями волосы. Она каким-то странным, презрительно-отсутствующим взглядом посмотрела на мокрую бутылку, потом мне в лицо и снова повернулась к печке. И тут мне показалось, что я где-то уже видел ее...

— А я вас, кажется, знаю, — сказал я наугад, остановившись посреди комнаты.

— Я вас тоже, — ответила она, не поворачивая головы, и вновь замолчала. Ей, видимо, все было ясно. Хотя эта девушка не совмещалась в моей памяти с той больной дочкой Анатолия, я все же спросил:

— Вы та девочка...

— Та.

Я постоял еще немного и, так и не найдя продолжения этому странному разговору, направился к столу. Тут я пожалел, что все консервы уже открыты — молчание становилось невыносимым, а нарушить его или (тем более) пригласить ее к столу я почему-то не мог. Не найдя себе лучшего занятия, я принялся очищать нагар со свеч, размышляя, почему в присутствии этой женщины я не могу сказать какую-нибудь банаально-глупую глупость. Я не говорю, но всегда мог с коротким смешком выдавать из себя несколько фраз. С ней же пришло ощущение, что на тебя пристально, хотя, наверное, доброжелательно, смотрят, слушают, оценивают. Впервые за последние годы у меня появилось чувство обязательности своего существования. Я очутился во внимательном мире, я... Я бы, наверное, мог еще долго развивать это подобие мысли, накручивая себя на сентиментально-влюбленно-романтический лад, но...

— У вас вот праздник? — Только тут я заметил, что она смотрит на меня, и окончательно смешался.

— Да нет. Так... Скучно стало. Вернее, грустно... Ну... — И смолк.

— А-а... — словно не слыша меня, сказала она. — Понятно. Грустно. Скучно. Делать нечего. Знакомая песня. Ну... — Она тряхнула головой, и светлый веер волос упал на грудь. — Ну, что же вы стоите? Ешьте. Пейте. Я сейчас пойду. Не обращайте на меня внимания. Пейте.

— А почему вы говорите так, словно я вас обидел или сделал вам что-нибудь нехорошее? — Ни с того ни с сего я разозлился.

— Вы? Плохое? Да ну, разве вы можете?!

— Допустим, могу...

— Ну и что же вы можете мне сделать?

— Не важно. А все-таки почему вы так говорите?

— А, не берите в голову. Я со всеми так говорю.

Привычка. А вас-то что задело?

— Да нет, ничего. Ни-че-го...

— Ну вот и хорошо. Отдыхайте. — Она сняла с плеч платок и начала заправлять волосы под пальто.

— Подождите... — сказал я. — Подождите. На улице такая мразь. Подождите... Может быть, растянется. Ну, скажите, куда вам спешить? Доберетесь еще до дома. Все одно — ночь. Хуже не будет.

Она ничего не ответила и продолжала собираться, но в ее движениях почувствовал я трещинку неуверенности и продолжал заколачивать клинья.

— Надеюсь, вы меня не боитесь... Право, это было бы глупо. Просто вот уже почти неделю живу я здесь, и, — соврал я, — ни одна душа сюда не заглядывала. Собака какая-то приблудилась, да и ту забрали. Так что...

— Собака? — Она замерла, глядя мне в глаза. — Какая такая собака?

— Да я плохо в породах разбираюсь, но, кажется, охотничья.

— Чанго?

— Не помню точно, — я уже твердо стоял на тропке непроверяемого вранья, — кажется, да. А что?

— Да нет, ничего. Так просто спросила. У нас здесь других нет. Остальные — кабызди... — Она неожиданно сняла пальто и пристроила его на бечеве у печки, села на краешек чурбака, стоявшего у стола, и сказала совсем другим, усталым голосом: — Ну ладно. Посижу немного, ежели так. Спешить, правда, некуда. Все — одно.

Тут я засутился. Начал ополаскивать кружки, доставать совершенно ненужные бумажные тарелки, бесцельно двигать по столу черствый хлеб и жалкую роскошь импортных яств, но эта моя активность не смогла нарушить усталого молчания, поселившегося в комнате.

— О чём вы думаете? — спросил я, когда было уже невозможно ничего делать, не повторяясь.

— Так, ни о чём, — ответила она, не поднимая головы, и повторила, словно проводя черту под этими словами: — Ни о чём...

— Ну, тогда прошу к столу!

Я уже совсем оправился и вошел в роль бодрячка-ловеласа и решил играть ее до конца, стараясь не смотреть на себя со стороны и никак не оценивать свое поведение.

— Я не хочу.

— Ну, что вы! Полноте. Ведь не могу же я трапезничать в одиночку, когда прекрасная дама сидит рядом и грустит.

— Вы со всеми так?.. — Она подняла на меня глаза.

— Как так?

— Так ломается. Или только со мной?

Я тут же прокис и выпал в осадок.

— Нет... — Ощущение женщины, пустого дома и предстоящей ночи вдруг ушло, и появилось самое опасное — чуть жалостливое чувство братства, желание позаботиться, раскрыться. Я продолжал уже совсем другим тоном: — Ну не надо... Простите меня. Сардины хотите? — Я взял баночку.

— Только немного.

— К сожалению, много и нету. — Я положил ей всего понемножку и взялся за бутылку. — Вам налить?

— Нет-нет, не надо.

— Ну немного. Так. За компанию. Я ведь не алкоголик какой, в одиночку не пью.

— Не надо. Пожалуйста, не надо. Я не хочу. Честное слово.

— Ну чуть-чуть. Можете не пить. Пусть просто постоит. — И я налил ей четверть кружки, которая так и осталась нетронутой.

Но она была всерьез голодна, и было удивительно приятно ухаживать за ней и смотреть, как она ест, как от плавности и естественности движений словно бы удлиняются ее совсем некрасивые пальцы, как в руках ее проявляется врожденное чувство ритма, такта, красоты.

Горящие свечи. Дождь и холод за окном. И она, чуть настороженная и почти прозрачная. Призрачная. Такими нам кажутся в свете вечернего ожидания красивые женщины.

Все это было удивительно цельно и потому точно вошло в этот вечер, в мое прощальное настроение. «И зачем мне домой? — подумал я. — К кому? К той, чужой? Бог ты мой, как все это ненужно. Никчемно. Пустынно... Зачем мне возвращаться?»

Так думал я, а передо мной сидела холодная принцесса, и ее уже просохшие волосы распустились и свелись в свете свеч. И она иногда поправляла этот нимб движением длинным и плавным, как завиток табачного дыма.

«Откуда ты, девочка?» — подумал я, а сказал:

— Что же вас занесло сюда? Да еще в такую непогоду.

— А вам-то что? — Она, видимо, почувствовала

мое настроение и была готова отразить любую атаку.

— Нет, ничего. Просто так сказал, сидим как истуканы... Простите.

Я был смиренней агнца.

— Нет, это вы меня простите: никак я не пойму, как с вами говорить... Из дома я ушла... Отец опять запил, лютует, вот я и ушла... Думала, здесь никого нет... Я обычно здесь хоронюсь... Да вот вы...

— Ну, я завтра уезжаю, так что можете быть спокойны... И простите, что занял ваш замок.

Я почувствовал, что опять начал паясничать, но паясничать уже по-другому — добре, и она поняла это.

Она улыбнулась, грустно наклонив голову, и тихо сказала:

— Ничего. Ничего. Одной здесь совсем нехорошо.

И тут страх, который, как видно, определял и окрашивал наши поступки, ушел и вместо него появилась простота человеческого общения, простота, не требовавшая слов, простота взгляда, жеста, позы.

— Вам завтра рано вставать?

— В пять. На ферму. Это тут. За леском.

— Как же вы встанете без будильника? — Во мне заговорил горожанин.— Я боюсь, даже уверен, что не проснусь так рано.

— Да я сама встану. Я привычная.

— Кстати, и меня разбудите.— Я говорил это, перетаскивая спальный мешок в другой угол.— Во сколько завтра «кукушка» идет?

— Кукушка?! Рабочий, что ли?

— Да.

— Попседьмого.

— Мне бы на него успеть.

— Так и успеете.

Я полез в рюкзак за чистым вкладышем, заправил его в спальник и продолжал говорить, чувствуя, что говорю не то, что надо, не то, что хочется:

— Вот здесь вы будете спать. Застегнетесь, и никакой холод вам не страшен. Только если вдруг ночью проснетесь — не пугайтесь, вы не связаны и не в гробы.

— А как же вы? Давайте лучше я буду на сене. Я уж так спала.

— Я тоже не первый день живу. И потом, вы все-таки хоть и незваная,— тут я позволил себе некоторую фривольность,— но гостья. Так что надо слушаться самозваного хозяина. Не спорьте со мной.

— Спасибо,— только и сказала она, став внезапно совсем маленькой...

Я очень хотел спать, но, лежа под телогрейкой на тощем коврике пыльного сена и чувствуя каждую щербинку на досках, я боролся со сном, ожидая услышать ее голос, но до меня доносилось только ровное дыхание.

Я кашлянул, нарочито громко повернулся и даже чертыхнулся, но ее дыхание было все столь же ровно. Она спала. Убедившись в этом, я поблагодарил ее за это (странный все-таки мы народ — мужики...) и тоже заснул.

Глава десятая

Проснулся я от холода.

Было еще совсем темно.

По тому, как быстро иссякал охвативший меня вал холодного воздуха, и по осторожному мышиному пи-

ску крыльца я понял, что моя гостья уже встала, сбросил телогрейку и вскочил.

Когда она вернулась, я уже поджег газету и понемногу, чтобы не убить пламя, подбрасывал в голубоватый, обваливающийся огонь щепки.

— Уже встали... — Во тьме ее лица не было видно, но в голосе послышалась мне спокойная улыбка.— А говорили, не проснетесь...

Я уже хозяйничал вовсю.

— Сейчас будет чай. Вы пока посидите... И начиньте телогрейку — холодно, наверное.

— Нет,— сказала она и, судя по звукам, села.

Я вытащил из печки фыркающий фиолетовым огнем прутик и затеплил свечку. Пока пламя набирало силу, в комнате было темно и как-то нервно. Словно достигшее высшей точки ожидание поселилось в доме, и мы подкармливали его каждым жестом, каждым несделанным движением, каждым сказанным и нескажанным словом. И нетерпение и ожидание перемены росло, и было необходимо обозначить его словами, потому что уже перехватило дыхание, и тогда я спросил, облизнув губы:

— Вам не кажется, что должно что-то случиться?

— Да. — Ее голос прозвучал неуверенно и отрешенно. Потом она напряглась и на полузвдохе шепотом: — Кажется...

И тут мгновенно я почувствовал, что она рядом, что от нее еще пахнет сном, почувствовал ее беззащитность и свою и вдруг, бросив зажатый до этого в руке прутик на пол, опустил ладонь на ее голову, ощущив маленько, даже сквозь волосы горячее ухо.

И она поняла меня, поняла этот нежный страх, переполнявший меня, и не отодвинулась, не скинула руку, ничего не сказала, а только на мгновение прикрыла глаза, а потом осторожно, словно удерживая мою ладонь, подняла голову и посмотрела мне в глаза, и хотя лицо ее было в тени, и смотрела она из ночи, из тьмы, и я мог только догадываться или чувствовать то же самое, что чувствовала она...

И я наклонился и прикоснулся щекой к ее щеке. Ненадолго. На один лишь вздох. А потом резко, уже чувствуя, что немножко играю, отодвинулся и сказал каким-то неестественным, придушенным голосом:

— Прости.

Она молчала.

Мне почему-то стало стыдно за это прикосновение, и я, подогревая воду, смахивая со стола крошки, доставая сахар, делал все это, чувствуя ненужность и лживость своего пребывания здесь. Несколько раз я пытался что-то сказать, но каждый раз спотыкался об очевидные пошлисти и глупости рвущихся с языка фраз и не издавал ни звука. Наверное, это было очень заметно. И хотелось мне только одного — домой. Домой, домой, домой!..

«Вот сейчас попьем этот треклятый чай, распростимся, и все», — думал я и, видимо, сутился, злясь на себя, на нее, на весь этот мир.

Но рядом со мной была женщина, и она сказала только одну фразу:

— А почему вы не бреетесь? — И мое смущение ушло, освободив место щенячьей благодарности.

Я остановился. Опустил руки. И только улыбнулся.

Улыбнулась и она, наклонила голову и спросила:

— А?

Я сделал шаг, чтобы еще раз коснуться ее головы, взять ее руки в свои (они, должно быть, холодны), но она сказала:

— А что чай?

И я вновь замер, а потом радостно сказал:

— Черт возьми! — И, дотронувшись пальцем до ее плеча, принял разливать чай.

Потом мы сидели за столом, ножом (чайных ложек у меня, естественно, не было) по очереди размешивали сахар в кружках, оплавывали свечи, мы говорили о каких-то пустяках, о вчерашнем дожде, о том, какая будет зима, мы по очереди склонялись над пустеющей банкой с тушеною, за окном светало, мы говорили и смотрели друг на друга, и возникшее между нами что-то старое и доброе не уходило, дождь за окном совсем стих, и, казалось, было слышно, как холодный туман поднимается из недр земли, мы были близки, так близки, как могут быть люди только свежевлюбленные или (добавлю я уже сейчас) не знающие друг друга и от этого прощающие все, что может быть достойно осуждения, прощающие самое страшное — неизвестное прошлое.

Стоял январь. Под подушкой лежал самый желанный подарок, а на подушке у самой щеки грелась шоколадина, которая к моменту пробуждения будет совсем мягкой, и когда, сидя в постели, разберешься со всеми подарками и, сложив их на стоящий около постели стул, наконец встанешь и, шлепая босыми ногами по восточной прохладе паркета, выйдешь на кухню, где ждут тебя торт и мама, то и руки, и вся твоя физиономия будут в шоколадных потеках, и ты, еще не до конца проснувшись, сядешь, покачиваясь, на табурет и будешь смотреть соловыми глазами, как накрывается первоянварский завтрак, и слизывать с пальцев уже не такой вкусный шоколад.

— Ой, я же уже опоздала! — Она вскочила, наскоро повязала платок и стала натягивать пальто, все время попадая левой рукой за оторвавшуюся подкладку. Я взял у нее пальто, помог ей надеть его и, продолжая движение, запахнул его у нее на груди и задержал руки. Она откинула голову и прижалась затылком к моей груди (какая же ты маленькая...), и я наклонил голову и ощущил теплую колючность пересушенного за ночь платка, а через секунду она словно прошла сквозь мои руки и пошла к двери. На пороге она обернулась.

— Спасибо,— сказала она.— Счастливо вам добраться до дома.

— Спасибо,— ответил я, уже не понимая, о каком доме она говорит. Куда же мне теперь ехать?! И, пытаясь задержать ее: — Вот прощаемся... а так и не познакомились... Я хочу сказать: даже не знаем, как друг друга зовут. Я — Валерий.

— А меня — Даша.

— Даша?! — удивленно переспросил я и пожалел об этом, потому что она сразу замкнулась, словно выросла.

— Да, Даша. А что — не нравится? — Голос ее прозвучал резко и неприветливо.

— Ну, что вы,— сказал я, стараясь не смотреть ей в глаза и чувствуя лживость собственного голоса. Я чувствовал себя предателем за то, что выслушал и, как теперь видно, поверил словам Лагова, что потом, не зная ее, думал о ней так грязно, и я было уже хотел извиниться, когда вдруг представил, сколь глупо и оскорбительно это будет выглядеть, и смолчал и вдруг заметил ее насмешливый взгляд и покраснел.

— Счастливого пути,— сказала она и вышла, тихо притворив за собой дверь, а я так и остался стоять посреди комнаты.

Когда я вышел на улицу, ее уже не было видно.

Разъяснивало.

Я грустно, не сходя с крыльца, помочился и побрел обратно в дом.

Чтобы успеть на поезд, нужно было быстро собираться, но я сел на чурбак, налил себе одной заварки и, так и не тронув ее, просидел минут десять. Хотелось спать, да и Москва вдруг потеряла для меня всю привлекательность. Куда? Зачем? Что там, что здесь — какая разница? Ведь и здесь, и там — я — не сильный, не слабый, не честный, не лгун...

Подобные мысли перемежались волнами сонливости. «Дерьмо», — говорил я себе и тут же чувствовал, что это мне глубоко безразлично. Кончились все тем, что я перетащил спальник на его прежнее место и лег. Но заснул не сразу, потому что поймал себя на мысли, что если Лагов говорил про Дашу правду (все ведь может быть), то вел я себя, как тридцатилетний пацан. Мне стало почему-то жарко, и я с надеждой подумал, что, может быть, запой у Анатолия затянет еще денька на два и тогда Даша обязательно придет. Может быть, даже сегодня вечером...

Тут я в последний раз сказал себе: «Ну и сука же ты, Валера», — и заснул.

Глава одиннадцатая

Ожиданием был наполнен для меня этот день.

Школьником, сбежавшим с уроков, чтобы увидеть даму сердца из соседней школы, слонялся я по домику, по саду, по деревне.

Раздражаясь из-за пустяков, я прибрался в доме. Я натащил дров, с первобытной яростью выламывая их из постаннывающих от этого изб. Я дважды протопил печь. Я вымыл посуду. Я сделал все, что мог сделать, и больше так не мог.

Высокое серое небо не предвещало вечера, безбожно врущие часы показывали лишь одиннадцать, и я уже жалел, что не собрался утром и не уехал, но жалел, четко осознавая, что все-таки не уехал и уехать сегодня уже не смогу.

Чувствуя, что хлюпающая в кедах вода способна довести меня до белого каления, я натянул сапоги, взял ружье, патроны и, пройдя вдоль деревни, вышел к овражку, начинавшемуся сразу на задах, и по его краю дошел до леса.

Я не охотник, хотя никогда не могу отказать себе в удовольствии пострелять в тире какого-нибудь ПКиО. У меня твердая рука, и я неплохо стреляю, так что, когда мне попадается не очень разбитое ружье, я ловлю иногда завистливые взгляды сажающих в «моловко» мужиков и их спутниц.

Лес словно вымер, и, пройдя с километр, я щелкнул предохранителем и бросил ружье за плечо. Теперь я шел спокойно, отмечая, что за несколько дней непогоды листья совсем опали и лес теперь просматривается чуть ли не насквозь, и от этого кажется, что вот-вот выйдешь на широкую просеку, на большую поляну, в поле. Но стволы плыли и плыли за спину, а конца им все не было и не было. Лес засасывал одинокого путника вглубь, заманивал, ничего не обещая, кроме ожидания свободы, раскатистого простора, и я проваливался в этот лес, и он уже властвовал надо мной, над моими настроениями, и, стараясь не

отпустить меня, одним порывом низового ветра пытался поднять бурью листву, затирая и без того едва заметные мои следы. Еще чуть влажные осины придавали воздуху синеватый оттенок, и постепенно озобн ожидания сменился во мне тихой, беспрчинной радостью. Глупое, улыбчивое настроение...

И шел, и шел, не запоминая дороги и не думая о том, как буду возвращаться, шел так, словно навсегда уходил в эту природу, словно там, за этим лесом, ждало меня что-то такое, к чему я шел всю свою путаную жизнь.

И мысли мои были похожи на лицо человека, жующего травинку — нездешние, невнимательные мысли.

Внезапный, рвущийся на меня треск в кустах и чьято метнувшаяся тень заставили одним маховым движением вырвать из-за спины ружье и нажать на оба курка сразу. Но все та же звонкая тишина стояла над лесом. Предохранитель. Большим пальцем я сбросил его и за мгновение до дуплета увидел мчащегося ко мне Чанго. И тогда, не знаю уж как, я успел рвануть стволы вверх, и плотный, чуть раздвоенный грохот прокатился по лесу, и на землю посыпались оббитые выстрелом обломки веток.

Но Чанго не испугался, а только резко остановился и удивленно посмотрел сначала вверх — куда же я стреляю? — а потом на меня — зачем же я стреляю?

Я не глядя отшвырнул еще дымящееся ружье в сторону и опустился на землю. Весь этот переход от умиротворенного бездействия к выстрелам произошел мгновенно, и, только почувствовав на щеке дыхание ветревоженного пса, я понял, что же все-таки произошло, закурил, не вынимая сигареты изо рта, дожег ее до конца и тогда, почувствовав, что листва подо мной абсолютно мокрая, встал.

Чанго, который, как и все собаки, не переносил табачного дыма, с отсутствующим видом сидел в стороне, но, когда я наконец поднялся, он ударил хвостом по земле, вскочил и подошел ко мне. Даже сквозь джинсы я почувствовал влажное тепло его тела, почесал его между ушами, отчего он начал блаженно щуриться и как-то приседать.

— Больше я тебя никому не отдам, — сказал я, наклонившись к его уху. Он промолчал.

Наконец я подобрал ружье, вытащил кисло пахнущие гильзы, забросил их в кусты, и мы тронулись. Уже смеркжалось, но не успел я подумать, что мы запутались, как, прорвав заслон густого орешника, мы вывалились на уже знакомую мне дорогу на Пустые Вторники. Видимо, гуляя, я дал неплохого кругаля...

И только салоги заскользили по размокшему проселку, как я почувствовал голод и усталость. До Вторников было всего ничего — километра полтора. Чанго бежал впереди, аккуратно обходя разливы луж и изредка заглядывая в кусты.

И когда вышли из леса и увидели открывавшуюся нашим домиком деревню, оба обрадовались. Чанго пропустил галопом, а я просто прибавил шагу.

Я вдруг понял, что эта избушка стала наконец для меня чем-то родным. Радость этого определения, закрепления себя в пространстве была столь мгновенна и ярка, что я даже не покопался в себе и не выяснил, кому я этим больше обязан — Даще или Чанго.

И когда, мокрые и замерзшие, все-таки пришли в еще теплую избушку, и поели, и покурили... стало совсем хорошо...

Стемнело, но я не зажигал света.

Бесчувственное тело Чанго валялось у остывающей печки, сигареты были чуть влажноваты, но вкусны, ветер сухо пел за окнами, а я лежал, пускал дым в невысокий, но уже тающий во тьме потолок и думал о том, что мне стало не важно, придет или же не придет Даща, — я нашел себя, на какое-то время я избавился от постоянно довлеющего надо мной одиночества, и этого мне было вполне достаточно. Я подумал, что смысл нашей суетливой городской жизни очевидно нелеп, но достаточно сентиментален: выходя из своего дома, мы придумываем себе бездомье и пускаемся искать свой дом, обманывая и вовлекая в эти поиски друзей и женщин. Впрочем, они сами с радостью идут на этот обман, потому что он им тоже свойствен... Все это заставляет нас говорить почти честные, но от этого не менее прекрасные слова и жить так, что наше пребывание в этом мире приятно этому миру, потому что он любит веселых, бездомных и нетребовательных людей, любит, ибо в их поведении есть та, пусть и ненастоящая, простота бытия, которая не позволяет оглянуться и задуматься, а зовет и бросает вперед. Романтика городских будней.

А Даща?

Я вдруг понял, что, приняв, я и ее сделал «горожанкой», приспав и ей нашу неустроенную скучу познания.

Неправда. Ложь.

Вечно пьяные отец с матерью, восемнадцать подобных лет за худенькими плечами, и бесконечное пространство русских полей, за которое трудно уцепиться неизощренной мысли, все это действительно похоже на ту самую настоящую трагедию, которая у нас, простых, веселых и бездомных людей, запросто уничтожается вопросом: «Ну и что?!»

Я подумал, что виноват перед той тринацдцатилетней девочкой в легоньком, наброшенном на плечи пальто, виноват в том, что оставил ее здесь, в этом, требующем абсолютного (не детского) внимания мире, и не только оставил, но и забыл о ней. Сколько же истрачено сил, думал я, сил, которые, возьми я тогда ее с собой (с той, другой, ведь все равно ничего не получилось), сколько сил не было бы истрачено впustью на борьбу с бытом и хамством и какую прекрасную форму могла бы принять эта открытая чистота, которая и сейчас сквозит в каждом ее движении...

Хотя... Хотя уже не такая и открытая, подумал я, вспомнив ее настороженный взгляд и напряженную фигуру. Тут я понял, что жду ее прихода и просто, словно кроссвордом, развлекаю себя подобным философствованием.

Да, я ждал Дащу. Ждал, хотя мне было немного не по себе от нашего утреннего прощания. Ждал.

Но прошло еще не меньше часа, прежде чем раздался скрип крыльца. Потом, судя по звукам, она отскребала грязь со своих резиновых сапог, а потом короткий стук задетой плечом щеколды возвестил о том, что она идет в дом.

Чанго уже давно стоял около двери, еле слышно, почти на ультразвуке постанывая от нетерпения, и в сереньком, случайно оставшемся в комнате свете

мелькание его хвоста сливалось в одну светлую плоскость. Не успела дверь отвориться, как он бросился вперед, помог ей распахнуться и исчез во тьме. Раздался слабый крик и мягкое падение тела.

Только тут до меня дошло, что она (кто же еще!?) шла в пустой дом, а если и могла допустить мое присутствие, то ни сном, ни духом не ведала, что там может быть собака, и тогда меня сорвало с лежбища.

— Не бойтесь, он не тронет,— с этими словами я остановился на пороге. Из темноты доносились какое-то шуршание, сопение, вздохи и мокре хлопанье языка.

— А я и не боюсь,— раздался из темноты странный, незнакомый мне до этого голос Даши.

Я вернулся в комнату, зажег свечу и, заслоняя пламя рукой, вновь вышел в сени. Даша сидела у стены, обхватив руками неожиданно большую собачью голову, и плакала, плакала тихо и спокойно, плакала так, как будто только что не случилось что-то страшное, чего она ждала, а Чанго вылизывал ее ухо и чистил шеи.

Я понял, что все утешения сейчас ни к чему, и поэтому просто сказал:

— Ну, пошли в дом. Ишь, расселись...

Но они посидели еще немного, потом с тяжелыми вздохами оторвались друг от друга, встали и зашагали в комнату. В руках у Даши была клеенчатая сумка, из которой высовывался край ржаного кирпича.

— Что, опоздал на поезд? — спросила она, подходя к столу и водружая на него сумку.

— Нет. Просто раздумал уезжать.

Она бросила на меня быстрый внимательный взгляд и начала стягивать пальто.

— А я опоздала,— сказала она, судя по всему, не очень сожалея об этом.— Бабы крику подняли. И что они такие голосистые...— Говоря это, она бросила пальто в угол, вслед за ним полетел платок, а потом из сумки появились черная, даже на вид тяжелая буханка хлеба, кусок желтого сала, цибик чая, несколько лукович, кулек с леденцами и... четвертинка.

— А это зачем? — спросил я, а Даша тем временем уже открывала вышку, держа в руке пучок заготовленной мной лучины. Только горожане разжигают огонь, полагаясь на неверное тепло газеты, сельские жители делают это вернее.

— А так...— Она чиркнула спичкой, дала ей разгореться и только тогда поднесла огонь к прозрачным пластинам дерева.— Одной тут иной раз так тошно бывает... хоть вой. А выпьешь немножко — поплакать сможешь.— Она сунула запылавшую лучину в печку и начала подкладывать дровяную мелочь.— А... пустяки все это... не бери в голову. Кушать хочешь?

Она стала хозяйкой, и лежавший Чанго не спал, как обычно, а, положив на лапы голову, внимательно смотрел, как она растапливала печь и собирала на стол. Впрочем, собирать было почти нечего. Не мог же я предложить ей сварить все тот же суп «Московский»?! Почему-то действительно не мог... Но тушенику все же открыл, и она вывалила ее в миску, покрошила в нее лук и поставила в печку разогреваться. Не был забыт и Чанго. И хотя он недавно ел и наверняка не был голоден, но он подошел к миске и с некоторым, может быть, даже показным достоинством выкусил свое хлебово до дна. Это действие, видимо, окончательно истощило его душевную энергию, потому

что он как подкошенный рухнул на пол и мгновенно заснул.

— Вот и все,— сказала Даша, вынув из печки еду и присев у стола.

Я убрал Дашину четвертинку обратно в сумку и достал свою вчерашнюю, только начатую бутылку.

— За встречу,— сказал я.

Она наклонила голову и тихо сказала:

— Только чуток.

Той уверенности, с которой она пять минут назад хозяйничала, уже не было, и передо мной вновь сидела девочка с тощей шеей и с жиденькими, затянутыми аптечной резинкой волосами. Эти переходы были мгновенны и очень ярки.

— Детям много и нельзя,— сказал я голосом классного наставника и налил поровну себе и ей. По чуть-чуть.

Есть я не хотел, но пример Чанго стоял перед моими глазами, и мне пришлось есть всерьез.

То ли хозяйка уж больно была хороша, то ли потому, что еда, изготовленная чужими руками, всегда кажется вкуснее самодеятельной, но ел я с большим аппетитом.

Трапеза протекала в молчании.

А когда все было съедено и моя нескончаемая бутылка была убрана под стол, Даша встала, внимательно поворотила в печке, закрыла вышку, спросила:

— Можно? — И, не дожидаясь моего «Да!», скинув старенькие, покрытые сетью трещин резиновые сапожки, забралась на спальник и усилась в угол, поджав под себя ноги.

— Ну, рассказывай,— сказала она, устроившись поудобней и укрывшись чуть влажным пальто...

— Что рассказывать?

— Ну, как что... Что-нибудь... Что-нибудь интересное...

— Я не умею.

Сказав это, я не соврал. Действительно, когда меня вот так просят рассказать что-либо, я теряю дар речи, если та способность изъясняться с братьями по виду, которой я обладаю, может называться даром.

И только поэтому вместо удивительной истории с принцами, домовыми и грудными лешими я просто спросил:

— Тебе завтра, как и сегодня, в пять вставать?

— Нет,— с непонятной мне гордостью сказала она.— Завтра мое воскресенье.

— Что же, вы все каждое воскресенье гуляете? А как же...

— Нет,— перебила она меня.— В очередку. Это недавно так... Как председатель установил...

— Лагов?

— Он. А откуда же ты всех знаешь, ежели к тебе сюда ни одна живая душа не заглядывала? — спокойно спросила она.

— Так я же говорил, что он вместе с Башлыковым за Чанго приезжал.

— И Башлыкова знаешь,— как-то удовлетворенно сказала она.— Ну, а кого еще?

— Ивана Сергеевича.

— Какого еще Ивана Сергеевича?

— Тургенева. Да брось ты в самом деле! Тебя. Кого еще я здесь могу знать? Кстати, что за человек Лагов?

— Юрий Григорьевич-то? Да как тебе сказать... Он не родниковая вода, да, наверно... может, самый стоящий человек на всю округу.

— Я бы не сказал...

— Так для этого его узнать надо. Понять. Для тебя что — требует, промашек не прощает. Начальник. Значит, сердитый. Злой... — Она на мгновение замолчала. — А он к себе-то, может быть, больше всего злой. И зачем человеку нужно все себе назло делать?! Словно каётся он, вину какую отрабатывает.

— Ну, может, и есть вина-то?

— А у кого их нету? У всех есть. Все грешники. Он не хуже других, да другие живут себе спокойно и ни о чём не думают... Словно без памяти живут.

— Но мне говорили... — Мне захотелось проверить слова Сергея Петровича, но она перебила меня:

— Башлыков, что ли? О доносах? — Она уже злилась.

— Да. А ты откуда знаешь?

— Да эта сволочь всем направо и налево треплет... Хуже бабы, право. Что услышит, то и принесет. А говорят... Мало ли про кого чего говорят?

— Но ведь дыма-то без огня не бывает,— сказал я и почувствовал, что эта фраза чересчур многозначна, но Даша была выше подобных двусмысленностей.

— Бывает. Но и огонь тоже разный бывает. Вот Лагов, когда видел, что не так что-то делается, так молчать не мог. А ведь всегда же что-нибудь да не так делалось... Да и делается...

Я кивнул.

— Это мы сейчас все такие учёные стали. Молчаливые. Хотя он и сейчас не такой. А раньше-то еще горячее был. И за землю эту всерьез болел. Ну, поспорит он с кем, да словами не убедит, да и в райком пойдет или в Москву напишет. Он и такое делал. Молодой был да глупый еще. Дипломатиям не обученный. Ну, а потом лаговский супротивник исчезает — шпионом или вредителем оказывается. А Лагов — хозяин горы. А его ли в том вина-то?

Я допустил, в определенные времена и при известной запальчивости борьба за правду может привести отнюдь не к однозначным результатам.

— Вот я и говорю,— продолжала Даша.— И как только его самого обходило?! Везучий он, что ли... Ну, сначала все нормально было, пока он в МТС работал. Борец. Бессребренник. И сам он ничего не видел — борьба за правду глаза застила. Ну а потом бывший председатель, Башлыков-старший, полетел, да на его место ни с того ни с сего молодого еще Лагова ткнули. А потом еще перемены всякие подоспели, и наши деревенские шпионы,— она улыбнулась,— возвращаться стали... Тут-то ему все и припомнили. Всех собак и понавешали. Доносчик, стало быть. А в колхозе — развал. Да воруют. Да бегут все. А он хоть и не злой, да кулак у него еще с прежнего времени остался — не приведи... Пока колхоз вытянулся, чуть не загрызли его вовсё. Сюда комиссии, как экскурсии в Кремль, одна за другой ездили...

— А откуда же ты так это все хорошо знаешь? Тебя ведь тогда еще и на свете не было.

— Сам рассказывал. Пришел как-то. Матери дома не было. И цельный вечер просидел. Словно оправдывался... Отец мой тогда загремел... А без отца-то даже лучше было... Да что об этом.. А Лагов... Совестливый он. Трудно ему жестким да принципиальным

быть... А к тому же деревня это — не город. Свои все. Дома не запереться... Совестливый он...

— Вот уж не подумал бы...

— А ты подумай. Вот он сейчас с Башлыковым маётся. За чужие грехи платит. За Башлыкова-старшего, за ворюгу платит... Да разве за эти грехи одному человеку расплатиться?!

— А Сергей Петрович?..

— А что Сергей Петрович. Разве он понимает. Ведь Лагов сначала с ним, как со своим дитем возился. Видел бы ты, как его в армию провожал. Это уж и я помню... А Башлык разве что понимает... Даже злости в нем нет. Злобы — хоть отбавляй... Вот собака от него бегает. Мы тут с ней однажды чуть не с неделю жили. Да и к тебе уже второй раз прибегает. А от этой сволочи только и бегать.

— Но ведь он тебя... любит... — сказал я и, только сказав, почувствовал, как не подходит к Башлыкову это слово.

— Кто, Башлык? — зло спросила она.

— Да.

— А-а-а... Еще как любит... Меня здесь все мужики любят... Любую бабу спроси. Ты думаешь, мы здесь с тобой вдвоем?

— ?..

— Да здесь пол-округи мужиков ошивается. Маманя-то моя всем уж разнесла, что я неделями дома не ночую... Она-то в свое время не ушла... А вот теперь злость, что ли, вымешает... Не любит она меня. Будто я по собственной воле на свет вылезла. Она-то с батей, когда уже на сносях была, повенчалась. Вроде из-за меня. Сама-то она из городских. Да что там... Долгая это история. Ну а сейчас на меня наговаривает... Да и то слово — никто понять не может, что одна я здесь могу хорониться. Ни с кем. Раз ни с кем, значит, с кем попало... Вот сегодня на работу опоздала, так какой... чего только не услышала... И чего бабы злые такие...

— Ну, не все же.

— Конечно, не все. Только злые уж больно голосистые. Словно обиженные они, да боль наверху. А у хороших людей боль глубокая. Ее только через душу и тронуть можно.

— А что если уехать? — спросил я и почувствовал, что этот совет стал для меня панацеей от всех бед.

— Уехать-то?! А ведь ты меня уже как-то звал.

— Когда же это?

— А тогда, когда прошлый раз был. С отцом как-то один раз зашел. Ты ведь?

— Я.

— Ну вот. А мне после тебя долго жизни не было... «Скоро уедешь», — сказала она, явно переодразнивав матер. — «Приедет за тобой хахаль твой. И чем ты его только завлекла?..»

— Но я не мог.

— Конечно, не мог. Но говорить-то зачем было. Добреньким хотел показаться? — Она еще дальше отодвинулась от меня и почти с ненавистью сказала: — Хватит с нас добреных. Все равно добрее Башлыкова не будешь... — Она замолчала и молчала, наверное, с минуту, пока я судорожно искал слова возражения. Но так и не нашел, что сказать, когда она заговорила вновь: — Не мог... А сейчас можешь?

— Сейчас могу, — сказал я и сам не поверил своим словам.

— Ну и что ты со мной делать будешь? Тогда, мать говорила, ты меня домработницей обещался взять. Ну а сейчас кем? Полюбовницей?

— Не говори глупостей! Тогда-то я говорил, чтобы они отпустили. Ведь не мог же я сказать, что ты будешь просто жить, просто учиться, просто... Ведь не поверили бы они мне.

— А чего же тебе верить, когда ты не мог ничего сделать. Так просто говорил. Да и почему не поверили бы? Их, ты думаешь, что-нибудь интересовало — кто ты, откуда, зачем? У них же... то есть у нас ведь пять детей, и все по родственникам, по детдомам рассованы... Обмануть захотел... Да мне и не нужно с тобой или вообще с кем ехать куда-то. И так живу, как видишь. Но врать-то к чему? Зачем мне это — «а на нее уж и городские засматриваются... Может, и мать отсюда увезешь?!». Зачем мне это? Ну, ты, добрый, скажи.

Мог ли я что-нибудь ей ответить?!

Судя по всему, выглядел я достаточно пристыженным, потому что она вдруг дотронулась до моего плеча своей обветренной рукой, а потом наклонилась всем телом и тихо выдохнула мне в шею:

— Ты прости меня. Ты, наверное, хороший. Ты должен быть хорошим. Прости меня. Просто чем дальше, все чаще бывает невмоготу... — И она замолчала.

— Нет. Это ты должна меня простить. — Теперь у меня уже были слова. — Не думал я, что вот так все будет. А сейчас я тебе совершенно серьезно говорю. Уедем отсюда. Ничего мне от тебя не нужно. Давай, а?

— Не знаю я ничего, — все тем же полушепотом сказала она. — Тебя я не знаю. Если бы ты тогда ничего не сказал, так, может быть, и уехала... А сейчас не знаю... Не верю я еще тебе.

— Но... — Я уже хотел было возмутиться, но она прикрыла мне рот своей сухой ладошкой.

— Прости. Ты тут ни при чем. Молчи... ни при чем... Просто накопилось у меня, а никому здесь слова сказать не могу. Круг какой-то заколдованный...

— Просто ты устала... устала. — Я говорил это, глядя ее по промытым осенними дождями волосам. — Ты очень устала... И мы уедем... Каменных замков и пряничных домиков я тебе не обещаю, но тебе будет спокойно... Поверь мне... Я же немножко вижу тебя... Ты же удивительная... Ты просто очень устала... Ты даже не знаешь, какая ты. — Я уткнулся носом в ее распущенные волосы и продолжал говорить, веря в то, что говорю. — Я ведь все время помнил тебя, ту маленьющую и больную...

— Мне тогда очень плохо было, — совсем ребячым голосом сказала Даша.

— Тебе будет хорошо, — ни к селу ни к городу сказал я. — Слышишь? Теперь ты должна мне верить. — Я взял в ладони ее голову и осторожно поцеловал. Но, прежде чем мои губы коснулись ее, она тихо сказала, выдохнула:

— Я верю тебе...

Глава двенадцатая

И проснулись мы в той же позе, что и заснули, то есть проснулся я, потому что Даша еще спала, приоткрыв чуть вспухшие зацелованные губы и дыша спокойно и ровно. В комнате было уже светло.

— Любимая... — сказал я и почувствовал, что чуть ли не в первый раз в жизни говорю это всерьез. Может быть, потому, что меня не слышали. — Любимая моя, — сказал я и тихо прикоснулся губами к ее щеке, а она, еще не знающая, что значит этот утренний поцелуй мужчины, только глубоко вздохнула и, словно отгоняя меня, чуть двинула головой. Я полежал еще немного, чувствуя прикосновение ее спокойного тела, а потом осторожно вытянул руку из-под ее головы и вылез из спальника.

Ты спала.

Я оделся, затопил печку и пошел за водой. Было сухо, и лишь у горизонта серое небо заволакивалось дождевыми тучами. Сонный Чанго протрусил за мной до колодца, но не дождался меня и почти сразу, всего один раз подняв ногу, поплелся в дом. В каждом его движении чувствовались томность и воскресное умиротворение.

Я вернулся в дом, засунул котелок с водой в уже расфуговавшуюся печь и начал приводить в порядок нехитрое наше хозяйство. Но, сметая со своего самодельного стола хлебные крошки и сигаретный пепел, я всадил в руку глубоко занозу, и не только всадил, но и ухитрился сломать ее под самый корень. Я попытался подцепить ее ногтями, но мои руки не были предназначены для столь тонкого дела.

— Сильно? — вдруг раздался за моей спиной ясный, уже проснувшийся Дашин голос.

Она смотрела на меня, полуоткрыв рот, и лицо у нее было такое... такое мне еще неизвестное лицо — задумчивое и отрешенно-доброе. Хотя она была серьезна, мне показалось, что она улыбается, и я улынулся ей в ответ. Придерживая на груди вкладыш, она села и тихо, почти не шевеля губами, позвала:

— Дай посмотрю.

Я присел рядом с ней, и она нашла занозу и потом, по-звериному оскалив зубы, склонилась к моей руке. Вкладыш сполз, обнажив длинную спину с тоненькой незагоревшей полоской. Она вытащила занозу, а потом уткнулась мне в ладонь губами, не то целуя, не то плача, и я склонился к ней и поцеловал ее пухлую около затылка шею, поцеловал тихо и осторожно. Так лошади берут с ладони кусок сахара...

И тут она действительно заплакала, выдыхая мне в ладонь одно:

— Господи... Господи... Господи...

И я обнял ее, и целуя, и повторяя извечное и глупое:

— Ну, что ты, что ты, все ведь хорошо. Ведь хорошо? Да?

— Да... — ладонью услышал я. — Хорошо.

— Вот мы уедем отсюда... Ведь уедем?

— Уедем, — эхом откликнулась она.

— И все будет хорошо. Очень хорошо. Слышишь?

— Хорошо...

Негромкий стук в дверь заставил нас замолчать. Я быстро встал, Дашенька, шмыгнув носом, юркнула в спальник, а Чанго шумно вскочил и отряхнулся.

— Да, — сказал я далеко не радужным голосом.

Дверь отворилась, и на пороге возник Башлыков. Ружье, висевшее за спиной, и высокие болотные сапоги делали из него заправского охотника.



— Здравствуйте,— сказал он мне вначале спокойно, а потом, увидев Дашу, весь подобрался, напрягся и каким-то нехорошим голосом спросил: — Не помешал?

— Нет. Заходите,— ритуально ответил я.

— Я опять за Чанго,— каким-то мстливым голосом сказал он и сделал шаг в комнату.

— Знаете,— теперь я уже был смел,— мне кажется, вам не стоит его забирать.

— Это еще почему? — Он был уже не столь вежлив, как в прошлый раз.

— Он от вас все равно сбежит. Сколько вы за него хотите?

— Я же вам сказал уже: не продается он.

— Ну, хотите, не хотите, а собаку-то пожалейте.

— Нет.

— Так я его вам просто не отдам. Нечего пса калечить.

Башлыков попытался пройти к Чанго, но комната была узенькая, и, оказавшись на его пути, я не посторонился, а он, видимо, не рискнул отодвигать меня силой и остановился так близко, что я видел каждую его белесую ресничку и влажные желтоватые комочки гноя в углах глаз.

Тут я почувствовал, что сейчас могу наброситься на него с кулаками и тогда уж избью до полусмерти.

— Вон! — сказал я, чувствуя, как наливаюсь белой яростью.— Марш отсюда, и чтобы я тебя больше не видел!

Вид мой, наверное, был страшен, потому что Баш-

лыков отшатнулся, чуть не упал и поймал равновесие уже около двери.

— Ну, хорошо,— с явной угрозой в голосе сказал он.— Это вы еще припомните. И ты тоже,— сказал он, глядя сузившимися глазами в угол, где сидела Даша.— Ты тоже все вспомнишь, кобелиная подстилка.

Пока я, уже отведя руку для удара, пролетел эти разделявшие нас несколько метров, он успел выскользнуть из дома и даже хлопнуть дверью. Я выскочил за ним на крыльцо и крикнул ему: «Стой!» — но он продолжал быстро идти к лесу. Было видно, что он торопится и дуло двустволки нещадно колотит его по ногам.

Только тут я осознал, что у него было ружье, и тогда мне стало совсем противно и смешно.

— У-у, холуйская морда! — громко сказал я и несколько раз ударил кулаком по влажным бревнам — адреналин требовал разрядки. У меня даже мелькнула мысль сбегать в дом за ружьем, но я все же додумался до того, чтобы сказать себе «идиот». И просто вернулся в комнату.

Только войдя с улицы, я почувствовал запах свежего перегара и понял, что Башлыков успел уже по утручу приложитьсь. Насколько же глубоко сидело в нем рабство, если даже в подпитии он не срывает с плеча ружье, а ограничивается простым хамством.

— Человечек... — проговорил я, закуривая, и только тут обратил внимание, что Даша плачет. Плачет тихо, отвернувшись лицом к стене и почти вся уйдя в спальник.

Я присел рядом с ней и положил руку на ее уже замерзшее плечо.

— Ну, что ты... — сказал я. — Что ты... Ну разве можно на каждого подлеца обращать внимание.

Она резко повернулась ко мне, своими огромными заплаканными глазицами посмотрела на меня, словно проверяя, смогу ли я ее защитить, а потом сказала:

— Неужели же все это кончится... — и как-то по звериному обвившись вокруг меня, уткнулась лицом в грязную телогрейку и вновь заплакала, но уже по-другому — открыто и доверчиво. Сквозь слезы она пыталась мне что-то объяснить, но, кроме отдельных с трудом разбираемых слов, ничего понять было невозможно.

— Ну-ну... Ну-у... — как-то нараспев повторял я. Мужчины в таких случаях бывают удивительно красноречивы. — Ну, что ты. Ведь я здесь. И все кончилось. И все будет хорошо. Ну, что ты. — Я повторял это, пока она не затихла.

Но она не уснула, а впала в какое-то дремотно-отрешенное состояние, и я тихо уложил ее в спальник, поцеловав ее в лоб, встал и вновь занялся хозяйством.

Печка совсем прогорела, вода в котелке, так и не закипев, успела остывать, и, честно говоря, ничего делать мне не хотелось, но я все же растопил печку, заварил чай, нарезал хлеб и хотел уже подать Дашенке завтрак в постель, но она открыла глаза и сказала:

— Я встану. Отвернись.

Я не двинулся с места, но когда она повторила каким-то умоляющим голосом:

— Отвернись... пожалуйста, — я отвернулся.

Чай мы пили почти в полном молчании, под однословные, произносимые скучными голосами «да», «нет», «еще?», «спасибо».

Откушали.

В последний раз сказав «спасибо», встали из-за стола.

Тишина. Даже ветер на улице стих.

Наверное, именно в такие минуты и зародилась у человечества мечта о телевидении.

Глава тринадцатая

После обеда, тоже прошедшего в молчании, Даша домывала посуду, а я сидел в углу и почему-то, явно любуясь собой, рассказывал зрящие, никчемные истории. Рассказывал, не задаваясь мыслью, интерес-

но ли ей то, что я говорю, слушает ли она меня.

Наконец она вытерла руки и, как-то неестественно прямо держа спину, села на чурбак, растерянно глядя на меня.

— Все, — голосом школьницы сказала она и вновь замолчала.

Смолк и я.

Помолчали.

А она все смотрела мне в глаза, и губы ее шевелились, и ранее не замеченная складка обозначилась у углов рта.

Внезапно она встала, подошла к висящей на гвозде от иконы сумке, достала из нее свою так и не распечатанную четвертинку, держа ее за горлышко, протянула мне.

— На. Может, легче будет.

Она вытряхнула из кружки оставшиеся после мытья капли воды и подала мне.

— Собрать что-нибудь? — спросила она.

— Что? — не понял я.

— Ну... закусить...

— Не. Не надо. — Я сорвал желтую крышечку и выбулькал водку в кружку. Получилось почти с верхом.

— Твоё здоровье, — сказал я и впервые в жизни одним махом выпил 250 граммов водки.

Последнее, что я увидел, были брезгливо-напряженные Дашины губы, будто это она, а не я, совершила подобный подвиг, а потом глаза мне заволокло пеленой слез, и, когда я проморгался и отышался, Даши в комнате уже не было.

С улицы доносились чьи-то голоса. Через закрытую дверь было трудно разобрать, что там — ругаются или смеются.

«Кого еще нелегкая принесла?» — подумал я, заранее раздражаясь, встал, вытер еще чуть слезившиеся глаза и, ударив кулаком дверь, вышел в сенцы и остановился.

— Уходите... Не надо... Уходите, — услышал я умоляющий Дашин голос. — Сергей Петрович, уведите его. Ну, зачем вам это... Уходите.

— Не... — чей-то незнакомый голос пьяно выругался, раздался звук плевка, а потом тот же голос продолжал: — Не... Хочу зятя посмотреть. Желаю. Имею я, Серега, такое право? А?

— Уходите, — уже тихим, каким-то отчаянным голосом сказала Даша.

И именно тут я решился выйти на крыльцо.

— О! О! Вот и он, зятек дорогой! — Это был Анатолий. Он довольно сильно изменился за пять лет, словно оплыл каким-то нездоровым, жидким жирком. Отвисшая нижняя губа сообщала его когда-то почти всегда живому лицу выражение застывшей брезгливости. Рядом с ним стоял Башлыков. Он был все в той же телогрейке и сапогах, но уже без ружья. Смотрел он куда-то в сторону.

Между ними спиной ко мне, словно боясь повернуться, стояла Даша. Простоволосая, без пальто. Даже по спине было видно, что она замерзла, и я не нашел ничего лучшего, как сказать ей:

— Иди оденься. Простудишься.

Она, вскинув голову, повернулась ко мне, но в дом не пошла.

— Какой заботливый! — глядя все так же в сторону, сказал Башлыков.

— Да, кстати, о заботе, — сказал я. — Вы сегодня так поспешно сбежали, что забыли деньги за собаку получить. Возьмите. — Я вытащил из кармана скомканный четвертной и бросил его за Дашину спину к ногам Башлыкова.

Из дальнейшего я запомнил только то, что Башлыков, отшвырнув Дашу в сторону, шагнул ко мне. Я ударил первым, но, стоя на шаткой ступеньке, ударил плохо, и Башлыков успел уйти от удара, схватить меня за руку и развернуть так, что я оказался спиной к Анатолию. Что последовало за этим, я уже не запомнил. Крики Даши, лай Чанго, яростный мат — все это бесконечно долго витало в какой-то хрустальной сфере звонкой болезненной тишины, пока не наступило небытие...

Видимо, били меня крепко, потому что, когда я вернулся из своего полета, уже темнело, а я, обложеный мокрыми тряпками, лежал в доме на своем спальном мешке. Посреди комнаты все на том же чурбаке сидела Даша и жалостливо смотрела на меня. Я пошевелился. Горело саженное лицо. Судя по боли, шишка на затылке (чем же меня согрели?) вступила в стадию окончательного формирования, болели руки, но переломов, слава Богу, вроде бы не было. Прошелся пальцами по ребрам. Больно, конечно, но — целы. Повезло, значит.

Долго и заунывно, как застарелый ревматик, проптанав, я сел. Оказалось, терпимо. Судя по всему, выпитая перед боем бутылка все действовала, как анальгетик.

Встал и, ощущая, как томно екает что-то внутри, сделал несколько шагов по комнате и только тут окончательно уверовал, что жив.

— Ну-ну! — сказал я уже спокойно и тут вновь поймал на себе жалеющий Дашин взгляд и разозлился на нее за то, что она была там, на улице, за то, что у нее такой отец (яблоко от яблони, несправедливо подумал я), разозлился за то, что сейчас она жалеет меня (чего я терпеть не могу), но Даша, видимо, не заметила этой смены моего настроения, потому что полным все того же идиотского сочувствия голосом сказала:

— Живой?

— Нет. Мертвый, — огрызнулся я, чувствуя, что с трудом сдерживалась, чтобы не наорать на нее.

— Ну, слава Богу, — умиротворенно сказала она, будто ей только что нагадали, что мы проживем с ней долгую и счастливую жизнь. — А то я уж думала — убысть тебя...

— Где Чанго? — прервал я ее излияния.

— Да вон. Не видишь, что ли?

Перенервничавший Чанго действительно дрых в углу. И тут мой взгляд упал на полку с часами. Их передняя дверца была открыта, и странно изогнутая минутная стрелка просто висела.

— А с часами что? — спросил я, чувствуя, что сейчас откроются врата моей злости, и с мрачной радостью ожидал этого оргазма.

— Я хотела их поставить, как надо, — они спешили очень. — В ее голосе слышалась все та же радость по поводу моего оживления. — А они...

И тут я сорвался. Я говорил что-то тем спокойным тоном, который (и я это знаю!) хуже любого крика. Вначале Даша пыталась оправдываться, что-то говорила про то, как я лежал без сознания и часы показывали что-то странное, но потом она замолчала, а я продолжал, стоя к ней спиной, говорить, говорить, говорить, уже поминая и Лагова, и Башлыкова, и ее отца, и все, все, все...

— Так вот ты какой. — Ее спокойный, чуть не восхищенный голос заставил меня замолчать и обернуться.

Даша, уже одетая, стояла на пороге. Последнее, что я заметил, были ее яростные глаза и две глубочайшие ссадины на лице.

— Прощай, — сказала она.

— Даша... — Но она уже вышла, спокойно и плотно притворив за собой дверь.

Я не побежал за ней.

Глава четырнадцатая

Оставшись один, я долго не мог прийти в себя и выкурил, наверное, с пачку сигарет, прежде чем почувствовал, что хочу спать. Моя вина перед Дашей за это время прояснилась для меня совсем, но я не пошел ее искать.

— Ничего. Вернется, — сказал я себе и полез все в тот же, уже осточертевший мне, спальник. — Вот завтра, если не придет, то схожу на ферму.

С этим я и заснул.

А проснулся от резкого, бившего мне в глаза света. Кто-то стоял во тьме, направив на меня луч карманного фонаря.

— Собирайся. Пора ехать, — сказала тьма, и я услыхал голос Лагова. — Отдохнул и довольно.

Спросонок плохо что понимая, я наполовину вылез из спальника и в таком идиотском виде просидел с минуту.

— Поторапливайся.

Лагов чиркнул спичкой и поднес ее к стоящей на столе свечке.

— А почему это и куда же это я должен ехать? — Я уже проснулся. — Никуда я не поеду.

— Поедешь. Никуда не денешься. — Лагов говорил это спокойным голосом, покачиваясь с пятки на носок. — А не поедешь, так прибьют тебя здесь мужики.

— За что же это?

— Сам знаешь. Ну собирайся. Некогда. Я тебя прямо на станцию отвезу.

— И когда вы это все успели пронюхать? — С этими словами я вылез наконец из спальника.

— Я здесь хозяин, — как-то невесело сказал Лагов. — Мне по чину положено. Собирайся.

И пока я как попало кидал в рюкзак свой нехитрый скарб, он сидел, курил папиросу за папиросой и молчал.

— Все, — сказал я, затягивая рюкзак. — А теперь я могу попросить у хозяина увидеть Дашу?

— Это еще зачем?

— Это мое дело.

— Вот что, парень, — голос Лагова не предвещал ничего хорошего, — побаловался и хватит. Дашу ты больше не увишишь. Не про тебя она.

— Уж не про вас ли?

— Поехали.— Он так сказал это, что я просто взял рюкзак с притороченным к нему спальником и вышел на улицу. Лагов посплюнил пальцы, загасил свечу и вышел следом за мной. Чанго уже стоял около «газика».

Тьма была непролазная. Прикосновение к ледяно-му дерматину сиденья бросило меня в дрожь. Взревел мотор. Смертельно белый свет фар осветил влажные торцы бревен полусгнившего, вновь впадающего в безлюдье домика, прогнал по мокрому голому саду ворох тонких теней, звук работающего мотора отразился от дальних домов, оживил тишину, и в последний раз чужим отражением вспыхнула пленка на окне. Звонко взбуксовав, «газик» дернулся, и мы поехали. Машину заносило на поворотах, но Лагов, низко пригнувшись к рулю, вдавливал педаль газа в пол, кидая машину в распахивающуюся бездну осенней ночи. Шоферил он действительно отменно. Несмотря на то, что разбитая дорога как-то вкричала и вскось пластилась под колеса, а пролетающие над самой головой ветви царапали и чуть не разрывали брезентовую крышу, несмотря на то, что недобрым, настороженным ревом встречал нас стоящий около дороги лес, несмотря на все это, я не волновался за свою жизнь. Наконец темная громада леса выплюнула нас в поле, сразу стало тихо, и дорога пошла ровнее. Тут уже было можно оторвать Лагова от барабанки, и я спросил:

— А мне интересно, почему вы все-таки за мной заехали, а не оставили на съедение мужикам?

— Поживи еще,— ответил Лагов, и хотя в его голосе не было желания продолжать разговор, я не мог не ввернуть:

— Что же вы думаете, вам на том свете зачется и сковородка с маслом достанется?

— Может, и так! — Он говорил удивительно спокойным голосом.— А ты не юродствуй. Не стоит. Может, ты за этот свой отпуск больше дерьяма наворотил, чем я за всю свою жизнь.

— Ну уж...

— Да. Ведь это, между прочим, деревня. Здесь все чуток не так, как в городе... А приехал я... Ну, чтоб тебе легче было, приехал я за тобой, потому что люблю иногда на милых и тихих подлецов вблизи посмотреть. А ты такой. И за себя постоять можешь. Башлыка моего ты прилично сделал.

— Они тоже не целовались,— сказал я, и хотя не помнил, что я в этой свалке успел кого-то ударить, мне стало приятно.

— А что же ты хочешь? — Лагов словно играл со мной.— Такому, как ты, пока по морде не дашь, так ничего и не поймет. Впрочем, ты и сейчас ничего не понял.

— Какое право вы имеете так говорить,— сказал я, почему-то не ощущая ни злости, ни обиды.

— Я имею,— только и сказал он.

— Остановите машину...

— Ну, здравствуйте, вот и обиделся. Какой нежный... Покорнейше прошу извинить — мы ж деревенские, хорошим манерам не обучены...

«Газик» несся по ночному полю, и хотя я понимал, что никогда не попытаюсь выпрыгнуть на ходу, я схватился за ручку двери и открыл ее. Но Лагов довольно

грубо схватил меня за плечо и кинул обратно в машину.

— Не дури,— равнодушным голосом сказал он.— Да и Чанго твой мне ни к чему.

Я промолчал, глядя, как лучи фар вырываются из тьмы куски скучного русского поля.

— Вот так-то лучше,— сказал Лагов и тоже замолчал.

До станции было не более пятнадцати километров, так что даже в этом напряженном молчании доехали быстро.

Лагов затормозил около тусклой освещенной станции, но прежде чем я успел выйти, он сказал:

— Подожди.

— Чего еще? — как можно грубее спросил я, а он, взяв меня за плечо, повернул к себе и как-то скорбно и яростно сказал:

— Поймите вы наконец, что все в этом мире серьезно. Все, навсегда,— и почти вытолкнул меня из машины.

Я вытащил рюкзак, взял на поводок Чанго и, не попрощавшись, пошел к зданию вокзала.

До поезда оставалось не более десяти минут. Пустой, замызганный, заплеванный вокзал был холоден. На лавке голова к голове со здоровой наглостью нормальных людей спали две молодухи. Одна из них, судя по всему, следя капризам моды, укоротила юбку до мини-стандарта, и сейчас она совсем задралась, открывая перетягивавшие розовые ляжки белые резинки подвязок. Я покачал головой и сунулся в окошко кассы. Кассир, видимо, спал, потому что мне пришлось постучать еще раз, прежде чем окошечко со стуком отворилось, и в нем, как лик в окладе, показалась старушечья голова.

— До Москвы один. И на собаку один.

— Справку.— Старушка, кажется, еще не проснулась.

— Какую справку?

— От ветврача, что собака здоровья.

— Да нормальный, здоровый пес. Зачем ему справка? — говорил я, чувствуя, что дело принимает совсем нехороший оборот.

— Без справки не дам. Ящур у нас. Санконтроль ходит.

Я еще долго пытался что-то доказать, объяснять, умолять, но старуха попалась стойкая. Она подала мне один билет и, не желая больше разговаривать, захлопнула окошечко.

Поезд уже гудел на подъездах к станции, и я стоял на перроне, зажав в руке последнюю пятерку, надеясь с ее помощью найти общий язык с проводником, но когда поезд остановился, то ни один из них не стал даже поднимать площадку.

Ящур.

Да, я мог бы, наверное, остаться здесь еще на сутки, найти какого-нибудь врача и выхлопотать у него эту злосчастную справку, но сама мысль о том, что мне предстоит еще несколько часов зябнуть в этих краях, была для меня невыносима, и я побежал к сонно покачивающемуся дежурному по станции и, не давая ему опомниться, спросил:

— Лагова знает?

— Конечно,— ответил тот, мгновенно просыпаясь.

— Отдайте ему! — И, не дожидаясь, пока он осознает происходящее, сунул ему в руки поводок.

Поезд гуднул и тронулся.

Проводница с заспанным и злым лицом нехотя подняла площадку, я бросил ей под ноги рюкзак и прыгнул, чуть не сорвавшись под колеса,— после вчерашней драки я был не особенно резв.

Когда я вспомнил про Чанго и свесился с подножки, чтобы хотя бы просто помахать ему рукой, уже ничего не было видно...

Вагон был пуст, и скрипящие в такт проносящимся стыкам двери грустно оживляли его гремящую тишину.

Только войдя в вагон я вдруг вспомнил, что в спешке этих сборов забыл взять часы...

— Ну и черт с ними,— сказал я себе и, бросив на лавку рюкзак, вышел в коридор покурить.

Поезд уже прошел тусклую полосу пристанционных огней и теперь, захлебываясь и давясь мраком, отbrasывал назад керосиновый уют переездов, бледную яркость шлагбаумов и желтые подфарники нечастых машин.

Но скоро и это кончилось, и за окном поплыла и задвоилась в стекле темнота.

И тогда увидел я свое отражение — только силуэт, нещедро высвечененный усталым светом казенной лампочки. Силуэт этот иногда смывали пролетающие мимо просеки, занесенные светом невысокой, ущербной, невесть откуда взявшейся луны. Они были, как выстрел в лицо.

Но секундное ослепление проходило, и снова маячил передо мной раздвоенный и потому неясный мой силуэт.

Был уже конец октября, но холод заморозков накапливался только сейчас, к утру, чтобы прорезать застывший рассвет скрипом двери вот этого дома, который уже пронеся мимо и которого уже нет и больше никогда не будет в твоей жизни. И только красные, словно набирающие жар городские огни когда-нибудь напомнят тебе эту ночь, когда вся жизнь была только дорогой, лунной просекой и этим черным домом с красными окнами, за которыми продолжалась та единственно верная жизнь, на которую с рождения обречен человек.



«АМРИТА-УРАЛ»

Духовно-этическая литература

ВЫСЫЛАЕМ
НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

Л. Дмитриева. «Тайная Доктрина Елены Блаватской в некоторых понятиях и символах», в 3-х томах. Цена в апреле: 17000 рублей + почтовый тариф.

Э. Баркер.

Письма живого усопшего.

А. Безант.

Древняя мудрость.

(Подарочное издание, две книги в одном
томе). Цена: 6000 руб. + почтовый тариф.

455001, Россия,

г. Магнитогорск-1, а/я 40.

«Книга-почтой».

Уникальные

светящиеся в темноте изделия,
краски, композиции, материалы, изготовленные с помощью
экологически безопасных люминофоров
длительного свечения,
предлагает фирма

“ПРОМИК”

Возможно использование в быту

Контактный телефон: 251-46-84

ПОПРАВКА

В № 4 поэт Евгений Кропивницкий, чьи стихи опубликованы там же под рубрикой "Мемориал", ошибочно назван Леонидом. Просим читателей извинить нас за этот просчет.

Юности
Горяеву



По устоявшейся традиции «Юность» в очередной раз приветствовала в своих стенах нового гостя. Впервые он появился в нашей редакции еще в 1959-м, когда член редколлегии, художник Виталий Николаевич Горяев принес в журнал стихи молодого тогда поэта. Стихи понравились Валентину Катаеву, но подборке не суждено было увидеть свет... И вот, как бы возвращая долг, «Юность» встречает в своей гостиной замечательнейшего поэта, создателя нового учения о стихе, установителя традиции современного русского свободного стиха Владимира Бурича.

«Ранние стихотворения Бурича, — сказал на вечере поэт Вячеслав Куприянов, — можно было рассматривать как раствор для будущих кристаллов. Но взятые отдельно, они еще и органически вписывались в то время, в которое они не прозвучали, в период бунта шестидесятников. Но уже тогда «бунт» в стихах Бурича был направлен не вне, внутрь себя, поэтому он сейчас вполне ко времени, когда мы находимся на том витке спирали, когда выпускается очередной джинн из бутылки. «Старые» стихи Бурича как бы впервые появляются на свет, но им на удивление не страшно смотреть в глаза новым людям».

Позывные

Перехожу на прием!
Я — Совесть!
Я — Совесть!
Я — Совесть!

Огромный оконный проем.
По миру разносится новость.

Перехожу на прием!
Без всяких часов приема!

Огромный
оконный
проем,
и мир
за оконным
проемом!

В летний день

Идите!
Топчитесь на хвое,
на мягкой и зыбкой,
как войлок!

Глазами
лазурь эту
нейте,
всю в сизых следах
мертвых петель!
Паучьи распутайте нити
и в желтой пыльце задохнитесь!

О что за блаженство — купаться,
струю пропуская сквозь пальцы,
отыскивать лежбища рачы,
нырять друг под друга, дурчась,
вирпрыжку пускать плоский камень,
гонять с простыней за мальками
и лиши на обратной дороге
почувствовать злые ожоги...

А почью
в консерве
немейте
на скрябинском
абонементе.

Мое слово о полку Игореве

Это асе уже было —
и ветер сырой,
теребящий массивы трав,
вечера над Каялой
и над Сулой,
крик телег
и костры до утра.
Это все уже было —
и желтый закат,
обязавший поля раскидать...
Это все уже было...
Но нет
языка,
чтоб об этом в стихах рассказать.

В дебрях
славянской
вязи
прочно глаза увязли,
восьмисотлетнее горе
ищет
иных
аллегорий.

Как белка, мысль моя спешит,
как стая птиц в полете,
как волк в степи, —
и тянет
ширь
эпических
полотен.

Нет,
не в историческом утиле,
переполнившем музея зал,
слезы,
оброненные
в Путивле,
и сейчас
туманят мне
глаза.

Главпочтамт

Главпочтамт.
Турникет.
Писем нет.
Писем нет и, наверно, не будет.
Я отчаялся ждать.
Взял билет.
Сдал завхозу ключи и постель.
Вышел в город.
С моста наблюдал, как мальчишки пескариков удят.

И соасем не заметил, что ночь
И что берег реки опустел.

Поезд тихо болтал.
Он кому-то какую-то тайну выбалтывал.
То взьмется считать,
вдруг собьется,
и снова на палочках шпал.
За окном пронеслась,
будто конь,
вся в антоновских яблоках
Балта,
пронеслась, будто конь,
пролетела...
Я спал.

Мне приснилась река
почему-то нелепой лилоаой окраски,
пирожки плоскодонок, обмазанных патокой смол,
суматоха проспекта,
редакции дом на Укрáинской,
главпочтамт,
турникет,
опоздавшее на день письмо.

Так всегда

За осенью придет зима,
людей спешить подучит
и будет биться о дома
и корчиться в падучей,
пушистым снегом очертя
неправильности линий,
в трамваях и очередях
пропахнет нафталином,
развеет желтизну старья
и, радуясь удаче,
начнет по зябким пустырям
по-галочки судачить.

Городской романс

Челоаек просится
а человека,
угрожает броситься
с моста в реку...

Только он не бросится
с моста в реку:
ложь
по миру
носится —
стронций века!

* * *

О роскошь квартир венерологов,
о роскошь квартир окулистов,
о белые двери на роликах,
о шепот бесед закулисных,

о треснувший кафель у выхода,
о жажде спасительной пищи,
о силе последнего выдоха,
о буйство цветоа на кладбище!

Песенка из ковбойского фильма

Если б в мире не было причин
для создания всяческих личин.
В этом мире может быть собой
только бык, идущий на убой.

Если б в мире не было причин
для создания ложных величин.
В этом мире только аетчина
постоянная величина.

* * *

Ты хочешь счастья быстрого?
Ты в этом мире ничего не выстроил,
не вынес
и не выстрогал.
Ты даже, может быть, кому-то в спину выстрелил?

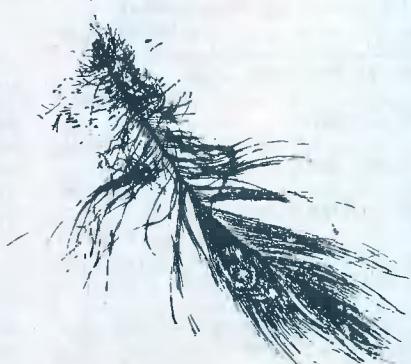
Врешь!
Не стрелял!
Толкали!
Выстоял!

* * *

Мужество?
Откуда его черпать?
Сделай шаг —
и сразу упадешь...
Я стою
под сводом
собственного черепа.
на фундаменте
своих
подошв.

* * *

Музé Павловой
Пора кончать печалиться и охать,
с тобой нам нередельваться поздно,
пора понять, что каждая эпоха
печатает стихи тенденциозно.



БИБЛИЯ И ЖУКОВСКИЙ

Беседа четвертая*

Если бы младенец мужского пола, рожденный 29 января 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии, получил фамилию и отчество своего кровного отца, русская литература знала бы Василия Афанасьевича Бунина, который почти на 90 лет старше другого знаменитого Бунина — Ивана Алексеевича. Но мальчик родился не от законной жены помещика Бунина — от молодой турчанки Сальхи. Шестнадцатилетнюю вдову — ее муж был убит под Бендерами — привез в барский дом из похода против турок крепостной Буниных... Зоркий современник нашел, что полуосточное происхождение Жуковского сказывалось во всем его облике... У нас теперь появились блестители чистоты крови. Не знаю, право, каким клиническим анализом можно ее удостоверить. Новые ортодоксы забывают, что, как назло, у многих выдающихся русских поэтов кровь смешанная.

Пожалуй, нет другого крупного русского поэта, расхожее мнение о котором было бы так предвзято, упрощено, несправедливо занижено, как о Василии Андреевиче. Отлилась некая восковая фигура: округлый, апоплексического сложения, с женственными чертами лица. Под стать форме и содержимое: мягкость, доходящая до расплывчатости, примиренчество, покорность судьбе.

Но послушаем самого поэта:

С светлой главой, на тяжких свинцовых ногах
между нами
Ходят судьбы! Человек, прямо и смело иди!
Если, ее повстречав, не потушишь очей
и спокойным
Оком ей взглянешь в лицо —
сам просветлеешь лицом;
Если ж, испуганный ею, пред нею падешь ты —
наступит
Тяжкой ногой на тебя, будешь затонтан
в грязи!

Известные нам события жизни поэта, как в прокрустово ложе, укладываются в судьбу со «светлой главой» и «тяжкими свинцовыми ногами».

Из Благородного пансиона при Московском университете, куда мальчика помещает всегда благоволившая ему вдова



Бунина, будущий поэт выходит с несколькими опубликованными стихами, друзьями-приятелями на всю жизнь да книгой Руссо в руках. Какая удача, что в раннем младенчестве его усыновил отцовский приживал дворянин Жуковский! У него не будет тех испытаний, какие подстерегали (много позже, конечно) незаконнорожденного Фета-Шеншина. Его ждут испытания иные...

Удача улыбается молодому Жуковскому. В лучшем столичном журнале «Вестник Европы» печатается его вольный перевод «Сельского кладбища» англичанина Грея, и стихи имеют успех. Уже в этом истинном дебюте (первые публикации не в счет!) угадывается чепокство Жуковского силам, которые мешают человеку стать самим собой. Вместе с Томасом Греем он размышляет на сельском кладбище о несбытиях судьбах тех, кто, подобно всем нам, был вызван из ничтожества. Но зачем, для какой цели, раз они почли вечным сном раньше, чем угадали свое назначение, чем совершили что-то значительное? И это — в век расцвета интеллекта:

Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,
Угрюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.
...Отечество хранить державною рукою,
Сражаться с бурей бед, фортуну презирать,
Дары обилья на смертных лить рекою,
В слезах признательных дела свои читать —
Того им не дал рок...

«Да тут изложена прямо-таки царская программа! — удивленно пожмем мы плечами. — В стихах же, судя по всему, речь идет об обыкновенных смертных». Да, поэты как бы шлют человеку костюм на вырост, или, другими словами, предполагают Божий замысел о человеке, что всегда краше, чем осуществление. Это относится не только к греевским усопшим — это относится и к нам, живым...

Глубоко заблуждаются те, кто думает, что вера нивелирует человеческую личность. Личность — это осуществленная во всей полноте душа. А душа для Жуковского — ключевое понятие мироздания. «Мир существует только для души человеческой,— писал он.— Бог и душа — вот два существа; все прочее — печатное объявление, приkleенное на минуту».

Но фраза эта — гость из будущего... Итак, поэт входит

* Начало в № 1—3.

в известность. Его любят, им гордится, даже восхищается многочисленная бунинская родня, в основном женского пола. И вдруг удар. Оттуда, откуда меньше всего его ждешь. Единокровная, но не единогубная сестра Екатерина Афанасьевна, по мужу Протасова, бесповоротно отказывает Василю Андреевичу, когда он просит руки ее дочери, горячо любимой Машеньки. Почему? — Родственный брак. Церковь запрещает. — Но ведь по документам он им не родня. Он не Бунин — Жуковский. — Нет и нет... Машу не позволяет видеть, говорить с ней, посыпать ей стихи.

Наполеон наступал на Россию. Отвергнутый жених уехал, записался в московское ополчение. Не созданный для воинской службы, нес ее тяготы наравне со всеми. Участвовал в Бородинском сражении, в резерве. Зато поэма «Певец во стане русских воинов» вывела его в авангард.

О братья, взоры к небесам!

Там жизни сей изграда!
Оттолъ Отец иезримый нам
Гласит: мажайтесь, чада!
...Сыи брани мигом ишу в прах
С могучих плеч свергает
И, бодр, на молнийных крылах
В мир лучший улетает...

Как ни относись к тому, что в энергетических стихах утверждает автор, нельзя не признать: в его призывах куда больше убедительности, красоты и человечности, чем, скажем, в популярной песне времен Великой Отечественной войны:

А коль придется в землю лечь, Так это ж только раз!

Часто спрашивают, почему христиане так уверены в бессмертии душ и настолько самоуверенны, что рисуют формы этого бессмертия? Ведь сам Христос, говоря о жизни вечной, хранит целомудренное молчание о том, что же это такое.

Тайну бессмертия (в христианском понимании) приоткрывает апостол Павел, который, в свою очередь, цитирует ветхозаветных пророков:

«...не все мы умрем, но все изменимся Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся; Ибо тленному сему надлежит облачиться в нетление, и смертному сему — облачиться в бессмертие [...] тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою». «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?»* [...] Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом (I Кор, 15, 51–55, 58).

Поэт потому и поэт, что все сущее называет своими, поэтическими именами, на свой страх и риск переводит с Небесного языка на земной. Будем благодарны ему за искреннюю интерпретацию и не станем уличать его в некоторых несовпадениях с великим подлинником!

Закончу повесть о любовной пытке поэта. Это ему принадлежат слова, давно утратившие авторство: «Я знал в любви одну лишь муку». Какую усталость и грешное для христианина уныние передает четырежды повторенный звук ю-у-у! Но стихи так хороши, так естественно и горько слово цепляется за слово, что молодой Пушкин с восторгом переписал их себе и мы — не Пушкины — тоже откуда-то их знаем.

Василий Жуковский и Маша Протасова никогда не будут вместе. Родная Маша сестра, Саша, адресат баллады «Светлана», неудачно выйдет замуж, вместе с мужем, матерью и сестрой переедет в Дерпт (нынешний Тарту), где их не раз и не два навестит неизлечимо влюбленный Жуковский. С его согласия, данного через силу, Маша выйдет замуж за положительного немца-профессора и скоро умрет родами. Саша намучается с мужем-истериком и тоже умрет молодая, от чахотки...

Они были ему не только племянницами. Четыре года он назывался их домашним учителем. Себя не жалел, переливая в их умные головки впитанное всем его существом блестящее знание истории, философии, изящной словесности, теологии. Он заразил их своим интересом к чужеземным языкам. Учил

их добру, учил быть счастливыми. И не его вина, что жизнь разметала их мечты, что многие чудесные намерения свершились так и не стали. А может быть, его?

Обеим сестрам Жуковский поставит одинаковые памятники. Маше — в Дерпите, Саше — в Ливорно, где она безуспешно лечилась. Под чугунным крестом с распятием будут выбиты на бронзе слова из Евангелия от Матфея: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (11, 28). И другие, из четвертого Евангелия: «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога и в Меня веруйте...» (Ин, 14, 1).

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для ивс животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарию: были.

В своем «Дневнике» поэт даст комментарий к этим широко известным стихам: «*Нет и были*, какая разница! В первом — потеря, в последнем — воспоминание. *Нет* — значит исчезли; *были* — значит оставили след свой. Прекрасная жизнь тех, которых мы лишились, освещает для нас и землю и жизнь нашу!»

...70 ступенек вели в кабинет Жуковского в Зимнем дворце. Тяжеловато и для более молодых ног и сердца... Когда в 1826 году царь Николай I предложил поэту заниматься с восемилетним наследником, он не тотчас принял это предложение. Но, монархист по убеждениям, Василий Андреевич считал, что сможет подготовить для России истинно христианского государя. Его увлекала мысль о ваянии царской души. Как сам поднимается по этим 70 ступеням, будет день за днем, год за годом поднимать духовно все выше своего подопечного.

Совершеннолетний воспитанник не оправдал многих его надежд. С царской семьей, от которой получил немало «оплеух» (слово Жуковского), он расстался только что без явного конфликта. Но христианский свой долг выполнил. Когда будущий Александр II входил в возмужалость, организовал его путешествие по России с гастролями в города, где жили декабристы. И летом 1837 года написал царю прямым текстом: «...даруйте всепрощение несчастным...» Амнистии не последовало, но послабление вышло. Царь откликнулся не столько на просьбу учителя, сколько на подсказанное им письмо своего сына. Минуту, когда поэт узнал об этом, он назвал одной из лучших в жизни... Не забудем и о том, что именно Александр II отменил крепостное право.

В Германии, где поэта ждали поздний брак — несчастливый, ибо молоденькая жена вскоре заболела депрессивным психозом, — и позднее отцовство — радостное, так как дочь и сын родились здоровыми, — Жуковский работает над переводом Гомеровской «Одиссеи», над поэмой «Агасвер»... Не ищите имя Агасвера, или Агасфера, что для нас привычнее, в Библии — его там нет. Сюжет об Агасвере, Вечном Жиде, вошел в литературный и художественный обиход гораздо позднее, в 13 веке. По новейшим апокрифам, тот, кто отказал в помощи Спасителю, когда он следовал на Голгофу, получил в наказание... да вечного бытия.

Страдания Агасвера, который устал жить, но не может умереть, тоже до ужаса внятны поэту:

...мения моя могила
Не удержала; я из-под обломков,
Мения погребших, вышел сиова жив
И певредим...

Привычнее читать, что могила не удержала Христа. Его воскресение — победа жизни над смертью, Бога над сатаной — есть величайшая надежда, поданная Новым Заветом человечеству... Бессмертие Агасвера, человека падшего, дурная бесконечность его пребывания на земле, оказывается, худшая кара, какая только может быть уготована смертному!

Поэт умер на чужбине, до самого конца порываясь душой на Родину. Россия посвящена одна из последних его записей в «Дневнике» от 15 июня 1846 года: «Разговор, приводящий в трепет, о состоянии бедной России. И помочи никакой. Одна верная, небесная. Но, может быть, нам за наше всеобщее развращение посыпается наказание. Нет другой подпоры, как в слове: да будет Твоя воля».

«Твоя», разумеется, с прописной буквы.

* Осия. 13,14.

от «А» до «Я»

(Записки русского каббалиста)



...Разговорчик в астрологической фирме:

— Что рисуешь?
— Да так. Схему построения мироздания...

Дорогие мои астрологини-экстрасенсорки-ведьмочки!

Середина июля девяносто третьего. За окном дождит, гремит и пыхает. Сегодня у нас нет посетителей. Кофеек. Беседа.

— Этую карту рисовали уже в поздние времена, с древнееврейской буквы «алеф». В финикийском варианте «алеф» и писали наподобие буквы «А». В первой карте Таро это — Маг, стоящий за столиком со своими принадлежностями. Собственно, «А» есть изображение этого Мага...

Таро — загадочная книга древности. Она состоит из 78 рисунков-карт. Замыкавшаяся из Египта, книга Таро в виде игры была занесена в Европу цыганами, а где-то в XIV веке появилась при дворе французского короля. Общеизвестны 56 карт, поделенных на четыре масти:

пики, трефы, бубны и черви. Или, как они имеловались раньше: мечи, посохи, монеты и чаши. Именно 56, а не 52, как теперь, — был не один валет, а два: рыцарь и паж. Король именовался Фараоном, Дама — Сивиллой. Четыре масти — четыре человеческих страсти, они же четыре стороны света, четыре евангелиста, четыре священных существа: человек, лев, орел и телец, слитые воедино в изображении оккультной Сфинкс*.

Все карты Таро называются Арканами (от латинского «арканум» — «тайна»). Общеизвестны обычные, Младшие Арканы. Но существуют еще и известные более магам и прорицателям Старшие.

Их 22. Именно они есть сердцевина, философская сущность системы Таро. Это аллегорические изображения, каждое из которых несет в себе глубокую тайну рождения. Подлинный смысл ри-

* Сфинкс — существо с женским лицом и по сути — женщина.

сунков, как утверждали оккультисты, раскрывается лишь подлинно Посвященным в некоем «экстатическом вдохновении». Что проверить трудновато.

Опериуя системой Таро как ключом, философы-каббалисты открывали для себя тайный порядок мироздания... (Или — мирознания?) Церковь не жаловала подобных исследователей. Джордано Бруно был одним из них...

Таро присущ идеальный порядок организации. С его внутренним строением впрямую соотносится одна из задач каббалистики: воспринимать рассудком проявления Бога во Вселенной. Каждый из Старших Арканов имеет в системе свое четко определенное место, порядковый номер (который закрепляется как нумерологический индекс), традиционное название, обычное и таинственное значение. А главное, пожалуй, то, что рисунки эти изображают различные существа и предметы в особых, раз и навсегда зафиксированных положениях. Если художник проявляет вольность и отступает от традиции — он не сделает по-настоящему годных к использованию карт. Впрочем, карточной колоды, полностью безусловленной с точки зрения символики, практически не существует. Маги, использующие Таро в своих целях, иногда поступают так: пишут на пустых картах только порядковые номера Старших Арканов, а сами рисунки представляют по памяти — в том идеальном виде, как они должны быть...

Второй по счету идет в Старших Арканах «Папесса» или «Жрица». Это восседающая на троне женщина со свитком папируса в руках. Вторая по счету буква русского алфавита — «Б», это изображение Жрицы в профиль. Следом за «Б» идет «В», третий по счету Аркан «Императрица» — также восседающая на троне женщина, но в руках у нее уже щит и жезл... Теперь четвертая буква — «Г», а четвертый Аркан «Император» — это мужчина, который стоит, протянув вперед руку с жезлом...

22 Старшим Арканам по Каббале соответствуют 22 же буквы иврита. Вообще 22 — число высшей мудрости. Но еще великий оккультист Элифас Леви сомневался в безусловной правильности этого соответствия (совпадение идет, собственно, лишь в числе, да и то невзирая на множество диакритических значков, которыми богат иврит).

С другими мировыми системами письма сравнение идет еще туже. Мне пришлось исследовать азбуки многих стран мира, познакомиться с начертанием знаков в европейских и арабских письменностях, с восточными иероглифами, знаками девангари и брахми, грузинским и армянским письмом, со скандинавскими рунами и славянскими чертогрезами... И это — чтобы доказать себе самому: имено русский алфавит есть ключ к древнейшей оккультной философской системе — картам Таро.

Одни из самых совершенных письменных систем: современные русские буквы и церковнославянская вязь. И еще таинственная, неразгаданная глаголица...

Две странные буквы: «В» и «Д».

«В» — «Императрица».

— «Д» — трон, с которого Великий Иерофант (или Папа, или Первосвященник, или Жрец) 5-го Аркана благословляет двоих прихожан, склонившихся в поклоне у подножия. Один из них — белый, другой — черный. В рисунке буквы — это ножки прямоугольного трона. Это Аркан религии и магии, которые неразрывно связаны с нею. Это астрологически добрый и милосердный Нептун.

Императрица же — это живой и предприимчивый Меркурий, сама Инициатива, Дело, Действие; Семья.

Так вот, в глаголице буква «В» — иначе «Веди» — писалась в точности так, как ныне в астрологии обозначается нисходящий лунный узел — чаша, принимающая с неба льющийся нектар. В виде такой же, но перевернутой чаши — в виде восходящего лунного узла — писалась глаголическая «Д» — «Добро».

«Добро веди»...

В санскрите «Дэва» означает «Божество», «Вэда» — «знание». «Джав» — «гореть», «Вадж» — «говорить».

Слово «добро» имеет нумерологический индекс по Таро, равный такому же в слове «воздух», слово «веди» — равный такому же в слове «вода» — это та же пустая и наполненная чаша. Индекс слова «Меркурий» — 98, слова «Нептун» — 86 — опять два перевертыши.

Есть и еще соответствия, и все, разумеется, господа, абсолютно случайно, как случаен весь наш мир...

В создающейся системе русской каббалистики рядом с «Д» — астрологический знак Девы. В глаголице была когда-то буковка «Дерь» — совпадения в звуках, но, между прочим, и писалась она — совершенно случайно, разумеется, — схоже с астрологическим символом знака Девы.

Знак Девы — это Аркан 17, которому в современном русском алфавите соответствуют целых три буквы: «РСТ». Аркан 17 называется «Звезда». Этому слову соответствуют в разных языках: «стар», «астр», «эстер»... Это имена: «Зороастр», «Асторет», «Истар»... Это слова: «старина», «история», «восторг», «страдание», « страсть», «страх», «стремление», «страна», «крест» и «Христос»... Это «истина», «становление», «свет» и «святость», лишенные страшной буквы «Р»*.

Нумерологический индекс по Таро сочетания «РСТ» равен 8. Нумер сочетания «ВД» также равен 8.

Статика и движение. «РСТ» и «ВД».

Владимир Хлебников. Явно не мой поэт.

Немой поэт...

Страницы «Творений». Скажу честно, открыл совершенно нечаянно.

1. «В» на всех языках значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу, или по части его, дуге, вверх и назад...

...7. «Ч» означает пустоту одного тела, заполненную объемом другого тела, так что отрицательный объем первого тела точно равен положительному объему второго...

...8. «Л» значит распространение наиболее низких волн на наиболее широкую поверхность, поперечную движущейся точке...

...19. «Ж» значит движение из замкнутого объема, отделение свободных миров».

Привет вам, братья-будетляне!

На спиритическом сеансе вызывали дух Ломоносова. Волнист вопрос о предсказанном фанатиками «конце света».

— Михаил Васильевич, что ожидается такого-то числа?

— Ну, у Макара-скотника корова отелится... — дает ответ блюдце.

— А что еще будет?

— А боле ничего не будет.

Информация идет непрерывно, порой изнуряюще. Всякий контакт с астральным миром — потрясающая энергопотеря, я узнал об этом, будучи медиумом. Ночные открытия над алфавитным кругом. Беседы с духами и людьми, знающими и считающими себя незнающими. Часто люди не осознают ценности того, что имеют информацию. Как в принципе и мы все долго не осознавали и продолжаем не осознавать ценности нашего родного алфавита.

Постоянно идут книги. Знаю: стоит застопориться на каком-то моменте — открывай любую книгу и прочти несколько строк. В них ищи ответ.

Истинная каббалистика не может признать разделение на языки. Вернее, для нее существуют лишь один язык и одно

* О словах с этим древнейшим корнем — см. исследование в книге О. Сулейманова «Аз и Я».

слово — Божественный Логос, который существовал до Вавилонской башни и который рассеян по миру ныне.

Есть один великий язык — язык символов. Ни один из значков, гербов или панкейксов человек не может придумать просто так. Просто так не рождается ни одна буква или цифра.

— Буквы «Е» и «Ё» — это Старший Аркан № 6 — «Выбор». На рисунке — две женщины: безыскусная праведница и порочная красотка. Между ними — юноша, скрестив руки восьмеркой, в мучительном раздумье, кого выбрать: ЕЕ или ЕЁ?

Буква «И» между «Е» и «Ё» — «идти», «искать». «И» — буква-близнец латинского «Н»...

Моя добрая знакомая Н. Г. интересуется: все мои рассуждения есть чистая холастика или они имеют конкретный выход на практику?

Но, может быть, даже просто приобщаясь к этим тайнам, мы уже создаем этот столь долгожданный выход?

Я, подобно герою Ричарда Баха, привык повторять: ничего случайное так просто не случается. И когда человеку кажется, что он беседует сам с собой, он никогда сам с собой не беседует. А мир вокруг заполнен духами, знаками и течениями, которым несть числа. И Всё вокруг и вне круга, в конце концов и бесконечно — есть Бог, и ничто не творится вне Воли Его.

Наверное, нет никаких особо Посвященных. Все мы избраны Им. Только не все хотят понять это.

С иконами говорю так: глаза — руки — глаза — руки... Смотрю в глаза — передаю молитву свою; на руки — чувствую ответ, благословение.

Глаза Спасителя. «В большом знании много печали и преумножающий познанье преумножает скорбь».

Это обо мне.

— Буква «Ж» — это Аркан 7-й «Колесница». Крест посередине — это человек, а два полукруглых значка (две буквы «С») — две Сфинксы, белая и черная с рисунком карты. Они соответствуют астрологически Белой и Черной Луне.

«З» — две чаши весов с рисунком 8-го Аркана «Правосудие». Другое название этой карты — «Карма», «Воздаяние».

Арканы 9 и 13 сопредельны между собой в раскладе по бесконечной ленте Мебиуса. Буквы «И» и «Й» — это Отшельник из Аркана 9. Три степени Посвящения: посох, плащ и фонарь. Отшельник полой плаща то прикроет, то вновь откроет свет фонаря. Отсюда «птичка» над буквой — то появится, то исчезнет. Между прочим, интересно происхождение «птички»: кто она? Была некогда такая буквица «От» (она и посейчас сохранилась в церковнославянском наборе и видна на иконах в nimbs Христа). «От» писалась похожей на букву «О» с небольшой буквой «т» наверху. Так или иначе, но сделалась она знаком тайным, символом особого Посвящения. И чтобы не забыть, поместили ее, уменьшив, над буквой «И», дескать, это будет теперь не просто «И», а «И-От», то есть «Йот»...

«Отшельник» — тот, кто отошел от общего течения, пошел поперец общему курсу: течения ли, увлечения ли, времени ли... Значение этого Аркана — Осторожность, Благородство — очевидно, осторожность соотносить понятия и держаться поодаль общего направления. Хорошо ли это? Отчасти — да, отдалившись от сущности этого мира. А отчасти — учи, что при этом для всего остального мира ты уже не существуешь. Ты остался где-то в прошлом, ты просто умер для всех, как и все умерли для тебя... Впрочем, так всегда: все, кого мы видим только раз (встречая друг друга на улице или на эскалаторе в метро; или кого вообще никогда не встречаем), для нас ныне умерли, как и мы для них. Пускай — все мы в какой-то мере Отшельники.

Ранее в изображении этой карты вместо старика Отшельника возвышалась Смерть с песочными часами в костяшках. Слово «смерть» по нумерологии Таро имеет индекс 77. Если

одну из семерок перевернуть, отразить зеркально и приставить к другой, получается рисунок песочных часов. То, что мы имеем обычай перечеркивать знак семерки, — это намек на то, что существует семерка вторая, перекрестная с первой.

Сопредельный с 9-м Аркан и есть 13-й Аркан «Смерть». Ему соответствует русская или латинская буква «Н». (Латинская «Н» — близнец буквы «И», а всему 13-му Аркану соответствует знак Близнецы.) Рисунок изображает скелет, шагающий с косой по лугу и срубающий растущие там головы и руки. Однако следом за ним они вновь отрастают. Значение карты: «Вечное Перевоплощение», «Вечное Обновление»... Или — «Рождение», тоже — 77...

Слово «коса» имеет индекс, равный 7. Семерка и есть коса.

Но такой же индекс и у слова «жизнь».

Поспешим немного и взглянем на Верховный 22-й Аркан: на нем сама Жизнь танцует, разводя руками два жезла, две вертикальные палочки буквы «Н». Две вертикальные палочки — два воплощения — от одного к другому. Это великий и грозный Шива, пляшущий на черепе поверженного врага...

Никто специально наш алфавит под Таро не подгонял. И все-таки именно он, многократно реформированный и при Петре, и позднее, и при Советах, как бы «сам собой», как бы «совершенно случайно» стал тождественным по алгоритму и рисунку древнейшей философской системе. Более того, вбрав в себя ее, вместе с нумерами и каббалистическими сефирями, с приставшими по дороге латинским, греческими и прочими знаками, спаял воедино некий огромный конгломерат, образующий вещь в себе. Последняя реформа была в 1956-м, когда реабилитировали крамольную букву «Ё», то есть совсем недавно.

История русского алфавита — вещь очень неясная даже для специалистов. И чем глубже в историю, тем туманней.

Неясно, например, что же изобрели Кирилл с Мефодием — кириллицу или глаголицу. Неясно, откуда были взяты дополнительные к греческим начертаниям букв, отражающие звуковой строй славянской речи: «Б», «Г», «Ч», «Ж», «З», «Ш» и «Щ»... Кстати, буквы «Ш» и «Щ» возникли еще на заре христианства в алфавите потомков древних египтян — коптов, а несколько иная в написании буква «Б» (похожая на перевернутое «Я») имелась в готском алфавите, составленном по сходному с русским принципу задолго до Кирилла и Мефодия.

Неясно, составил ли Кирилл вообще какую-нибудь азбуку или взял чью-то, уже готовую. Неясно в конце концов, какую лепту в возникновение нашей письменности внесли другие монахи-миссионеры, такие, как Иероним, также принесший некую таинственную азбуку, или Климент, ученик Кирилла...

По некоторым свидетельствам, русский алфавит был отдан в руки Кирилла самим Богом...

— «К» — это Сфинкс с рисунком 10-го Аркана. Взглядите: ранее буква «Ж» изображала собой двух Сфинксов, соединенных спинами, — это также две зеркально отраженные буквы «К».

— Но в рисунке 10-го Аркана Сфинкс сидит на Колесе Фортуны! Где же находится все это Колесо?

— Вот! — Я обвожу пальцем алфавитный круг. — 33 буквы современного русского алфавита. Это и есть К-олесо Счастья, К-олесо Фортуны, Колесо Судьбы. Оно же — и свернувшаяся и готовая развернуться упругой спиралью змея Кундалини. Видимое с ребра, оно превращается в жезл или цифру 1. Видимое с плоскости, образует круг или О. Наконец, оно способно изгибаться в виде восьмерки, 8, формируя собой каббалистическое Древо Жизни или великую систему Сефирот. Вместе эти три цифры дают знак числа 108 — священного числа древних египтян...

— Ой, у меня, кажется, сейчас крыша поедет... Ведь всего этого не может быть! Не может быть!..

Н. Г. утверждает: всю информацию дают Учителя. Помоему, Учителя дают возможность увидеть. А захочешь ли ты увидеть сам — твое дело.

По Кастанеде: над миром завис некий устрашающий Орел. Он регулярно колотит своим клювом непослушных магов, которые суются, куда не просят. Имеется в виду — в неведомые миры, в т.н. «нагуль».

Я знаю — символ этого Орла буква «Ж». Его клюв — буква «Р» — ужасный 16-й Аркан «Башня, пораженная громом». Этот же знак — хвост Скорпиона, чей знак соответствует 16-му Аркану. «Р» имеет форму топора и символизирует крах, разрушение, катастрофу и т.д. Но она же — и росток, корешок которого внедрится в глубь земли из семени...

— Буква «Л». Это Аркан Магии 11-й. Его рисунок — Дева, которая держит за челюсти Льва (астрологический знак Льва и рисуется наподобие буквы «Л»). Лев не в силах сам ни открыть, ни закрыть пасть...

Говорят, один специалист по Таро, выступая по телевидению, обмолвился: сия Дева должна будто бы, аки Самсон, разорвать рот бедному Леву.

Неужели не ясно: Лев и Дева — одно целое. Это человек, который внутренне то сдерживает себя в напряжении, то дает себе свободу. И умение соизмерить эти два подхода к жизни и есть Сила — значение Аркана.

Пасть Льва — это буква «М», внутри которой можно заметить уголок — букву «Л», как две руки, сдерживающие тиски сжимающей их материи. Это Аркан 12-й, «Повешенный», на картинке которого — человек, висящий беспомощно между двух столбов, — символ жертвенности и необходимости быть поглощенным физическим миром для того, чтобы или опуститься еще глубже, или — выполняя свою вселенную задачу — воскреснуть вновь, одухотворив косную материю.

Змей, соблазнивший Еву, звался по первоисточнику «Нааш». Буква «Н» в кириллице зовется «Наш». Эти три буквы: «Н», «А» и «Ш» — в моей схеме стоят рядышком. В этом месте возникает знак турбулентного движения — свастика, это перекрещенные две русские «И» или латинские «N». Это движение заимствовано от более деятельного, называемого в оккультизме «Наар». Оно в виде прямого меча также видно на схеме.

Неужели никто раньше не замечал, что тот же церковно-славянский шрифт — это изображение различных проекций с деталями какого-то сверхсложного механизма? И что случится, если собрать этот механизм?

В первом случае у меня нежданно-негаданно, само собой, возникло изображение... человеческого лица. Это рисунок головы в остроконечном шлеме, из уст которой идут две расходящиеся линии — как будто голова «дует». (Кстати, есть сведения, что Пушкин взял образ дующей головы в «Руслане и Людмиле» из какого-то оккультного альбома.)

Во второй раз получается более сложный, развернутый рисунок... цветка. Не тот ли это «лотос», из которого рождается Солнце», как называлась книжка про Древний Египет, которой мне пришло записываться в детстве?

Как нас выбирают Они — те, кто дает информацию? Ведь необходимо было не такое простое сочетание знаний и черт характера, чтобы наткнуться на такую находку? А может, их специально формировали в течение жизни?

— «Т» — это «стаuros», солнечный крест, Аркан 19-й — «Солнце». А за ним — Аркан 20-й, «Страшный суд», буква «У» — коленопреклоненный человек, встающий из могилы. Это вечное Возобновление жизни на всех новых витках спирали...

Потому глупо назначать на определенное число конец света. Он уже идет. И порой весьма круто.

— ...Ну а как ты распределишь «Ф», «Х», «Ц», «Ч» и так далее? Ведь карт почти не осталось?

Милые мои астрологини, я вижу ваше нетерпение, и пусть у вас не течет и не едет крыша. Сии сведения о тайнах знаков рождаются вот-вот, сейчас, сегодня, только что, на ходу, о них еще не прочитаны массовые лекции...

О четырех друзьях-шипящих мне поведал, скажившись, добрый дух на спиритическом сеансе. Да-да, пользуясь вот этим самым алфавитным кругом, моим, кстати, рабочим инструментом, по своей методике, которую наши (нааши?) тоже не регистрируют. Ну ладно о своих болячках, главное в другом.

— Буква «Ф» — это огненный меч, «фламен» (знаете, длинный такой и извилистый) в руке Херувима — буквы «Х». А еще это, гляньте-ка, пиковый туз на ножке. Масть пиков раньше так и называлась — мечи (или пламена) и означала борьбу. Это: ф-ейрверк, ф-онарь, ф-акел.

«Х» — это два скрещенных посоха, или кресть, или трен-фы. Х-лопоты.

«Ц» — цехины, монеты, бубны. Богатство, ц-енности.

«Ч» — чаши, кубки, черви. Буква «Ч» в кириллице так и звалась: «Черви». Ч-увства.

Все вместе — это четыре туза Младших Арканов. Тех самых, что известны всем и каждому. Это четыре страсти мира Майи — нашего, видимого мира...

«Ш» и «Щ» — это знак 21-го Аркана «Шут», он же «Сумасшедший» а по отношению к Младшим Арканам — джокер. На картинке это непредсказуемый, оборванный, безрассудный человек, следящий по самому краю пропасти, в которой его подстерегает... крокодил. Если человек подходит слишком опасно, крокодил разевает пасть. Если вовремя отшатывается, крокодил исчезает. Горизонтальная черта в этих буквах — символ пассивности души, три вертикальных столба — активное воздействие трех миров: материального, астрального, духовного... Сравните с буквами «Е» и «Ё».

— И последний, 22-й Аркан. На него уходит 6 оставшихся букв, от «Ъ» до «Я». Три первых из них, «Ъ», «Ы», «Ь», обратите внимание, содержат в себе один и тот же значок «Ь», который в каббалистике равнозначен значку числа «6»; то есть вихрю, закрученному вниз. В языке эти буквы — безгласные т е н и других букв. В кириллице они называются «эр», «еры» и «ерь», что созвучно слову «ересь». Ну-ка, что получится, если поставить друг за другом три шестерки?

— 6 6 6... — зачарованным эхом отзываются мои собеседницы.

Телефонный звонок! Впервые за все это время!

Сейчас противный насморочный голос прогундосит в трубку: «Ребята, а ну, бросьте-ка всем этим заниматься. Худо будет...»

Администратор фирмы, по обязанности дежурной, робко тянет руку к аппарату... И с ее облегченной улыбкой в кабинете светлеет:

— Господи! Сегодня же день рождения Павла Павловича Глобы!

...Три последние буквы, венец — «Э», «Ю» и «Я». Это три светильные, солнечные буквы, три девяшки, святая Троица. Буква «Я» — вероятно, знак Бога-Отца. Похоже на изображение головы, язык которой находится в вибрации:

— Люди! Думайте, что говорите. Думайте, что пишете. Думайте, что думаете. Каждое созданное вами слово — это карточный расклад, который навечно запечатлевается в великой Книге Жизни и Смерти.

Читатель! В следующем номере журнала — рассказ современного классика итальянской литературы Итало Кальвино «Замок скрещившихся судеб». В качестве повествовательного механизма автор использует карты Таро.

РАДИ ИМПЕРСКИХ АМБИЦИЙ
ПРЕДКОВ.

МЫ ПАЦИФИСТЫ!
КАЖДОЕ ОПОЗДАНИЕ
НА УРОК И ДОМОЙ –
ПРОТЕСТ.

ЭТО УЖЕ НАЧАЛОСЬ!
ЖДИТЕ!

Вздрогнув, как от укола останкинской иглой, и проверив, на пояс ли ремень, мы приготовились ждать, переходя к следующему письму:

«Добрый день, редакция журнала «Юность»!

Краем уха слышала о Вашем существовании, но, к своему стыду, адрес Ваш найти не смогла. Сейчас, оказалось, легче найти адрес суперсекс-издательства, но Вашего адреса нет ни в одной библиотеке. Тогда я решила прибегнуть к методу Баньки Жукова. А вдруг...

Уж очень мне хочется с Вами познакомиться. На тот случай, если письмо дойдет по назначению, хочу предложить Вам экскурсию, маленькую такую, в общем, экспромт в наш далекий и заснеженный Пыть-Ях. Да-да, именно так. Пыть-Ях – это хантыйское название таежного городка нефтяников, где сейчас воз нерешенных проблем и человеческие судьбы:

Не горюйте, мои земляки,
И не верьте в пророчество Каина.
Нам ли тратиться на пустяки,
Когда держится национальная окраина?

Ничего, что пока не в чести,
Что живем на задворках империи,
Нам бы дух воединю свести,
Русский, дух не живущий
в неверии...

Извините, забыла представиться. Меня зовут Раи Птухина, я учусь в 11-м классе, стихи пишу давно, но печатаюсь только четвертый год... Здесь, на Севере, помимо всякой хворобы, еще какой-то микроб поэтический существует; если им заразишься, то это надолго. Что писать о себе, я не знаю, да и неприлично в общем-то... «След в след. За кем? Еще сама не знаю, Подобно предкам по земле ступаю. Чего ищу, и далека ль дорога Мне предстоит от отчего порога? Шатер небесный стал доступен и изок, Далек ли путь, иль до смешного близок? Но жажду жить, земной ступая твердью, и постигаю свой триумф над смертью. Как в будущее заглянуть бы мне хотелось, Чтоб обрести настойчивость и смелость... Подобно предкам по земле ступаю. След в след. За кем? Еще сама не знаю...»



20-я комната познала межвременное. За это время она пережила ремонт — и пережила его! — обрела компьютер и потеряла всю накопившуюся почту. Когда же последняя наконец нашлась и обитатели комнаты, тая дыхание, услышали ее разбирать, вспомнилось вдруг, как век назад известный журнал «Щетина» своим парадигмой пушкинского «я вам звоню, чего же боле...» отслужил панихиду эпистолярному жанру...

Точно так повторяется, верно, и те, кто, пытая юный, факсом — иль через два клика на клавиатуре: «От нашего компьютера вашему компьютеру» — пересыпает друг другу любовные записки. Электронная, она тоже почта. Пока таковой у нас нет, но в куче писем нашелся конверт с дискетой.

Сопроводительное письмо гласило, что российско-уральская фирма «Soft Stet» в целях апробации и рекламы направляет нам свой программный продукт для обработки писем под названием

НОВЕЙШИЙ ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ

Фраза о том, что программа «показывает язык времени» (да, мы так и поняли, что — «слог»), завораживала. Тут же вставили дискету в компьютер и пропустили через него немалое количество писем. В результате получили:

а) некий трактат о судьбах словесности, политики, общества, но писанный так механически, что суть излагаем своими словами. (По сравнению с иным школаром, иной розовоощекий шестидесятник кажется чистым ребенком, и быть-де шестидесятником в свои полные шестьдесят — это уже полное лингвистическое извращение. А так же наоборот: перестраиваться или внутренне реформироваться в свои неполные двенадцать — шестнадцать — это извращение вдвое.)

б) подборку писем.

Мы заранее извиняемся перед авторами, если в чем-то, на их взгляд, передоверились «Новейшему письмоводителю». Первым тот выбрал подметное письмо — из Москвы, как мы догадались по штемпелю, — написанное от руки крупными печатными буквами в формате верлибра:

**МЫ, ТАЙНОЕ ОБЩЕСТВО
ШКОЛЬНИКОВ «МАРСИАНЕ»,
ОБЪЯВЛЯЕМ КАМПАНИЮ НЕ-
ПОВИНОВЕНИЯ
РОДИТЕЛЯМ И УЧИТЕЛЯМ,
ПРОГОЛОСОВАВШИМ
ЗА КОММУНИСТОВ И ФАШИ-
СТОВ!**

**МЫ НЕ ХОТИМ БЫТЬ
ТАКИМИ ЖЕ ТУПЫМИ,
НЕГРАМОТНЫМИ, ЖАДНЫМИ,
КАК ОНИ.
МЫ НЕ ХОТИМ ПОД РУЖЬЕ**

Вот так. И тоже «предки», и тоже «империя»...

Спасибо.

Следующее письмо «Письмоводитель» тоже, видно, поставил со смыслом. «Разглагольствования Иванушки-дурачка» — так, во всяком случае, подчеркнуто его автором, Александром Соломоничем из Новосибирска:

«...Вот я гляжу на себя да и думано (да-да, думаю!), что годы, прошедшие мною на этой Земле, все-таки пошли мне на пользу. Хотя я, конечно, так ничему и не научился, ничего не выяснил у жизни, но тем легче будет уходить. Я пришел сюда, ничего не имея. А чему я мог научиться? Надеванию масок? Но ведь кто-то должен оставаться самим собой...»

Да, я вечное дитя! Я! Наотрез! Отказываюсь! Взрослыть!

Мое мировоззрение еще не сформировалось, но я уже знаю, что когда оно сформируется, то вы назовете это «полным отсутствием мировоззрения»...

До сих пор юродивые или бродили по свету, позывая колокольчиком, или, наоборот, сидели дома на печи да помалкивали. Но времена меняются. И нравится вам или нет, мы будем и будем нести свою околосцену, состоящую из светоносных небесных посланий, замаскированных, но легко проникающих сквозь толщи интеллектов к вашим сердцам, уставшим ждать света. Это вы сами занавесили их...

Денег нет, говорите? А у меня-то что, есть они, что ли? Но ведь я-то счастлив! Я просто знаю, что когда-нибудь, пусть через целую тысячу лет, стану наконец Добрый Молодцем. Все Иванушки-дурочки рано или поздно становятся Добрими Молодцами, побеждают зло и женятся на Василиях Прекрасных. О них потом сказки рассказывают, а от этих сказок число «дурочек» растет в геометрической прогрессии. А значит, и Добрых Молодцев тоже! Так сами теперь посудите, стану ли я тратить время на деньги, карьеру, имя...

...А на днях я видел снег. Видел, как он медленно опускается с неба и аккуратно укладывается на землю и лежит, переливаясь восхитительными искрами, — на дороге, на ветвях, на плечах у людей. Знаете, чем люди похожи на снежинки? Если смотреть на только что выпавший снег, особенно вечером, при свете фонарей, то окажется, что блестят далеко не все, а только некоторые снежинки! Сделайте еще шаг, и вы удивленно обнаружите, что те снежинки, которые только что блестели, уже не видны, зато начинают блестеть другие. Наблюдая за людьми, вы тоже вдруг увидите, что всякий человек прекрасен и искрино блестит, как снежинка,

нужно найти только правильный угол зрения, чтобы взглянуть на него.

Но! Почему! Вы! Не смотрите!!!

Боитесь, что другие что-то у вас отнимут? Но если хоть один что-то отдаст сам, вместо того чтобы отнимать, то от вас ведь как бы волна пойдет: люди забудут о своем тщеславии и корыстолюбии (пусть недолго, но ведь потом подойдет и новая волна и все повторится снова!), будут хотеть доказать, что они не такие уж и сволочи, что у них доброе сердце и они умеют быть благодарными! Пусть почнало это лишь показное, но ведь лиха беда начало! Мать-Жизнь не раз испытает вашу искренность, нужно очень уметь любить, чтобы стать Ее героями...

А вы строите глазки Дьяволу. Если надеетесь что-то у него заслушить, то это ведь напрасно: природа зла не знает благодарности. Вас будут использовать, пока есть нужда. Не знаю я, что интересного находите вы в колдовстве, в созерцании глупых девок, без одежды прыгающих в телевизоре, словно пластмассовые куклы, — во всей срамоте заморской. Думаете, это и есть удовольствие? Потом придет разочарование, заnim — вина. Вина заставит вас грешить еще больше. Вы знаете это сами, но не желаете видеть правды. Вы найдете немало-немало доводов и аргументов в пользу собственной глупости и жадности, но вы ни-ко-гда не убедите меня, что если так живут все, то это не так уж плохо. Даже если и так, я предпочту остаться хоть одним нормальным среди этого безумия. К счастью, нас довольно много теперь...

Мои друзья — дети, те, кто еще младше меня. И они тоже не понимают ваших игр. Ну не идиоты ли те, кто способен ради карьеры, власти жертвовать благополучием своего народа! Дураку понятно, что тот, кто берется править, должен быть самым честным и самым мудрым. Зачем же вылезаете на трон, вы же не сможете сделать нас счастливыми! Мы все видим. Стыдно, стыдно вам быть такими плохими людьми! Если люди обижаются на вас и захотят жестоко наказать, то даже мы, безобидные юродивые, их не осудим. Они устали. Им хочется на-деж-но-сти. А вы не только ненадежны, вы недобры! Плохо все это...

А те, кто добр, как допускаете вы, чтобы вами понуждало зло? Вы — каждый за себя. Если бы были вместе, никто бы не заставил вас бояться выходить вечером на улицу, никто бы не хватал ваших дочерей. А нужно-то просто быть всем вместе. Вместе, но так, чтобы уважая и любя каждого. И не так «вместе, как в к зарме», когда никто в отдельности не имеет значения, составляя лишь беспликую толпу, нацеленную на укрепление господства своих вождей. Так уже и не вместе получается, ведь во-

жды — это же властолюбивые не-люди, против которых вы были всегда, но по отдельности, и боялись сказать об этом вслух. А если все скажут зло: «Уходи!» — разве оно удержится на глиняных ногах?..

Вы гордо повторяете за каким-то несчастным: «Мысли, значит, существу». А разве мысли вечны? Мозги человеческие вечны? Вы думаете. Думать — это ваша работа. А мы думаем о душе. Мы созданы служить людям, которые созданы прекрасны-ми. А может, мы еще и не созданы. Но мы уже посеяны, наше дело теперь расти, несмотря на жестокие правила игры, на препятствия, на собственную нашу слабость. И мы вырастем. Вот увидите!»

Будем ждать.

И наконец последнее письмо:

«Здравствуйте, 20-я комната!

Мое письмо вы не напечатаете, потому что

Владимир, т. Владимир.

P. S. Это второй вариант письма, первый мне не хватило духу послать. Все слишком серьезнее и больнее, чем вы могли бы подумать. Прости-те, что отнял время на вскрытие конверта».

Письмо Владимира мы публикуем в том виде, в котором получили. Без комментариев.

«Новейший письмоводитель» имел в запасе еще два письма, последовательно: одно — негатив фотопленки, другое вязью разноцветных чернил расписано на рулоне обобе. Ни то ни другое мы, к сожалению, прочитать не смогли. Но все остальные письма читаем, как прежде, читаем исправно. До встречи!





ХРЕСТОМАТИЯ ЮМОРА

Имя Николая Александровича Лейкина (1841—1906) в свое время гремело — он был чрезвычайно плодовитым и популярным писателем. Популярным не из-за количества своих произведений, а их качества. В 1881 году он стал редактором-издателем юмористического журнала «Осколки», в котором сотрудничали многие талантливые авторы, в том числе и Человек без селезенки — А. П. Чехов. В изданной в 1884 году в Санкт-Петербурге книге «Наши знакомые. Фельетонный словарь современников» было написано: «Что у г. Лейкина большой комический талант — в этом все согласны; но строгие критики упрекают его в том, во-первых, что он очень уж незлобиво и беспричинно смеется ради читательской лишь потехи и, во-вторых, что он разменял свой талант на пустяки и мелочь благодаря газетной ремесленной поденщине. Должно, впрочем, сказать, что Н. А., взяв в удел себе смешить и тешить почтеннную публику, никогда не употреблял своего смеха во вред правде, доброму, прогрессу и просвещению, и — это его положительная заслуга».

Вступление и публикация Ю. Ирошникова

Николай ЛЕЙКИН АЙВАЗОВСКИЙ (Сценка)

Черный купец сидел по одну сторону стола около чайного прибора и пощелкивал ципчиками, дробя куски сахара на более мелкие части. Рыжий купец помещался по другую сторону стола и просматривал газету, вздевшую на палку.

— Ну, что Кобургский? — спросил черный купец рыжего.

— Да ничего про него не пишут. Второй день уж не пишут. Надо положать, уж не отменили его? Да и пора. Надосл. Ну что ему мотаться в политическом гарнизоне. Побаловал, да и будет.

— Да нешто это можно, чтобы отменить?

— Отчего же? Бисмарк все может. Погоди, вот конгресс всех нот будет, так и совсем запретят. Из-за чего Бисмарк с Кальюни шушукались-то? Все из-за этого. «Надо, говорят, нам нашего молодца посократить. Достаточно ему мозолить глаза». Довольно. Уж если залез, то сиди и пей себе пиво с букивротами, а действовать не смей. Немец немца всегда послушает.

— Чего ему! Он теперь при генеральском мундире и при шпорах.

— А вот конгресс нот порешит, так и шпоры спилият.

— Уж хоть бы решали скорей. Куда его решат?

— Да куда его решить? Решат, я думаю, в Калугу. Этих всех в Калугу решают. Туда и Шамиль решен был. Батенберга тоже в Калугу везли, да сбежал он с дороги.

Рыжий купец опять углубился в чтение.

— Пей чай-то. Чего тут? Осты-

нет. Вон я кусочков сахара наципал,— сказал черный купец.

— А вот сейчас, только про Айвазовского юбилей прочту. Юбилей устраивают,— отвечал рыжий купец.

— Какой это Айвазовский? Чем он торгует?

— Живописец он, картины водяные пишет.

— О-о! А я думал, наш брат купец.

— Чего ты окаешь-то! Этому стоит юбилей сделать, хоть он и не купец. Главное дело, пятьдесят лет живописного рукомесла день в день выполнил, точка в точку. А это не щутка. Ведь за последнее время у нас все какие юбилеи бывали: семь лет, тринадцать лет, а то так и четыре с половиной. Четырехстоловиной летний юбилей — нешто это можно? А тут пятьдесят лет! Говорят, он за это время одного полотна стравил столько, что щеколдинской фабрике в год не сработалось.

— Водяные картины, ты говоришь, он писал?

— Только водяные. Вода, вода и вода. Вода и небесы — и ничего больше. И ведь в чем штука: только одну синюю краску и покупал. Разве малость белилами разводил.

— Ну, водяные-то картины не мудрость. Вот ежели бы портреты.

— Не мудрость! Нет, ты попробуй-ка пятьдесят лет подряд все одной и той же синей краской. Ведь он ее, может статься, миллион аршин полотна замазал. Да ведь не зря мазал, а надо тоже так, чтобы выходило что-нибудь. А у него было как. Вот поставиши ты его картину к стене, к примеру, а супротив ее утку пустишь, смотришь, утка-то в картину и лезет, на воду, значит, идет. Уток надувал.

— Т-с... Ну, это действительно. А портретов он не писал?

— Ни Боже мой! Только одна вода да небесы. Да он и не умеет портреты... начал, говорят, раз с одного купца писать портрет, глядь, а вместо купца-то не то облизьяна, не то черт, а из пасти фонтал воды льется.

— Скажи на милость!

— Да. Кому уж Бог какое упование дал. Другой вот способен только вывески для мелочных лавочек писать, чтобы фрукта была, хлеб, стеариновые свечи, а воду не может. А этот только воду да небесы. Третий и для мелочной лавочки не напишет вывески, а для табачной в лучшем виде. Дай ты ему турку с трубкой написать либо арапа с цигаркой — напишет, а заставить воду — не может. Ты думаешь, воду-то легко, чтобы по-настоящему выходило?

— Да что говорить!

— А у Айвазовского как угодно. С мальчишком уж руку набил. И ведь что удивительно-то: надо тебе морскую воду — он морскую напишет, надо речную — речная готова. И видишь ты сейчас, что эта речная вода, а эта морская.

— И на вкус? — спросил черный человек.

— Чудак человек! Как же можно на вкус-то?

— А ежели лизнуть по картине? Ведь морская вода соленая.

— Ах, вот это-то! Так. Да кто ж его знает, может статься, в морскую воду он прибавлял соли, только я его картины видеть видел, а лизать не лизал. Да ведь и не допускят до этого на выставке. Ну-ка, коли ежели вся публика начнет лизать картину? Что из этого выйдет? До дыр и пролежашь. А его айвазовские картины дорогие.



— И фонтал может написать?
— И фонтал. Глядишь — ну вот живой, да и только. Такое уж ему от Бога умудрение.

— А болотную воду?

— И болотную воду. Одно только — сельтерской воды он не мог ухититься написать; сколько ни старался — не выходит, да и что ты хочешь!

— Не далось?

— Не может. Пробовал хоть стаканчик — не выходит, да и шабаш. Уж он и так, и эдак — нет. Колодезная, ключевая — всякая выходит, а сельтерскую не может.

— А кипяток?

— Кипяток? Кипяток выходит,

а самовар не выходит. И так он за пятьдесят лет к этой воде пристрастился, что только о воде и думает, только о воде и разговаривает. Жареного даже ничего не ест, а только варево. Каждый день только уха и уха — в том его и пища. От воды, говорит, я себе капиталы нажил, так ничего мне теперича, кроме воды, и не надо.

— Капиталы?

— При больших капиталах состоит. В Крыму, в Феодосии, у него большое поместье и тоже стоит на воде. Спереди море, сбоку река, а сзади фонталы ключевой воды бьют. Нынче он городу Феодосии пятьдесят тысяч ведер воды в день на водопровод подарили. Нате, говорит, пользуйтесь. Гости к нему приедут, а он сейчас водой угощает.

— Ну, это не больно вкусно.

— Так-то оно так, но старишка уважают. Пьют. И ничем ты его не утишишь, как ежели из всех его ка-док по рюмке выпьешь.

— А у него кадки в доме стоят?

— Никакой мебели, а только кадки стоят, крышками прикрытые, и это взаместо стульев и столов. На кадках все сидят, на кадке с водой простую уху хлебают — вот и все

угощение. Потом купаться. Сначала в морской воде все выкупаются, потом в речной и, наконец, в ключевой на загадку. Требует. Коли уж, говорит, в гости пришел, то действуй по-нашему. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

— И как это его умудрило насчет воды?

— Видение было в юности. Напиши ты, говорит, Ноев потоп, чтобы ничего не было видно, а только одна вода и небесы. Написал, и с тех пор вода, вода и вода.

— Водку-то он пьет ли?

— А то как же? Ведь она тоже вода. Ты водку от воды нешто можешь отличить? По виду ни в жизнь. Лизнешь — ну, дело другое. Водку он пьет. Да ты чего к водке-то подговариваешься? Не хочешь ли уж дербалызнути? — спросил рыжий купец.

— Следовало бы за здоровье ста-ричка. Как его?..

— Айвазовский.

— Следовало бы за господина во-дяного живописца Айвазовского.

— Ну, вали!

— Прислуживающий! Насыпь-ка нам пару баночек хрустальной! — крикнул трактирному слуге черный купец.



Какой ни возьми юбилей — в каждом есть что-то как бы ностальгическое. Мол, хорошо было раньше, не то, что в нынешнее время. 39 лет назад, в июне, когда раздался первый пронзительный, но приятный на слух крик новорожденной «Юности», жилось, как говорят старожилы, повеселее. Дескать, и селедочка, и водочка, и колбаска, и сардельки говяжьи, и даже икра красная лососевая и черная паюсная были на каждом углу вполне доступны простому человеку. А уж непростому тем паче. Да вот

и юмор тогда был тоже в другой цене: полно, завались было юмору. И как тут не вспомнить мою славную, добрейшей души тетку мою Галку Галкину, а также ее первого портретиста И. Оффенгендена! А также всех ныне широкознаменных, кто спрятался за ее такой не широкой, изящной спиной: М. Розовского, Гр. Горина, Арк. Арканова, В. Славкина... Прятались они, конечно, из вполне понятного опасения потерять солидность перед отдельными читателями: а вдруг их озорство станет известно широкому кругу, и их перестанут воспринимать всерьез. Интересно, что привычка к маске в дальнейшем всех упомянутых сатириков прямой дорожкой привела в театр. А Розовский, за неимением подходящего театра, сам его смастерил из подручного материала...

Конечно же, и за моей спиной кто-то скрывается и прячется, не буду указывать пальцем. Впрочем, вернемся к сегодняшнему благоухающему дню. Дом поэтов открыл сегодня свои двери и окна для авторов, которые пытаются воспевать и восславлять лиц противоположного пола. Или, как говорят французы, «г'ямур тужур». И у нас на задвор-

ках — соответственно — сегодня тоже день открытых ворот. И наш почтовый мусорный ящик опять разбух от весенних поэм, посланий и венков сонетов. Если бы можно было выделить энергию, питающую эти замечательные произведения, то, думается, ее хватило бы на отопление какого-нибудь микрорайона. Но на улице лето, отопление, а заодно и горячая вода выключены. Поэтому мне не остается ничего другого, как отобрать самые жгучие строки и строфы. Исполненные томления и страсти, восторга и гнева... Словом, всего того, что привносит интимное чувство в жизнь простого современного человека.

Вот, например, какой неожиданный образ для изображения своего неутомимого желания нашел О. К. из Харькова.

Десять дней я терзался от муки,
И, как кошка рожденных котят,
Я искал твои нежные руки —
Те, которые ждут и хотят...

Чего хотят руки возлюбленной, автор не уточняет, но можно догадаться. Чего же сам он желает — сообщается в следующем четверостишии:

Я хотел очутиться в забвеньи
Среди долгих безделей и роз,

**Чтоб причудливо стыть
в изумлены**

И мечтать о пустыне в мороз.

Действительно, причудливая картина: среди роз да в мороз. Что же касается «долгих безделей», то кто ж из нас, переутомленных прекрасной действительностью, не желал бы побездельничать подольше... Тут, как говорится, в десятку!

О любви пишут люди разных литературных пристрастий. Вот, например, А. П. из Мурманска, последователь мрачного романтизма:

Я долго не мирился с миром,
Лелея мрачный свой удел.
Она сказала просто «Ира»,—
А за окном пожар светел.
Я вышел. Хорошела осень
Среди рябиновых ветвей,
Ясиел в глазах ипрозрачный
воздух,

И я уже забыл о ней.
Все было просто и прекрасно.
И вдруг подумал я в скверу:
«Еще б хотя б ва миг ненастъе —
Наверно, сразу я умру!»

Что я вижу замечательного в этих строчках? Прежде всего универсальность: их мог столь же гладко написать безвестный стихотворец и сто лет назад. Но есть одно словечко-ключик, которое сразу же открывает дверь в сегодняшний день. Это — «в скверу». Нет, его мог произнести лишь самый что ни на есть наш современник: в гимназиях так не учили.

Сходное байроническое чувство испытал Д. Ч. из Москвы, о чем и поспешил уведомить:

Возмы в свои теплые нежные
руки
Хладное сердце, хрустальный
сосуд.

**В ием я нокою все мои муки,
Беды и смерти мучительный**

зуд.

Приятный напиток, не правда ли? Любая девушка почтет за честь для себя испить из подобного сосуда... А если в такой коктейль окажется добавленной серная кислота измены, то... То совершенно понятным будет ответ, который прислала Ю. Б. как бы из Воронежа:

Я хочу увидеть тебя в гробу.
Я хочу услышать твою мольбу.
И последний вздох, и последний
крик,
Я хочу увидеть твой бледный
лик...
Я хочу заставить тебя поинять,
Что меня нельзя ни на что
променять!

Вот такие первозданные страсти еще встречаются в городе Воронеже. Но, чтобы не было разочарований, заметим в заключение, надо приобрести житейский опыт. К нему призывает М. М. из Москвы. Он очень правильно и мудро разложил на полочках духовные и литературные ценности:

До чего же мие хочется рейд
Совершить за валютой
в Кувейт...
Будоражит валюты мне кровь.
Но дороже валюты — любовь.
Не могу я оставить подругу
Ни одну, ии довериться другу...

Актуально подмечено. И поговорка ведь гласит, что нельзя доверять приятелям автомобиль, пишущую машинку и жену. Обязательно испортят.

П. Нахабин

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации России
Регистрационный номер 112

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность»

Художественный редактор Юрий ПЕТЕЛИН
Технический редактор Людмила ГУДКОВА
Фотограф номера Леонид ШИМАНОВИЧ

При перепечатке ваших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.
К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи и не возвращает,
а также не вступает в переписку.

Принимаются к рассмотрению первые машинописные экземпляры рукописей.
Авторы ответственны за точность цифр и дат и достоверность фактов.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах
обращаться в издательство «Пресса» по адресу:
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.
Формат 84×108½.

Тираж 52200 экз. Заказ № 1375.
Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2/1.

Телефон для справок: (095) 251-31-22.

Отдел рекламы: 251-05-06.

Телефакс: 251-74-60.

Телефон корпункта по Уралу и Сибири:
(342) 25-98-80 (г. Пермь).

© «ЮНОСТЬ», 1994 г.

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

Михаил КЕДРОВСКИЙ

Смерть рок-музыканта.

Повесть 10

Александр АНТОНОВИЧ

Отпуск. Повесть 56

ДОМ ПОЭТОВ

Анна ЛЫСЮК 2

Анна ГЕДЫМИН 4

Задворки Дома поэтов 95

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

В гостях —

поэт Владимир БУРИЧ 84

ПУБЛИЦИСТИКА

Игорь АЧИЛЬДИЕВ

Свобода России 6

Адель АЛЕКСЕЕВА

Сергей Дмитриевич ШЕРЕМЕТЕВ 53

Тамара ЖИРМУНСКАЯ

Библия и Жуковский.

Беседа четвертая 86

Феликс ЭЛЬДЕМУРОВ

От «А» до «Я»

(Записки русского каббалиста) 88

20-я комната 92

ЖУРНАЛЬЧИК

Андрей БЕЛЯНИН

Орден фарфоровых рыцарей.

Сказка. Продолжение 49

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Николай ЛЕЙКИН

Айназовский. Рассказ 94

Андрей Медведев — художник театральный, хотя вроде бы никогда сценографией и не занимался. Но то, как устроил он свой художественный мир, как разыграл свою артистическую судьбу, — это, конечно, театр. Судите сами: персонажи его картин повторяются уже несколько лет, и, в общем, это могло бы здорово раздражать. Но ему удалось подчинить свои работы законам театра, где спектакль чем дольше живет, тем становится уважаемей.

Вот и Андрей сумел всех своих персонажей — кукол, императоров, красавиц — сделать долгожителями выставочных подиумов.

Что же за пьесу разыгрывает живописец? Что-то напоминающее альковные романы, писанные в XVIII веке.

При знакомстве с его работами сами собой приходят воспоминания об изысканном времени «Мира искусства», возникают ассоциации с произведениями художников этого круга. Но это не подражание. Чудный Бенуа, прелестный Сомов увидены и прочтены Медведевым со вкусом современного китча, и нашего — лирического, и западного — шикарного и яркого. Художник не заворожен идеей о непонятном толой отчужденном гении. Наоборот, он хочет поправиться зрителю — его работы по-настоящему красивы, они способны романтизировать простоту современного интерьера, никак не подавляя нас, зрителей, а тихонько заигрывая с нами, напоминая о приятном чтении на ночь мемуаров забытых, но некогда великих людей, приключения и страсти которых теперь могут стать сюжетом милого кукольного спектакля.

Мирискусническая «красота» и «красота» простого человека в его картинах как бы нежно протягивают друг другу руки.

Елена КУРЛЯНДЦЕВА



Город призраков. Холст, масло.

**Андрей
МЕДВЕДЕВ**
г. Москва



Кукла и голубая женщина. Холст, масло.



Фирма
Щит

Ваш верный друг и защитник

ПРЕДЛАГАЕТ

*лучшее оружие для охоты,
самые современные средства
обеспечения безопасности:*

- *) охотничье нарезное оружие — «Сайга», «Барс», «Тигр», «Лось», «Соболь»
и др.;*
- *) охотничье гладкоствольное оружие и оружие для фермеров (15 видов);
) различные боеприпасы;
- *) газовые револьверы и пистолеты (30 видов),
пневматические пистолеты импортные,
винтовки отечественные;*
- *) разнообразные газовые баллончики, пиротехнические устройства,
камуфлированная форма (летняя и зимняя), дубинки резиновые,
кобуры оперативные;*
- *) радиотехнические средства защиты информации — жучки,
аппаратура поиска;*
- *) сигнальные устройства фирмы «Бизек» (англ.) для личной защиты,
охраны помещений и транспортных средств.*

*Читайте в последующих номерах журнала «Юность» самые невероятные
рассказы об истории и практике применения оружия, которое Вы найдете
только в фирме «Щит»*

*Адрес магазина: Москва, Профсоюзная ул., 93 А
(рядом станция метро «Беляево»)
Тел./факс (095) 336-33-77 (офис), 335-66-77 (магазин)*



*Хотите рекламу в "Юности"?
Звоните по телефону 251-46-84*